

Напольских В. В.

**ВВЕДЕНИЕ  
В ИСТОРИЧЕСКУЮ  
УРАЛИСТИКУ**

Ижевск  
1997 г.

ББК 63.5 (2)

Н27

Печатается по рекомендации ученого совета Удмуртского института истории, языка и литературы УрО РАН и НИСО УрО РАН по плану выпуска 1997 года

Рецензент: доктор исторических наук *Р.Д.Голдина*

**Напольских Владимир Владимирович**

**Н27 Введение в историческую уралоистику. Монография. –**  
**Ижевск: Удмуртский институт истории, языка и литературы**  
**УрО РАН, 1997. – 268 с.: с илл.**

ISBN 5-7691-0671-9

В книге даются основные сведения о составе, численности, территориальном расселении, этнической истории народов уральской языковой семьи, а также, с широким привлечением материалов археологии, лингвистики, этнографии и других дисциплин, рассматриваются проблемы уральской прародины и предистории. Книга представляет интерес для специалистов в области уральского языкознания, истории, археологии, физической антропологии, этнографии народов уральской языковой семьи и может быть рекомендована в качестве справочного и учебного пособия для студентов исторических и филологических факультетов вузов, а также для всех, интересующихся этнической историей.

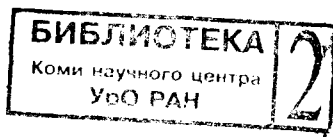
Н 5050000000 - 129 (96) 13 - 97  
8 П6(03) - 1996

ISBN 5-7691-0671-9

ББК63.5 (2)

© УИИЯЛ УрО РАН

© Напольских В.В., 1997 г.



902.7  
Н27

**Российская академия наук  
Уральское отделение  
Удмуртский институт истории, языка и литературы**

**Напольских В.В.**

**Введение  
в историческую уралистику**

**Ижевск  
1997**

*Светлой памяти  
Юрия Борисовича Симченко*

## Предисловие

Эта книга родилась, помимо прочего, и как результат чтения спецкурса по исторической уралистике на кафедре археологии Удмуртского университета. Отсюда — особенности её структуры и назначение.

Первая часть является кратким справочником предназначенным для того, чтобы любопытствующий читатель мог почерпнуть начальные сведения об уральских народах и поздних этапах их этнической истории. Отсутствие ссылок в её тексте призвано, во-первых, облегчить чтение, а во-вторых, объясняется тем, что зачастую пришлось бы ссылаться на редкие и совершенно недоступные, например, провинциальному российскому студенту издания (в особенности — увы! — когда речь идёт о приличных изданиях средневековых источников). Кроме того, внедрение ссылочного аппарата поневоле потребовало бы многочисленных пояснений, эквивалентов, не только упоминаний о существовании различных мнений, но и хотя бы кратких историографических экскурсов в многочисленные проблемы, задеваемые в очерке, что опять-таки вряд ли необходимо для человека, желающего познакомиться с предметом и резонно берущего с этой целью в руки книжку, называющуюся “Введение”. В необходимых

случаях упоминаются авторы тех или иных гипотез, этимологий и т.д., и по фамилии легко найти нужную работу в библиографическом списке в конце книги. В этот список включены не только те работы, на которые в тексте книги есть отсылки, но и работы, которые можно было бы рекомендовать для дальнейшего проникновения в предмет. Естественно, дать исчерпывающий список такого рода — не в моих скромных силах, поэтому настоятельно рекомендую интересующимся пользоваться и другими библиографическими источниками.

Предмет книги определён как *историческая уралистика*, то есть — исследование *истории уральских (финно-угорских и самодийских) народов* (если *народов*, значит, по определению, — *этнической истории*). Однако, в первой части не уделено должного внимания *языкам* не по этой причине, а потому, что для введения в *уральское языкознание* на русском языке существует достаточная литература (прежде всего — [Основы; Хайду 1985], всячески рекомендую кроме того прочитать первую часть книги [Хелимский 1982] ), которая в общем-то доступна, и с которой безусловно необходимо ознакомиться одновременно или хотя бы в связи с чтением данной книги: **без такого ознакомления введения в предмет не получится.** Собственно говоря, при написании этой книги я **предполагаю, что читатель уже знаком с основными положениями уральского языкознания**, и поэтому в ней нет введения, содержащего разъяснения элементарных терминов типа *финно-угорский, уральский* и т.п., не даются начальные сведения о составе уральской языковой семьи, истории её изучения и т.д., — я счёл возможным приступить непосредственно к предмету, то есть — к *этнической истории*.

Кроме того, в этимологических экскурсах в большинстве случаев не приводятся все формы всех привлекаемых для сравнения языков, изложение ограничивается реконструируемыми праформами. Такая возможность создаётся благодаря проделанному титаническому труду этимологов-уралистов, и прежде всего — проф. Кароя Реден, чей “Уральский этимологический словарь” и другие работы обеспечивают прекрасную базу для использования новейших результатов лингвистики в палеоисторических штудиях. Я пользуюсь случаем выразить здесь своё глубокое уважение к трудам и личности этого выдающегося учёного — в

особенности потому, что на страницах книги я нередко вступаю с ним в заочную полемику, но ведь сама возможность такой полемики создана его трудами !

Вторая часть написана в виде уже вполне научнообразного (во всяком случае — по форме) очерка, посвящённого одной из центральных проблем уральской предыстории — проблеме локализации уральской прародины. Надеюсь, она окажется удобочитаемой и для “входящих” в предмет, хотя, конечно же, работа над ней потребует бóльших усилий — *“Lasciate ogni speranza, voi, ch'entrate !”*. В большей мере она адресована скорее моим коллегам, и, надеюсь, найдёт отклик (хотя бы и негодующий) в их умах и сердцах.

Хотя две части книжки напрямую не связаны друг с другом, для **полного вхождения в предмет необходимо, всё-таки, уделить внимание и второй части**, как бы это ни казалось трудно. Многие проблемы исторической уралистики лишь упомянуты в первой части, для многих там просто не нашлось места.

К сожалению, по ряду причин я не смог снабдить книжку должным количеством иллюстраций, прежде всего — карт. Остаётся только отослать читателя к другим работам, в частности — к подборке карт, схем и тому подобных носителей информации из разных источников в [Szűj 1990].

В заключение хочу поблагодарить моих коллег, в дискуссиях, обменах информацией и идеями с которыми рождались и “обкатывались” положения этой книжки: Джеймса Мэллори (Белфаст), Ларса-Гуннара Ларссона, Хокана Рюдвинга (Уппсала), Герхардта Дёрфера (Гёттинген), Юху Янхунена, Аско Парполу, Фолькера Рыбацки (Хельсинки), Вацлава Блажека (Пржибрам), Петера Вереша (Будапешт), Аарона Борисовича Долгопольского (Хайфа), Тиита-Рейна Виитсо (Таллинн), Ивана Михайловича Стеблина-Каменского, Альберта Викторовича Шевченко, Александра Григорьевича Козинцева, Кирилла Васильевича Чистова, Александра Ивановича Терюкова (Санкт-Петербург), Анатолия

Павловича Журавлёва (Петрозаводск), Михаила Фёдоровича Косарева, Дмитрия Александровича Крайнова, (Москва), Валерия Валентиновича Никитина (Йошкар-Ола), Игоря Борисовича Васильева (Самара), Александра Константиновича Матвеева, Валентину Трофимовну Ковалёву (Екатеринбург), Андрея Владимировича Головнёва (Тобольск), Леонида Анатольевича Наговицына, Римму Дмитриевну Голдину, Владимира Емельяновича Владыкина, Сергея Константиновича Белых, Кронида Ивановича Корепанова, Александра Геннадиевича Иванова, Леонида Дмитриевича Макарова, Рифа Шахрисламовича Насибуллина (Ижевск) и многих других.

Особо хочу назвать имена людей, которых почитаю за честь назвать своими учителями, и без участия которых не мыслю своей работы: Евгения Арнольдовича Хелимского, Сергея Владимировича Кузьминых (Москва) и Александра Николаевича Анфертьева (Санкт-Петербург).

Приношу также благодарность Сергею Константиновичу Белых и Наталье Владимировне Борлуковой за помощь в технической подготовке этой книги.

Особая моя признательность — руководству Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения РАН и его директору, профессору Кузьме Ивановичу Куликову, без личного участия которого издание этой книги вряд ли было бы возможно.

Работа над книгой была завершена на Кафедре финно-угроведения Гёттингенского Университета (Finnisch-Ugrisches Seminar der Georg-August Universität Göttingen) в рамках работы по гранту, предоставленному Фондом им. Александра фон Гумбольдта (Alexander von Humboldt Stiftung). Пользуюсь случаем выразить свою благодарность руководству Фонда и заведующему Кафедры финно-угроведения Гёттингенского Университета профессору Яношу Гусе.

*Владимир Напольских  
Гёттинген, 15 мая 1997 года*

## Часть I

### Уральские народы: начальные сведения по этнической истории

#### Прибалтийско-финские народы

Народы, объединяемые названием *прибалтийско-финские* (нем. *Ostseefinnen*, ф. *iämerensuomalaiset* и т.д.): финны, карелы, вепсы, ижора, воль, эстонцы, ливы, — близки друг другу не только по языку (степень расхождения между прибалтийско-финскими языками, пожалуй, сопоставима со степенью расхождения славянских языков), но и по антропологическому типу, традиционной культуре и историческим судьбам.

Появление носителей *раннего прибалтийско-финского* (= *прибалтийско-финско-саамского*) праязыка в Прибалтике связано с распространением во второй половине II — начале I тыс. до н.э. на территориях современной Новгородской, Псковской, Ленинградской областей, Эстонии, восточной и северной Латвии прибалтийского варианта общности культур *ложнотекстильной керамики*. Близость этого варианта культуре ложнотекстильной керамики Верхней Волги очевидна, она сохранялась и в I тыс. до н.э., так что археологи находят возможным говорить о непосредственном влиянии верхневолжской *дьяковской* культуры (см. разделы о поволжских финнах и марийцах) в Прибалтике (городища Кландюкалнс под Ригой, Иру под Таллином, Асва на о-ве Сааремаа). По-видимому, именно с возникновением культуры ложнотекстильной керамики в Верхнем Поволжье в середине — второй половине II тыс. до н.э. (см. раздел о поволжских финнах) и её распространением на запад, в Прибалтику и на северо-запад, в Карелию и Финляндию (см. раздел о саамах) следует связывать сложение,



непродолжительное существование и распад финно-волжской праязыковой общности и прибалтийско-финско-саамского праязыка.

Сложение собственно прибалтийско-финского (позднего прибалтийско-финского) праязыка произошло уже на территории Ленинградской, Новгородской, Псковской областей, Эстонии и северной и восточной Латвии в ходе взаимодействия племён культуры ложнотекстильной керамики с балтами – создателями культуры *штрихованной керамики*, с конца II тыс. до н.э. широко распространившейся в Эстонии и Латвии, и с германцами, которые уже в первой половине I тыс. до н.э. – почти одновременно с проникновением племён культуры ложнотекстильной керамики в Прибалтику с востока – начали в довольно значительном количестве пересекать Балтийское море из Скандинавии и селиться в прибрежных районах и на островах Латвии, Эстонии и юго-западной, южной и западной Финляндии. Археологически экспансия скандинавского (древнегерманского) населения прослеживается в распространении в названных районах специфически скандинавского типа погребальных памятников, так называемых *каменных курганов с ящиками*, сопровождающий инвентарь которых содержит бронзовые изделия скандинавских форм. В результате смешения указанных групп на территории Эстонии и северной Латвии к первым векам н.э. складывается культура *каменных могильников с оградками*, ареал распространения которых, в отличие от ареала предшествовавших им каменных курганов с ящиками, охватывает уже не только (и даже не столько) побережье, но и внутренние районы. Видимо, формирование этой культуры археологически отражает сложение основной группировки прибалтийско-финских племён, которые уже в это время начинают экспансию с южного на северное побережье Финского залива, судя по распространению каменных могильников с оградками на юго-западном и западном побережье Финляндии.

В результате этой экспансии прибалтийско-финское население разделилось на два массива: южный, давший в конечном счёте начало эстонцам, води и ливам (см.) и северный – предков финнов-суоми, финнов-хяме, карел, ижоры, вепсов. В литературе эти две группировки прибалтийско-финских народов (выделяемые на основании данных языка) принято называть соответственно южной или западной – и северной или восточной.

В сложении восточных прибалтийско-финских групп вероятно приняли участие какие-то протосаамские (точнее – *парасаамские*) и, возможно, параприбалтийско-финские группы, населявшие территории Приладожья и Прионежья (см. также ниже). Как бы то ни было, по крайней мере с середины I тыс. до н.э. предки прибалтийско-финских народов представляли собой в культурном отношении земледельческо-скотоводческое население, образующее единый достаточно обширный ареал на севере Восточной Прибалтики, побережье Финского залива и в Приладожье, тесно связанное с

морем и органично интегрированное в хозяйственную, социальную и культурную жизнь Балтийско-Скандинавского региона.

В более восточных районах, прежде всего в восточном Прионежье, Каргополье и на юге Карелии с середины I тыс. до н.э. наблюдается всё возрастающее влияние с востока *ананьинской* культуры (см. разделы о пермских народах и марийцах), результатом чего становится сложение на территории к востоку от Онежского озера *позднекаргопольской* культуры явно пост-ананьинского облика, полностью перекрывшей предшествующий слой культуры ложнотекстильной керамики и просуществовавшей здесь вплоть до третьей четверти I тыс. н.э. (М.Г.Косменко). Вероятно, с этими процессами связано формирование на означенной территории этнического ядра летописной *Чуди заволочской* — народа, судя по данным топонимики, существенно отличавшегося от прибалтийских финнов по языку и до некоторой степени близкого, возможно, марийцам (см. раздел о марийцах). Таким образом, во второй половине I тыс. до н.э., вероятно, новое, пришедшее в Прионежье с востока население стало “клином” между саамами (парасаамами) во внутренних районах Финляндии и Карелии и прибалтийскими финнами, чьи исконные этнические территории следует локализовать безусловно западнее ареала позднекаргопольской культуры.

В антропологическом отношении прибалтийские финны относительно однородны. В большинстве своём они принадлежат к *беломоро-балтийской* и в меньшей мере — к *атланти-балтийской* северноевропейским расам, образуя, таким образом, единство с другими народами Северной и Западной Европы. Это обстоятельство естественно объясняется той значительной ролью, которую сыграли в их генезисе балты и германцы. Для беломоро-балтийской расы характерны очень светлые глаза и волосы, большая длина тела, для некоторых её вариантов (в частности — для восточнобалтийского, встречающегося у более восточных групп прибалтийско-финских народов) отмечается несколько большая широколицесть, относительное ослабление горизонтальной профилировки лица (на европеоидном фоне) и повышение частоты вогнутой спинки носа, — в целом это признаки, позволяющие говорить об отклонении в сторону *лапоноидного* типа. Данное обстоятельство объяснимо, во-первых, участием в генезисе прибалтийско-финских народов древних носителей *урало-лапоноидных* типов — как палеоевропейских предков саамов (см.), так и пришельцев с востока, собственно финно-угров. Во-вторых, необходимо иметь в виду и то обстоятельство, что плосколицые (северно-)европеоидные популяции обитали в Восточной, Северной, да и в Центральной Европе с палеолита, будучи крайне западными звеньями в цепи северных, “недифференцированных” антропологических типов, в которых в той или иной мере сохранялись (точнее — противоречиво, с точки зрения современной расовой систематики, сочетались) как собственно европеоидные, так и восточные признаки. К числу этих типов принадлежала, в частности, (локализуясь первоначально, как следует полагать, в северной и восточной частях ареала) и

древнеуральская раса (см. раздел о манси). В связи с этим стоит вспомнить старую идею В.В.Бунака о том, что собственно *лапоноидный* тип представляет собой ответвление того же расового ствола, к которому принадлежит и *беломоро-балтийская* раса, с той разницей, что процесс “балтизации” (= европеидизации) собственно *лапоноидных* популяций не коснулся или коснулся незначительно.

## Финны

Внешнее название *финны* (швед. *finnar*, нем. *Finnen*) впервые встречается у римского историка Тацита (I н.э.) в форме *Fenni*. Наиболее приемлемая на сегодняшний день гипотеза выводит это название из германских языков – ср. гот. *finþan* “находить, искать”, швед. *finna* “тж”. Первоначально этот этноним служил в германских языках, откуда он попал, в конечном счете, и к Тациту, для обозначения населения Фенноскандии и (у Тацита, во всяком случае) Восточной Прибалтики, ведущего в основном подвижный образ жизни и незнакомого с земледелием (живущего охотой, то есть – “ищущего”), скорее всего – предков современных саамов. Позже это имя было перенесено и на северных и восточных соседей скандинавов – финнов, расселившихся на территории прежнего обитания саамов (*Finland*) – см. ниже. Ещё в XVIII веке этим словом норвежцы и шведы называли не только финнов, но и саамов (норв. *finne* означает “саам” и сегодня).

Самоназвание – *suomalaiset* (мн. ч.), от названия страны *Suomi* “Финляндия”, ср. эст. *Soom*, др.-рус. *Сумь* < праприб.-фин. \**sōme* – название территории нынешней юго-западной Финляндии (прибрежные районы), называемой по-фински *Varsinais Suomi* “настоящая Финляндия” (возможно, ещё – название острова Сааремаа, о чём свидетельствует значение латыш. *sāms* “финн; житель Сааремаа”, *sāmu zeme* “Сааремаа”, букв. – “земля финнов”) и прибалтийско-финского племени, обитавшего там. Название *Сумь* известно в русских летописях и в топонимах с начала XII века. Наиболее приемлемая этимология принадлежит В.Ниссиля, который сопоставил \**sōme* с др.-швед. *sōme* “отряд, группа, сборище” – это в принципе согласуется с тем исторически бесспорным фактом, что германцы, древние скандинавы и, наконец, шведы, играли значительную роль в прибалтийско-финской истории, в особенности – в истории племён, обитавших непосредственно на берегах Балтики. Иные этимологии: связь с фин. *suomu* “чешуя”, так как в древности финны якобы шили одежду из рыбьей кожи (?); предположение о происхождении этнонима от гипотетического личного имени, образованного от фин. глагола *suoda* “награждать, наделять, пожелать”, – являются более чем сомнительными.

Диалект *суоми* по ряду признаков сближается с эстонскими, водскими, ливскими диалектами (южная (западная) группа прибалтийско-финских

диалектов) и противостоит *хяме*, карельскому и вепсскому. Это указывает на происхождение данной племенной группы с южного побережья Финского залива и на длительное сохранение её связей с этими землями (см. также выше о возможности соотносения названия \**sōme* с островом Сааремаа). Вопрос о времени появления суоми на территории юго-западной Финляндии остаётся дискуссионным, с археологической точки зрения наиболее вероятно предположение, что это произошло в так называемое “раннеримское время” (рубеж эр – первые века н.э.), когда территория *Varsinais Suomi* и всё побережье Финляндии вплоть до района сегодняшнего г. Васа подверглись экспансии носителей культуры *каменных могильников с оградками* (см. выше), происходивших, в частности, с территории современных Эстонии и Латвии.

Сложение финского народа в конце I – первой половине II тыс. н.э. представляло собою сложный процесс консолидации нескольких прибалтийско-финских племён. Помимо финнов-суоми значительную роль сыграли в этом процессе *карелы* (см.) – на востоке и севере страны, и *хяме* (фин. *hāme*, др.-рус. *Емь*), освоившие территории непосредственно к востоку и северо-востоку от *Varsinais Suomi*, вытеснив с них древнее саамское население (см.). Диалекты хяме и карелов принадлежат к северной (восточной) группе прибалтийско-финских диалектов. Этноним *hāme* фиксируется впервые в русских летописях, в форме *Емь*, одновременно с *Сумь* (см. выше) в XII веке. Он восходит вместе с самоназванием саамов \**sāmē* к праформе \**šāme*, заимствованной из балтских языков – ср.: лит. *žėmė* “земля”, латыш. *zeme*, др.-прус. *same* “тж”, – с дополнительным значением “низкий, низкая равнина, низменность”: лит. *žėmas*, латыш. *zems*; данный корень используется и в балтской ономастике: латыш. *Zemgale* “Земгалия”, историческая провинция Латвии, лит. *Žemaitė* “Жемайтис, западная Литва”. Нельзя исключать и возможности того, что ф. *hāme* < \**šāme* восходит не к балтскому источнику непосредственно, а является заимствованием из языка саамов, которые обитали в Южной и Центральной Финляндии перед распространением там примерно в первых веках н.э. прибалтийско-финской речи (см. выше). Это, однако, не означает, что уже к столь раннему времени следует относить формирование племени хяме: на протяжении всего железного века на землях финских провинций Хяме и Сатакунта имели место сложные процессы взаимодействия различных прибалтийско-финских групп – как местных, так и мигрировавших с востока и с запада, в результате которых произошла консолидация финнов-хяме.

В результате смешения диалектов суоми (в небольшой степени), хяме и карелов в восточной Финляндии сложился диалект *саво* (ф. *Savo* – возможно, от православных личных имен *Савва*, *Савватий*), а на юго-востоке – приладожские финские диалекты, которые по сути дела стоят ближе к карельскому языку, чем к языку финнов-суоми. Именно эти группы составили в XVII веке основу переселявшихся на перешедшие по Столбовскому миру

под власть Швеции земли Ингерманландии (в основном – современная Ленинградская область) финнов, которых к концу XVII века на этой территории было уже более 30 тысяч человек (больше половины населения края). Ингерманландские финны, называвшие себя *äyrämöiset* (мн. ч.; вероятно, от ф. *äyräs* “крутой берег; склон”) и *savakot* (мн. ч.; от *Savo* – см. выше), в начале XX века были самым многочисленным национальным меньшинством на территории современной Ленинградской области (около 125 тыс. человек) и жили не только в сельской местности, но и в Санкт-Петербурге, где ещё в 1870 году была основана финская газета. В школах велось преподавание на финском языке, выпускалась литература, с 1899 по 1918 год регулярно проводились всеингерманландские песенные фестивали. В первые десятилетия советской власти национально-культурное развитие ингерманландских финнов успешно продолжалось: росло число финских школ, в нескольких сельсоветах области делопроизводство было переведено на финский язык, было создано финское книжное издательство. Однако в середине 1930-х годов на финнов в России обрушились репрессии: около 50 тысяч человек подверглось насильственной депортации со своей родины, с 1937 года были полностью запрещены все финские печатные издания, преподавание на финском языке, деятельность национально-культурных организаций. Народ был практически объявлен вне закона. Во время войны более 50 тыс. человек ингерманландцев были депортированы в Финляндию, затем возвращены в СССР, но селиться в родных местах им было запрещено. Финны с территории Ленинградской области и из блокадного Ленинграда были почти полностью вывезены в Сибирь, значительная часть их при этом погибла. Лишь в 1956 году финнам вновь было разрешено селиться в Ленинградской области. Перепись 1989 года зафиксировала в Санкт-Петербурге 5,5 тыс. финнов, а в области – ещё 11,8 тысяч.

Помимо прибалтийско-финских племён в сложении финнов значительную роль играли переселенцы из Скандинавии (древние германцы – древние скандинавы – шведы), оседавшие на побережье западной, юго-западной и южной Финляндии с конца бронзового века. Их приток на территорию Финляндии значительно возрастает начиная примерно с III века н.э. – с этого времени население *Varsinais Suomi* оказывается втянутым в единую сферу торговых связей со Скандинавией, в отличие от более восточных областей, где сохраняются старые связи с Восточной Европой. В результате смешения прибалтийско-финского и скандинавского населения в средневековье сложилась группа *квенов* (рус. *каены*, фин. *kainuu*, норв. *Kvæn*), расселявшаяся вдоль побережья Ботнического залива на север. Название квены фиксируется в древненорвежских (*Kvænir*) и древнеанглийских (*Swenas*) источниках начиная с IX века, и обозначало смешанное финско-скандинавское население побережья Ботнии (ср. более позднее рус. (поморское) *каены* “норвежцы”). Его принято выводить из финского слова *kainu* “низина, низменная равнина”, что, возможно, свидетельствует о переводе (калькировании) всё того же древнего балтского

этнопонима \**žeme*, служившего для обозначения территорий и населения, жившего в низменной, приморской части Балтии – в отличие от жителей внутренних районов.

Приблизительно на рубеже I и II тыс. н.э. прибалтийско-финские племена занимали только запад, юго-запад и юг современной Финляндии, а центральная Финляндия и озёрный край, не говоря уже о севере страны, были заселены саамами, как об этом свидетельствуют топонимика, археология, фольклор и исторические источники. Прибалтийско-финское население оказалось ещё в I тыс. н.э. втянутым в круг торговых связей Балтики и – шире – Европы в целом и проявляло особую активность на северном направлении. В первые века II тыс. н.э. предки финнов начинают экспансию на саамские земли, носившую первоначально торговый характер (см. также раздел о саамах). В XVI-XVII веках активно идёт процесс уже земледельческой колонизации саамских земель озёрного края (центральной Финляндии) финскими крестьянами (преимущественно савосцами), которые производят массовый выжиг леса, ликвидируя тем самым экологическую базу для сохранения здесь охотничье-промыслового хозяйства саамов. Это приводило к постепенному вытеснению саамского населения всё далее на север или к его ассимиляции финнами. Продвижение финско-саамской границы на север продолжалось на протяжении XVII-XIX веков, пока практически вся территория современной Финляндии кроме небольшого саамского анклава на крайнем севере у оз. Инари и р. Утсйоки не стала финской. Однако, продвижение практиковавших подсечно-огневое земледелие финских групп в поисках новых земель для расчистки на север на этом не остановилось: они проникали на территории северной Швеции и – особенно – Норвегии, где получили название “*лесных финнов*”. После официального запрещения подсечно-огневого земледелия в Швеции в середине XIX века и проведения активной государственной ассимиляционной политики “*лесные финны*” перешли к середине XX века на шведский и норвежский языки.

Важным фактором, способствовавшим консолидации финского народа в рамках границ современной Финляндии, было включение её территории в состав Шведского государства и обращение населения в христианство, происшедшее во второй половине XII – первой половине XIII века в результате нескольких крестовых походов, сопряжённых с основанием на территории Финляндии новой епархии. В ходе борьбы между Швецией и Новгородом к середине XIV века установилась граница их владений, близкая к современной границе России и Финляндии, и прибалтийско-финские племена оказались разделёнными в политическом и в конфессиональном отношении: их западная часть была подчинена Швеции (Финляндское герцогство с 1284 г. по 1563 г., когда статус герцогства был временно упразднён после победы шведского короля Густава Вазы над его сыном – герцогом Финляндским Юханом, пытавшимся проводить сепаратистскую политику) и обращена в католицизм (в эпоху Реформации, связанной в Финляндии прежде всего с

деятельностью просветителя Микаэля Агриколы в XVI веке, сменившийся лютеранством), а восточная – подчинена Новгороду и обращена в православие. Это обстоятельство и привело, в основном, к консолидации финского на западе и карельского на востоке народов и установлению границы между ними.

Уже в условиях шведского господства начинается просвещение и подъём национального самосознания финнов. В середине XVI века уже упомянутый Микаэль Агрикола издаёт первые книги на финском языке. В 1581 году Финляндия вновь получила статус Великого герцогства в составе Шведского королевства. После русско-шведской войны 1808-1809 гг. Финляндия вошла в состав Российской Империи на правах автономного Великого герцогства (условия вхождения Финляндии в состав Империи были одобрены собранием представителей сословий страны – Боргоским сеймом в 1809 году; с 1863 г. вновь действует сейм – парламент Финляндии). Для закрепления своих позиций на новых землях и борьбы со шведским влиянием русское правительство использовало финский фактор (с 1863 г. официально объявлено о равноправии шведского и финского языков на территории Великого герцогства, с 1866 г. введено обучение в школах на финском языке), создавая объективно благоприятные условия для национального развития финского народа. Наиболее значимым, судьбоносным для финской культурной истории событием в этом плане стало перенесение из Або (Турку) университета в г. Гельсингфорс (Хельсинки) в 1827 году. Находясь под личным покровительством Великого князя Александра, Гельсингфорсский университет был единственным в Империи университетом, получавшим для своей библиотеки контрольный экземпляр каждого, печатаемого в России издания, и стал центром финской культуры и науки. Всё это обеспечило резкий подъём национального движения, выдающуюся роль в котором помимо политиков сыграли учёные: собиратель карело-финских эпических песен и создатель “Калевалы” Э.Лённрот, академик Имп. Академии наук А.Й.Шёгрэн, путешественник, лингвист и этнолог М.А.Кастрен и др. В первой половине XIX века сформировался современный финский литературный язык.

Растущее национальное движение достигло своей основной цели в ходе революции 1917 года в России: в июле финляндский сейм принял “Закон о власти”, провозгласив себя носителем верховной власти, в декабре вновь избранный парламент принял Декларацию независимости, и Финляндская Республика была признана Советской Россией.

В настоящее время финнов в Финляндии более 4,5 миллиона человек, кроме того финны живут в США (ок. 200 тыс. чел.), в России (47 тыс.; см. также выше), странах Скандинавии, в Австралии и т.д..

## Карелы

Самоназвание – *karjalaiset* (мн. ч.) означает буквально “скотник, пастух”, от *karja* “стадо”. Это самоназвание, однако, характерно для северных карел, живущих севернее Ладожского и Онежского озёр, и выполняет роль общенационального в силу своей распространённости в качестве названия карел в языках соседей (др.-рус. *Корѣла*, рус. *карелы*, фин. *karjalaiset* и т.д.). Юго-западные карелы, живущие в районе города Олонец, (олонецкие карелы, приладожские карелы) называют себя *livvikoi* (ед.ч.) – “карелы-ливвики”, а юго-восточные карелы (район к западу от Онежского озера, граничащий с территорией расселения вепсов, – прионежские карелы) – *füüdiläine* (ед.ч.) “карелы-людики” (также называет себя и часть вепсов –соседей людиков). Этноним *livvikoi*, возможно, связан происхождением с названием ливов *līvā* (см.); корень слова *füüdiläine* трудно отделить от рус. *люд*, *люди*. Для карельской этнонимии характерна ситуация размытости границ: северные карелы могут называть людиков *vepsä* “вепс” – так, как сами людики называют своих южных соседей, вепсов. В свою очередь, людики могут называть северных карел *lappi* “саам”, а южные группы северных карел называют так своих единоплеменников, живущих севернее – и так далее, вплоть до настоящих кольских саамов, которых крайние северные группы карел также называют *lappi*. Эта ситуация, очевидно, отражает, во-первых, сложные процессы образования карельского народа, в которых, по мнению исследователей, приняли участие различные прибалтийско-финские племена, населявшие в середине и второй половине I тысячелетия н.э. Приладожье и Карельский перешеек: финны-хяме, собственно карелы, вепсы, и имела место, по-видимому, ассимиляция части вепсов продвигавшимися с запада в Прионежье карелами, а, во-вторых, – факт исторического расселения карел на север (и на восток), на земли, где изначально обитало саамское население (см.). Исконным же районом обитания карел и районом, где сформировалось ядро этой общности, является район северо-западного Приладожья, где локализуется средневековая археологическая “культура древней карелы”.

Впервые карелы упоминаются в скандинавских сагах о древних временах, повествующих, в частности, о событиях VIII века (при жизни шведского конунга Ивара Широкие Объятия) – в названии какого-то (возможно – Финского) залива Балтики *Kirjalabotn* “Карельский залив” (см. выше о первоначальном районе расселения карел), лежащего на северо-западной окраине *Гардарики* – Древней Руси. Затем – в описании событий IX-XIII веков – в сагах неоднократно встречаются *Kirjalaland* “земля карел” и *kirjalar / karialar* “карелы”, которых можно локализовать уже далеко на севере от Ладожского озера. В русских источниках первое упоминание о *Корѣле* содержится в новгородской берестяной грамоте № 590 (вторая половина XI века – самый ранний сохранившийся документ с упоминанием о карелах),



первые летописные сведения о *Карэле* относятся к середине XII века. О тесных связях карел с Древней Русью свидетельствует находка в Новгороде двух берестяных грамот, написанных кириллицей и содержащих карельский текст (№ 292) и русско-карельский словарик (№ 403), относящихся к XIII и XIV векам. Очевидно, основные районы расселения карел – Приладожье и Межозерье – были включены в состав новгородских земель ещё в XII веке, не исключено, что с этого же, если не с ещё более раннего времени среди карел началось распространение христианства, хотя массовое крещение карел было произведено по приказу отца Александра Невского – Ярослава Всеволодовича лишь в 1227 году.

В то время, как южные карельские земли постепенно становились объектом славяно-русской колонизации, карелы осуществляли экспансию в северном и северо-восточном направлении, вытесняя с территории современной Центральной и Северной Карелии, а также – Восточной Финляндии саамов (см. выше о распространении этникона *lappi* в Карелии). На северо-западе карельские переселенцы достигали в XII-XIV веках северо-восточного побережья Ботнического залива, карелы постоянно тревожили своими походами Северную Норвегию. Вероятно, уже к XI веку население, говорившее на каком-то прибалтийско-финском языке, скорее всего – древние карелы или вепсы, обитало на побережье Белого моря, где следует локализовать легендарную *Биармию* скандинавских саг (*Bjarmaland*; по-видимому, *bjarma* – от прибалт.-ф. *\*perā-maa* “задняя земля”, от того же прибалтийско-финского слова позднее и др.-рус. *Перьмь* (см. раздел о коми)). На прибалтийско-финскую языковую принадлежность биармийцев однозначно указывает упоминаемое в сагах “имя” их божества – *Jomali* (ср. ф., кар. *jumala* “бог”). При этом следует иметь в виду, что впервые земля народа (др.-англ.) *Beornas*, которую можно локализовать где-то на южном побережье Кольского полуострова, упоминается ещё в дополнениях к переводу Орозия, написанных англосаксонским королём Альфредом в конце IX века, – хотя в данном случае безусловных свидетельств о прибалтийско-финской языковой принадлежности этого народа у нас нет, судя по более поздним данным, можно допускать проникновение древнекарельского населения далеко на север и уже в столь раннее время (см. о Биармии также в разделах о вепсах и коми).

В результате такого расселения карелы приняли участие в формировании финнов, прежде всего – восточных и северных, в частности, следует предполагать мощный карельский компонент в генезисе финнов-савосцев (ф. *Savo*), населяющих центр и восток Финляндии, и носителей юго-восточных (приладожского и быборгского) диалектов финского языка (см. раздел о финнах).

С самого начала карельская экспансия на север происходила в рамках расширения границ Новгородской земли и распространения православия – карелы выступают как постоянные союзники русских в борьбе за сферы политического и экономического влияния в Фенноскандии (в русских

летописях *Корьля* впервые упоминается в 1178 и 1187 годах в связи с её успешными военными походами на *Емь* (финнов-хяме) и шведов). Опорными пунктами русской власти и одновременно – центрами, вокруг которых происходила консолидация карельского населения, были: в начале XII века русская крепость на месте сегодняшнего Выборга, вокруг которой жила “*городецкая корела*”, а после её захвата и разрушения шведами – отбитая новгородцами и карелами у шведов и заново отстроенная в 1310 году крепость *Корела* (ныне город Приозерск). Эти политические и конфессиональные причины, в конечном счёте, и определили в общих чертах западную границу расселения карельского народа (равно – границу распространения православия), которая приблизительно совпадает с установившейся к середине XIV века новгородско-шведской границей.

В период “Смутного времени” в начале XVII века, когда земли Приладожья и Карелии вновь подверглись агрессии со стороны шведов (город Корела и уезд по Столбовскому миру 1617 года перешли к Швеции), значительные массы карельского населения переселились с оккупированных территорий в район Олонца (олонецкие карелы) и Тихвина (тихвинские карелы) и далее на юг – на Валдай (валдайские или новгородские карелы), Верхнюю Волгу (тверские карелы) и в район Калуги (калужские карелы, полностью обрусевшие к началу XX века). Русское правительство заплатило Швеции по договору 1649 года выкуп за карельских перебежчиков, а последним предоставило десятилетнее освобождение от повинностей, что обеспечило закрепление карел на новых землях. Эти события окончательно сформировали близкую к современной картину расселения карел.

После революции 1917 года в России в 1920 году было создано национально-государственное образование карельского народа – Карельская трудовая коммуна, в 1923 году преобразованная в автономную республику. Письменность же на карельском языке была поначалу создана лишь для карел Тверской (Калининской) области – в 1931-1937 годах на латинской графической основе, а в 1938-1940 годах – на кириллической. Одновременно с переводом на кириллицу тверско-карельской письменности в Карельской АССР была предпринята попытка создания карельского письменного литературного языка, но в планах коммунистического руководства страны Карелия рассматривалась прежде всего как плацдарм для “экспорта революции” в Финляндию, в силу чего при преобразовании Карелии в *Карело-Финскую* союзную республику в 1940 официальным языком республики был сделан не карельский, хотя письменность и некоторая литература на нём уже существовала, и даже велось его преподавание в начальных классах, а финский литературный язык. Этому было дано фарисейское объяснение, согласно которому различия между карельскими диалектами (ливвиковским, людиковским и северным) настолько велики, что создание единого письменного языка практически невозможно. Такая языковая политика привела к тому, что карельский язык официально стал рассматриваться как язык второго сорта, практически не имеющий права

на полноценное существование. Это обстоятельство, а также – депортации карел во время второй мировой войны, большой приток в республику рабочей силы из-за её пределов в ходе советской индустриализации, одностороннее развитие экономики (лесная промышленность), катастрофическое отставание развития социальной сферы, транспорта и другие “объективные” реалии советской жизни – привели к тому, что процесс ассимиляции карел в послевоенное время шёл ускоренными темпами: численность карел в России в 1959 году составляла 164 тыс., в 1979 – уже 133 тыс. человек, при этом процент лиц карельской национальности, признающих карельский язык родным, по переписи 1979 года не превышал 63%. Перепись 1989 года зафиксировала на территории России 125 тыс. карел, из которых лишь 60,5 тыс. назвали карельский язык в качестве родного, и ещё 17 тыс. указали, что владеют им как вторым языком. Таким образом, доля владеющих карельским языком среди карел России в 1989 году была равна примерно 62%. При этом в Карелии в 1989 году жило 79 тыс. карел, которые составляли менее 10% населения республики. В Тверской области живёт 23 тыс. карел, из которых около 16,5 тыс. человек считают карельский язык родным. Среди других групп карел в России, по-видимому, только тихвинские в некоторой степени ещё сохраняют свой язык.

С конца 1980-х годов для карельского языка (на базе северного или собственно карельского и ливвиковского диалектов) наконец была вновь создана письменность и началось его преподавание в школах, возобновилось издание газет и книг.

## Ижора

Употребляемое иногда в качестве какого-то этнонима (не самоназвания) иж. (Хэваха) *ingeroijt* (множ.ч.) происходит, как и внешние названия: швед. *ingrer* (множ.ч.), ф. *inkeri*, рус. *ижора*, др.-рус. *Ижера* (у ижор встречается также в качестве самозвания *ižorat* (множ.ч.) “ижорцы”, *ižoran kieli* “ижорский язык”, заимствованные из русского) от шведского названия земель к югу от Невы и Финского залива – *Ingermanland* (откуда также рус. *Ингерманландская* губерния), которое, в свою очередь, восходит либо к имени жены Ярослава Мудрого *Ingigerd* (по версии, принадлежащей А.Шёгрену), либо – что кажется более вероятным – к имени сына Рюрика, древнерусского князя *Игоря* (др.-рус. *Игорь* от сканд. *Ingvar*): по пересказу несохранившегося до наших дней списка русской летописи В.Н.Татищевым Рюрик дал “при море град с *Ижорою*” в вено своей любимой жене Ефанде после рождения ею *Игоря*, отсюда – название земли как вотчины Игоря – др.-рус. *Ижера*, ф. *Inkerimaa*, шв. *Ingermanland* (гипотеза Д.А.Мачинского).

Имя *ижора*, безусловно, также связано с названием реки *Ижора* (левый приток Невы), где обитали летописные *ижеряне*, и которое, скорее всего,

происходит от этнонима, хотя не исключено и обратное (тогда приведённые выше этимологии для этнонима *ижора*, видимо, неверны).

Часть ижор использует в качестве самоназвания слово *karjalajšt* (мн.ч.) “карелы”, “карелами” же их называла и вода – это согласуется с близостью языка и культуры ижор к карельским языку и культуре и объясняется тем, что по крайней мере часть ижор представляет собой потомков группы древнекарельского населения, освоившего по крайней мере до XII века (первое достоверное упоминание об ижоре – см. ниже) территории к югу и юго-западу от основной зоны расселения карел – Карельского перешейка, первоначально – по течению Невы. Уже во второй половине XII века язычники-*ingari* упоминаются в булле папы Александра III к Уппсальскому епископу Стефану, а в первой половине XIII века *ижера* начинает (если не считать вышеприведённого сообщения В.Н.Татищева) фигурировать в русских летописях как союзный новгородцам народ, живущий в нижнем течении Невы, которому была поручена “стража морская” новгородских земель от шведов: во многом благодаря оперативным действиям *ижерского* старейшины *Пелгуя* была одержана новгородцами во главе с Александром Ярославичем (после описываемых событий прозванным Невским) победа над войском ярла Биргера на Неве в 1240 году. *Пелгуй* назван в летописи *поганим*, то есть язычником, что может указывать на то, что массовая христианизация ижоры произошла несколько позднее, в конце XIII века, после окончательного перехода ижорских земель под власть Новгорода.

В период “Смутного времени” на Руси в начале XVII века устье Невы и вся ижорская земля попали под власть шведов, что вызвало массовое переселение ижор вместе с группами родственных им карел с Карельского перешейка на земли, оставшиеся под властью Руси. На ижорские земли переселялись финны из подвластной шведам Финляндии. К этому времени ижора, по-видимому, уже стойко придерживалась православия: в источниках имеются сообщения о достаточно активном противодействии ижор шведским попыткам внедрить лютеранство. После возвращения Ингерманландии под власть России на её территории в 1732 году проживало 14,5 тысяч ижор. Будучи малочисленным народом, ижора постепенно ассимилировалась ингерманландскими финнами, с которыми её сближал язык, и русскими, с которыми её сближала принадлежность к православной церкви. Тем не менее процесс ассимиляции не имел катастрофического характера: в середине XIX века (данные П.Кёппена) в Петербургской и Выборгской губерниях обитало около 18 тысяч ижор. По переписи 1926 года их было 16137 человек.

Судьба ижорского народа в советское время сложилась трагически: с одной стороны, начатая было в начале 30-х годов традиция ижорской письменности, книгоиздания и школьного преподавания (в начальных классах) на ижорском языке в 1937 году была насильственно прервана, и ижорский язык, подобно карельскому, был официально объявлен недостойным иметь письменность. С другой стороны – ижора разделила судьбу воды: во время второй мировой войны значительная часть ижор была

вывезена в Финляндию, а вернувшись в 1944 году домой, они не получили возможности жить на своей родине. Ижоры из-под Ораниенбаума были депортированы в Сибирь. Часть деревень была попросту уничтожена в ходе военных действий. Естественно, сохранение языка и народа в этих условиях было едва ли возможно. В 1959 году эстонский лингвист А. Лаанест оценивал численность ижор в 1100 человек, по переписи 1970 года их было 781 человек. Перепись 1989 года даёт по Ленинградской области цифру в 276 ижор, из которых 187 человек считают ижорский язык родным или владеют им как вторым языком. Возможно, реальная численность ижоры несколько выше.

## Вепсы

Самоназвание – *veps, beps*, также называют вепсов и соседние народы (ф. *vepsä*, рус. *вепс* и т.д.). Этимология слова неясна, чисто гадательным следует считать сопоставление с саам. (Норв.) *vækse*, (Ин.) *vepsi*, (Кильд.) *viepy*<sup>E</sup> “рыбий плавник” (возможна, впрочем, интерпретация семантики как “некий предмет треугольной (клинообразной) формы” – в связи с распространёнными в прибалтийско-финско-саамской этнонимии названиями, образованными от основ, означавших “клин” – см. разделы о води, саамах). Возможно, мы имеем здесь дело с каким-то старым этнонимом, восходящим к довепскому населению Межозерья. Впервые встречается, как принято считать, ещё у Иордана (VI век н.э., информация относится к более раннему периоду) в виде первой части загадочного названия народа *Vasinabroncas*. Др.-рус. *Весь* “вепсы” используется в летописи Нестора при описании событий IX века. Вероятно, с вепсами должен быть соотнесён далёкий народ *vīšū*, живущий на север от Волжской Булгарии в краю, где бывают белые ночи, в сочинениях арабских и персидских средневековых географов (уже у Ибн Фадлана в нач. X века). В западноевропейских источниках вепсы впервые упомянуты под именем *Wizzi* у Адама Бременского (конец XI века).

Значительная часть вепсов (в основном – северные) называют себя *lūdi* или *lūdnik* (ед.ч.), что совпадает с самоназванием карел-людиков, которых, в свою очередь, северные карелы могут называть *vepsä* “вепс”. Это, очевидно, указывает на былое участие вепсов в сложении юго-восточной группы карел. Происхождение корня \**lūdi-* следует связывать с рус. *люди, люд* (прежде всего – в значении “простой народ, крестьянство”). Старые русские названия вепсов: *Чудь* (примерно с XII века употребляется вместо *Весь*), *чухари* – от *чудь* (этимологию см. ниже, в главе о води) – и *кайваны* (также – название карел) – последнее связано, вероятно, с названием финско-скандинавской племенной группировки *квен* (рус. (помор.) также *каены* “квены; норвежцы”, ф. *kainuu* – см. выше, в главе о финнах).

Судя по широкой известности этно- и топонимов, производных от *veps*, в источниках IX–XIII веков, по той роли, которую играла Весь в ранней истории и даже в сложении Древнерусского государства, это был весьма многочисленный и сильный народ. Нестор указывает на Белоозеро как на центр, где первоначальным населением была *Весь*. Вероятно, судя по археологическим памятникам (культура курганов приладожского типа) и топонимике, древнейшей территорией обитания вепсов было Межозерье – треугольник между Ладожским, Онежским и Белым озёрами, куда, как следует думать, они продвинулись ещё во второй половине I тыс. н.э. с запада или северо-запада, вытеснив или ассимилировав более древнее население, оставившее топонимы, которые можно рассматривать как саамские. На достаточно дальние связи вепсов в прошлом на востоке (если не о проникновении каких-то их групп на восток вплоть, возможно, до Северной Двины и Мезени) указывают, во-первых, упомянутые выше известия о них в трудах арабских географов, писавших о Волжской Булгарии: по крайней мере Абу Хамид АльГарнати (род. в 1070 г.) сообщает о том, что лично встречал группу купцов из народа *vīsi* – беловолосых и голубоглазых, одетых в меховые одежды и пьющих пиво, в Булгаре. Во-вторых, либо на бывшее проникновение заметных групп населения, говоривших на прибалтийско-финских языках, скорее всего – карельском или вепском, либо на систематические торговые связи средневекового населения бассейнов рек Мезени, Вашки и Вычегды с этими народами указывают достаточно многочисленные прибалтийско-финские заимствования в коми-зырянских диалектах, прежде всего – в самом западном из них, удорском, и прибалтийско-финская этимология др.-рус. *Перьмь* (см. разделы о карелах и коми). О возможном наличии каких-то относительно крупных прибалтийско-финских анклавов в районе устья Северной Двины свидетельствуют и сообщения скандинавских саг о Биармии (*Bjarmaland*), которую викинги посещали в течение IX–XIII веков, и локализация которой сдвигалась на восток по мере продвижения всё дальше на восток походов викингов: от южного побережья Кольского полуострова в IX веке до устья Северной Двины в более поздний период (о прибалтийско-финской этимологии корня *Bjarma*- и принадлежности языка *бьярмов* см. раздел о карелах).

Как уже было сказано, Весь принимала участие в самых ранних событиях русской истории, в частности – в “призвании варягов” в IX веке. По-видимому, с XI века земли вепсов начинают захватываться новгородскими феодалами и здесь начинает распространяться православие. В XI–XII века часть вепсов, очевидно, смешалась с переселявшимися в Прионежье карелами, была ассимилирована ими и вошла в состав карел-людиков. Процесс ассимиляции вепсов карелами в Прионежье продолжался и в более поздние эпохи.

Примерно с XIII–XIV веков, когда, с одной стороны, старые торговые связи Восточной Европы, в которых вепсы играли важную роль (путь “из варяг в греки”, торговля по Волге через Волжскую Булгарию), оказались

разрушены вследствие монголо-татарского нашествия, а, с другой стороны, между Новгородом – Русью и Швецией устанавливается более или менее твёрдая государственная граница, территория обитания вепсов – Межозерье становится своего рода “медвежьим углом”, и Весь перестаёт быть одной из важнейших этнополитических единиц Северной Руси. На севере своей этнической территории вепсы постепенно включаются в состав карел-людигов, значительная часть их, живущая в более оживлённых местах вдоль дорог и водных путей, по-видимому, ассимилируется русскими. Всё это приводило, с одной стороны, к сокращению территории обитания вепсов и их численности, с другой – к сохранению у них более консервативного уклада жизни.

К XIX веку вепсы представляли собой в основном крестьянское население (государственные и помещичьи крестьяне), часть их была приписана к Олонецким заводам, прионежские вепсы занимались каменотёсным промыслом, работая в качестве рабочих-отходников и в Финляндии, и в Петербурге. Перепись 1897 года зафиксировала 25,6 тыс. вепсов (*чуди*). Уже в этот период в публикациях о вепсах отмечается падение авторитета родного языка и распространение русского, особенно – среди молодёжи. Однако ассимиляционные процессы не имели ещё катастрофического характера: по переписи 1926 года численность вепсов составляла уже 32,7 тыс. человек.

В двадцатые годы XX века этническая территория вепсов была разделена между двумя административными единицами: прионежские вепсы оказались в основном в Карельской АССР, а остальные – в Ленинградской области. Создания единой вепсской автономии, таким образом, не произошло, хотя были образованы в 1927 году национальные сельсоветы и районы: Шелтозёрский (Карельская АССР) и Винницкий (Ленинградская область). При этом в Карелии – в соответствии с ведшейся там национально-языковой политикой (см. раздел о карелах) – обучение в вепсских школах велось на финском языке, вепсам непонятном. В Ленинградской области с 1932 по 1937 год велось обучение в школах на вепском языке (была создана письменность на основе латиницы), в 1937 году вепсская письменность была, наконец, введена и в школах Шелтозёрского района Карелии.

Однако именно в 1937-1938 годах был нанесён страшный удар по национально-культурному развитию вепсов: было прекращено преподавание на вепском языке, репрессированы авторы учебников, немногочисленные представители национальной интеллигенции. В довершение всего часть вепсских населённых пунктов с более чем восьмидесятысячным населением была передана из Ленинградской в Вологодскую область, и Винницкий национальный район был ликвидирован. С этого времени по отношению к вепсам Ленинградской и Вологодской областей стала проводиться непрекрытая политика насильственной русификации – вплоть до того, что в документах вепсов записывали русскими (в переписях 1970 и 1979 годов все вепсы Ленинградской и Вологодской областей были учтены как русские). Немногом лучше была ситуация в Карелии, где Шелтозёрский национальный

район был, в конце концов, также ликвидирован (в 1956 году), а вепсский язык в школах с 1937 года не преподавался. Это привело к резкому падению как престижа вепсского языка, так и статуса вепсской национальной принадлежности в глазах самих вепсов. По переписи 1989 года в Карелии проживало 5,9 тыс. вепсов, в Ленинградской области – 4,2 тыс. и в Вологодской – не более 2 тыс. человек.

В 1989 году был в Карелии вновь разработан и утверждён вепсский алфавит на базе латиницы, началось издание национальной периодики и преподавание вепсского языка в школах на всей территории проживания вепсов.

## Эстонцы

Старое самоназвание – *maarahvas*, букв. “народ земли”. В настоящее время называют себя *eestlased* (мн. ч.) по названию страны *Eesti* “Эстония”, заимствованному из германских языков – ср. нем. *Estland* “Эстония”, *Esten* “эстонцы”, швед. *est* “эстонец”, где этот корень обязан своим распространением прежде всего старой литературной традиции: впервые засвидетельствован у Тацита (I век н.э.) в форме *Aestii* – некий земледельческий народ, живущий на берегах Балтики восточнее германцев, отличающийся от них по языку, который, якобы, близок британскому (кельтскому). Позже этот этноним встречается у Иордана в VI в. н.э., в жизнеописании Карла Великого (первая половина IX в.), у англосаксонского поэта Вульфстана (в дополнениях к переводу Орозия, составленному королём Альфредом) (IX век) (*Osti*, *Estes*), в скандинавских сагах и географических сочинениях XI – начала XIV века (*Eistr*). Маловероятно, что, говоря о народе *Aestii*, Тацит имел в виду каких-то прибалтийских финнов: этот этноним, судя по географии сочинения Тацита и по данным упомянутых здесь средневековых источников, первоначально относился к землям, непосредственно примыкающим с востока к устью р. Вислы (район, называемый по-литовски *Aismares*), где прибалтийские финны никогда не жили. *Эстиев* скандинавских саг IX века следует безусловно соотносить с балтами, точнее – с древними литовцами (“имя” жены их предводителя, упоминаемое в саге, имеет прозрачную литовскую этимологию). Происхождение названия *Aestii*, скорее всего, следует связывать с германским корнем со значением “восток” (др.-англ. *east*, др.-исл. *austr* – ср. также *eistri* “более восточный” (сравнительная степень прилагательного), особенно – в *Eistrasalt* “Балтийское море”, букв. “более восточная соль”). Очевидно, перенесение этого имени на страну, а затем и на народ, эстонцев произошло поздно – возможно, лишь в XII–XIII веках, в эпоху захвата Восточной Прибалтики немцами (у Генриха Лифляндского, XIII век, под этим именем уже определённо имеются в виду Эстония и эстонцы) и датчанами (в датском земельном кадастре *Liber Censu Daniae*).



В средние века территория Эстонии в культурно-историческом плане делилась на две части, которые в целом соответствуют сегодняшнему распространению южноэстонского и североэстонского наречий. Северное, северо-западное побережье и острова были традиционно связаны с Финляндией и Скандинавией (Швецией, а в XIII-XVI веках принадлежали Дании), а юго-восток Эстонии – с восточнославянскими землями: во второй половине I тыс. н.э. сюда проникают славяне-кривичи, которые к началу II тыс. были уже ассимилированы местным населением; с начала XI века эстонский юго-восток подвергся более или менее систематической агрессии русских князей. В 1030 году Ярославом Мудрым была здесь построена крепость Юрьев (ныне – город Тарту).

Видимо, с этими обстоятельствами связан переход части южноэстонских племён в православие и сложение этнографической группы *сету* – православных эстонцев, говорящих на особом южноэстонском диалекте и по облику своей духовной и материальной культуры отличающихся от остальных эстонцев и сближающихся с русскими. В то же время более или менее детальной схемы происхождения сету дать трудно: существующие гипотезы в значительной мере расходятся друг с другом и оставляют большое число вопросов. Даже вопрос о времени, когда предки сету приняли христианство, остаётся нерешённым: разные исследователи называют даты от 988 г. (крещение Руси) до начала XIV века. Ясно только, что Псковско-Печорский монастырь был основан в 1473 году на землях уже православных сету (любопытно, при этом, что местные русские называли сету *полуверцами*). Равным образом не ясно и происхождение названия *сету* (эст. *setu*; в исторических источниках этноним известен только с XIX века): вряд ли можно считать удовлетворительным объяснение (Ю.Мягисте), согласно которому название *setu* было дано южными эстонцами своим соседям-сету в насмешку над распространённым у последних употреблением партитива от *see* “это” в форме *seta*, которую эстонцы передали через *see-tuu* – букв. “это-то”.

В настоящее время сету, считающие себя эстонцами, но одновременно сохраняющие как православие, так и особое этническое самосознание, живут на юго-востоке Эстонии (эст. *Setumaa*) – 5-6 тыс. человек, в других районах Эстонии (до 7 тыс. чел.), в России – на западе Псковской области (в районе Печор и Изборска, эст. *Petserimaa*) (до 2 тыс. человек) и в нескольких деревнях на юге Красноярского края, куда они переселились в начале XX века (не более тысячи человек).

В течение 1208-1227 годов Эстония была захвачена Орденом Меченосцев и в стране на три с половиной века установилось немецкое господство, сменившееся после Ливонской (1558-1583 гг.) и шведско-польской (1604-1629 гг.) войн шведским, а после Северной войны (1700-1721 гг.) – русским. Уже в начале XIII века эстонцы были обращены в лоно католической церкви. В XVI веке в Эстонии распространяются идеи Реформации, с чем связано начало печатания книг на эстонском языке (с 1525 г.). В XVII веке,

при шведском владычестве, в Эстонии утвердилось лютеранство, на эстонский язык была переведена Библия и действовала первая учительская семинария, в 1632 году был основан Дерптский (ныне – Тартуский) университет. Начавшееся таким образом пробуждение национального самосознания развернулось уже в эпоху русской власти, особенно – после отмены Александром I крепостного права в Эстляндской (1816 г.) и Лифляндской (1819 г.) губерниях, освободившей эстонских крестьян от власти немецких землевладельцев. В 1860-х годах был издан эстонский эпос “Калевипоэг”, составленный Ф.Р.Крейцвальдом, издавались первые эстонские газеты, функционировали национальные кружки и общества, началось проведение всеэстонских праздников песни и т.д.

Эстонское независимое государство было создано в ходе революционных событий 1917-1919 гг. в России и Освободительной войны (1918-1919 гг.). В 1940 году в соответствии с секретным протоколом пакта Молотова-Риббентропа Эстония была аннексирована СССР. Это событие и последовавшие за ним репрессии и депортации привели к тому, что в это время и во время второй мировой войны многие эстонцы покидали родину, и росла эстонская диаспора в Швеции, Великобритании, США.

Независимость Эстонии *de facto* была восстановлена в 1991 году. Численность эстонцев в Эстонии по переписи 1989 г. – 963 тыс. чел., кроме того, 46 тыс. эстонцев живёт в России и ещё несколько десятков тысяч человек – в Швеции, США и др. странах.

## Водь

Самоназвание *vađja*, откуда др.-рус. *Водь*, *вожане*, встречающееся в летописях с XI века, – восходит к приб.-ф. \**vakja* “клин” (ф. *vaaja*, эст. *vai*, вод. *vađja* и др., заимствовано из балтских языков: лит. *vągis* “клин”) и могло первоначально обозначать какую-то территорию – ср. эст. *Vagja* – топоним на западном берегу Чудского озера. Существует и другое объяснение, согласно которому для некоторых прибалтийско-финских (и саамских) племён какой-то клин (клиновидная деталь одежды: нашивка, вставка; специфическое украшение; особая деревянная бирка для счёта дней, отработки долга, подати и т.д. и т.п. – версий множество, но ни одна из них не может быть признана удовлетворительной) стал характерным, этнизирующим признаком, и имя народа было дано по этой особенности – ср. старое самоназвание саамов *uoowjođ*, экзотоним *lapp* – с возможно той же семантикой (см. раздел о саамах), см. также ниже о проблеме происхождения рус. *чудь*.

Возможно, какая-то часть води называлась в русских летописях *Чудь*, – во всяком случае, первоначально этим словом называли какое-то прибалтийско-финское племя. Впервые оно упоминается в рассказе о событиях IX века, в частности *Чудь* названа в числе племён, призвавших на

княжение варягов. По-видимому, последний случай официального употребления этого этнонима – перепись населения Российской империи 1897 года, когда в Ямбургском уезде было зафиксировано 303 носителя *чудского* языка (*водь* учитывалась отдельно). Впрочем, этноним *чудь* уже очень рано мог применяться и в более широком, обобщающем смысле для обозначения прибалтийско-финского и другого неславянского некрещёного населения Северо-Запада и Севера Руси вообще – ср.: летописная *Чудь заволочская* (см. разделы о прибалтийских финнах и марийцах); старое название эстонцев и финнов-ингерманландцев *чухонцы*, вепсов – *чухари*; позднее – его перенос на восток: *чудь* – исчезнувшие аборигены Русского Севера и Приуралья в русских и коми преданиях. Происхождение этого этника, по распространённому в литературе мнению, связано с готским словом *þiuda* “народ”. При этом саам. (Кильд.) *čudd*, (Норв.) *čutte*, (Ар.) *tjuddie* “сказочный враждебный народ” приходится считать заимствованием из русского, что весьма маловероятно. Есть, однако, другое предположение, также заслуживающее внимания: общесаам. \**čudē* “сказочный враждебный народ” фонетически может быть сопоставлено с саам. (Ум.) *tjih̄ta*, (Лул.) *tjäh̄tē* “клин (в рукоятке топора, молотка); костыль, палка” – ф. *suude* “деревянный клин (в рукоятке топора, молотка); затычка” – кар. *suive* “маленький деревянный клин” – эст. *suue* “тж”. Здесь обращает на себя внимание уже упомянутая выше связь прибалтийско-финско-саамского этнонима со словами со значением “клин” (см. выше). В случае справедливости такого сопоставления рус. *чудь* следует считать заимствованием из саамского (о былом обитании саамов в более южных районах см. раздел о саамах) или из некоего архаичного прибалтийско-финского диалекта, где сохранялось прибалтийско-финско-саамское \**č*.

Водь была одним из древних прибалтийско-финских племён очень близким по языку и культуре северноэстонским племенам и населяла западные районы современной Ленинградской области, примыкающие к северо-востоку Эстонии и, вероятно, земли, лежащие непосредственно к востоку от Чудского озера (на юге, по археологическим данным – вплоть до Пскова). Очевидно, очень рано (в X-XI веках) земли водь были включены в состав Руси, опорным центром русской власти на этой территории стал город Копорье (с 1297 года – каменная крепость), а вожане, в свою очередь, играли заметную роль в жизни Новгорода (одна из частей города называлась “*Водский конец*”). О былом широком расселении водь на территориях к югу от Финского залива свидетельствует использование имени этого народа в названиях данных земель (нем. *Watland* – все северо-западные земли Великого Новгорода; *Водская пяттина*, созданная после покорения Новгорода Москвой в 1478 г. и охватывавшая даже часть современной Карелии).

Сильное языковое и культурное влияние со стороны русских обеспечивалось, очевидно, и ранним принятием водью православия, хотя ещё в первой половине XVI века, как свидетельствуют документы, Русская

православная церковь вела ожесточённую борьбу против остатков язычества среди води.

С начала XIII века территория расселения води оказывается ареной постоянных военных столкновений между Новгородом, Полоцком и Ливонским орденом, что тяжело отразилось на положении народа. По-видимому, страшным бедствием стал для води и голод 1215 года, когда, по свидетельству русского летописца, “вожане помроша, а останьке розъидеся”. В XV веке значительная группа води была переселена Ливонским орденом в Латвию, где сохранялась под именем *кревинов* (от латыш. *krievs* “русский”, т.е., в данном случае, “православный”) до конца XIX века. Кроме того, группы води неоднократно переселялись на территорию северо-восточной Эстонии, на эстонское побережье Чудского озера, где вследствие влияния водского языка сложился даже особый эстонский диалект – *кодаверский*.

Постоянные войны, переселения, мощное русское влияние привели к тому, что уже к середине XIX века водь была в значительной мере ассимилирована – отчасти эстонцами и ижорой, в основном – русскими. На более южных землях водь была, видимо, окончательно ассимилирована уже к началу XIX века. По данным акад. П.Кёппена, которые считаются несколько завышенными, общая численность води в 1848 году была более 5 тысяч человек, которые жили в Ямбургском и Ораниенбаумском уездах. По переписи 1926 года численность води на территории СССР (без Эстонии) была 705 человек.

Во время второй мировой войны большая часть води вместе с ижорой и ингерманландскими финнами была “эвакуирована” в Финляндию, вернулась в 1944 году на родину, но сразу же была депортирована в Карелию, Новгородскую, Псковскую области, отчасти – в Сибирь. Всё это привело, в конечном счёте, к практически полному исчезновению языка и народа: уже в 1956 году на всей бывшей территории проживания води эстонскому лингвисту П.Аристэ удалось найти лишь 23 пожилых человека, свободно говоривших по-водски. В начале 1980 годов, по данным эстонских лингвистов, говорящих по-водски оставалось ещё около двух десятков человек.

## Ливы

Самоназвание *līvā* / *lībā*, откуда – *ливы*, употребляется редко, более обычным самоназванием у восточных ливов является *kalam'ed* “рыбаки” (мн.ч.), у западных – *randalist* “береговые” (мн.ч.). Этноним же *ливы* был, по-видимому, известен издавна, во всяком случае – в немецких (написанных на латинском языке) источниках XIII века уже фигурирует название страны *Livonia* и её жителей *Livones*. Столь же старым является др.-рус. *Либь* “ливь” (XI век), возникшее непосредственно из *lībā* или из латыш. *lībīs* “лив”. Происхождение этого названия неясно: с одной стороны, его трудно отделять от самоназвания олонецких карел-ливиков (*livvikoi*) и с рядом топонимов с

основой *līv-* на территории Финляндии, – возможно, мы имеем здесь дело с каким-то старым племенным названием прибалтийских финнов; с другой стороны, соблазнительно связать этноним *līvā / lībā* с прибалтийско-финским корнем \**līva* (ф. *līva* “кашеобразная масса, ил, грязь, жижа, кисель” и т.д.), точнее – с его дериватами в южных прибалтийско-финских языках: эст. *līv*, вод. *līva* “песок”, эст. *līvak*, вод. *līvako* “пески, песчаное место” – с предполагаемым первоначальным значением этнонима “жители песчаных кос, пляжей”, близким лив. *randalist* “береговые”. По крайней мере в XIX-XX веках ливы действительно жили практически на песке, по причине чего земледелие не было и не могло быть у них основным занятием, хлеб покупался у латышей, и вся культура ливов издревле теснейшим образом была связана с морем.

Ливы представляют собой остаток совершенно особого старого прибалтийско-финского племени, занимавшего, очевидно, с глубокой древности южную (юго-западную) периферию ареала прибалтийских финнов. Язык ливов, хотя и может быть объединён вместе с эстонским и водским в южную прибалтийско-финскую подгруппу, стоит особняком среди других прибалтийско-финских языков и длительное время развивался в изоляции от них, в теснейшем контакте с балтскими (латышским) языками.

До XIII века ливы населяли прибрежные области современной Латвии между реками Гауя и Вента. Именно ливские земли в устье Даугавы (*Лифляндия*), где в 1200 году епископом Альбертом была основана крепость Рига, ставшая впоследствии столицей Ордена меченосцев и его преемника Ливонского ордена (с 1237 г.), подверглись в первую очередь агрессии крестоносцев. В 1206 году восстание ливов во главе со старшейиной по имени *Ако* было жестоко подавлено, и ливы были окончательно покорены и обращены в лоно католической церкви (переход ливов в лютеранство имел место, по-видимому, в XVI веке, когда, по археологическим данным, окончательно были изжиты языческие традиции в погребальном обряде). В ходе последующих войн Ордена ливы в той или иной мере вынуждены были принимать в них участие, и, естественно, много ливов погибло в боях с эстонцами и русскими. Всё это способствовало исчезновению ливского населения на востоке их земель, где оно было ассимилировано латгалами, и сильному сокращению ливской территории на западе, где ливы ассимилировались куршами.

Ареной войн и бедствий были земли ливов и в XVI-XVIII веках: после Ливонской войны 1558-1583 гг. они отошли под власть зависимого от Польши герцогства Курляндского. В 1710 году Прибалтику поразила страшная эпидемия чумы, унесшая в Латвии до двух третей населения. В 1795 году, после третьего раздела Польши, территория Курляндского герцогства вошла в состав Российской империи.

Уже в XVIII веке появляются первые печатные издания на ливском языке, в XIX веке – переводы Библии. В период между двумя мировыми войнами в независимой Латвийской Республике предпринимались попытки

сохранения и развития ливского языка и культуры (школьное преподавание, издание литературы, журнала и т.д.).

Непоправимый удар был нанесён ливскому народу в конце тридцатых – в сороковые годы XX века. После включения Латвии в состав СССР на морском побережье был установлен пограничный режим, и народ, испокон веков живший морем, был лишён возможности вести традиционное хозяйство. Во время второй мировой войны, фронты которой дважды прокатились по ливской земле, в период фашистской оккупации Латвии, ливы были насильственно вывезены в глубь страны и оторваны от моря. После войны преподавание на ливском языке в школах не велось, литература не издавалась. Ведение традиционного хозяйства было уже невозможно, отрыв народа от моря привёл к быстрой его ассимиляции. Последняя советская перепись (1989 год) зафиксировала 226 ливов, из которых 129 человек владели ливским языком или считали его родным. После восстановления независимости Латвии предприняты определённые попытки возрождения ливского языка (создан культурный центр ливов, ведётся преподавание ливского языка, в том числе и для взрослых).

## Саамы

Среди уральских (финно-угорских) народов саамы ближе всего стоят – и по языку, и территориально – к прибалтийским финнам; как считается, саамский праязык образовывал на более древней стадии особую общность с прибалтийско-финским – *прибалтийско-финско-саамский* или (в терминологии финских учёных) *раннеприбалтийско-финский* праязык. Общность между саамским(и) и прибалтийско-финскими языками действительно заметна, однако по своим историческим судьбам, традиционной культуре, антропологическому типу и, наконец, происхождению (см. ниже) саамы резко отличаются от прибалтийских финнов и, в общем-то, стоят особняком среди финно-угорских народов вообще.

Самоназвание саамов – (Ю) *saamie*, (Лул.) *sapmē*, (Норв.) *sabme*, (Кильд.) *sām̄m* и т.д. < общесаам. \**sāmē*, которое, в свою очередь вместе с самоназванием финнов-хяме, ф. *hāme*, восходит к прибалтийско-финско-саамской праформе \**šāme*, которая является заимствованием из балтских языков – ср. лит. *žėmė* “земля; (в производных) низменная равнина” и др. (см. раздел о финнах). Данный этнопоним мог быть непосредственно заимствован предками саамов у балтов ещё в эпоху прибалтийско-финско-саамского единства, но может и восходить к наименованию каких-то территорий на юге нынешней Финляндии, где саамы жили ещё тысячу лет назад, в языке создателей культуры *боевых топоров и шнуровой керамики* Прибалтики, проникших на эти земли

в конце III – первой половине II тыс. до н.э..

Впервые саамы упоминаются, очевидно, у Тацита (I век н.э.), под именем *Fenni* – народ, живущий далее на восток от *эстиев* (см. раздел об эстонцах), не знающий земледелия и ведущий кочевой образ жизни (об этнониме и его германской этимологии см. раздел о финнах). Затем этот этноним встречается в VI веке у Прокопия Кесарийского (*Σκριθιφίνοι*), у Равеннского географа (*Sirdifenni* и др.), у Иордана (*Finni, Screrrefennae*) и в VIII веке у Павла Диакона (*Scritofini*) – эти формы отражают, видимо, германское (скандинавское) словосложение с первым компонентом от др.-сканд. *skrida* “ходить на лыжах”; речь в этих источниках также идёт о предках саамов.

В сочинении Саксона Грамматика “О деяниях данов” (ок. 1100 г.) и в скандинавских сагах по крайней мере с рубежа XII-XIII веков появляется другое название саамов: др.-норв. *Lappir* (мн.ч.) – и их страны: лат. *Lappia*, используемое и сегодня в большинстве европейских языков (шв., англ. *lapp* “саам”, ф., кар. *lappi* “тж” и т.д.). Происхождение этого имени нельзя считать окончательно выясненным, но представляется вполне приемлемой гипотеза Э.Итконена, по которой *lapp* представляет собой перевод на древнешведский язык старого (ныне исчезнувшего) племенного самоназвания саамов, зафиксированного в “*Grammatica Lapponica*” Х.Ганандера, *wiåwiåsh*: саам. \**wiowjoš* являлось, видимо, производным от саам. (Ю) *wiõwjie*, (Лул.) *wiõive* etc. “клин, вставка в одежде” – ср. шв. *lapp* “локут ткани, кожи” (откуда семантически – “клин, вставка (в одежде, обуви)”. Учитывая возможность возведения самоназвания воды *wadja* к прибалтийско-финскому апеллятиву со значением “клин” и возможность возводить к прибалтийско-финско-саамскому слову с таким же значением др.-рус. *Чудь* (см. раздел о воде), связь самоназвания группы саамов \**wiowjoš* и скандинавского названия саамов *lapp* со словом “клин (в одежде)” представляется вполне возможной, хотя и не ясно, о каком собственно клине идёт здесь речь.

Из скандинавских языков было заимствовано финско-карельское название саамов, *lappi*, к которому восходит, очевидно, др.-рус. *Лопь*, известное в источниках по крайней мере с середины XIII века (*Лопьская сотня* Новгородской земли в Уставе “о мостех” князя Ярослава), и рус. *лопари* – старое название саамов.

Важно, что уже самые ранние источники говорят о саамах как о народе, не знающем земледелия, охотничьем, ведущем подвижный образ жизни. Это согласуется с данными этнографии, однозначно свидетельствующими о длительном сохранении у саамов не только охотничье-рыболовческого в своей основе хозяйства, но и соответствующих ему архаичных форм социальной организации, материальной и духовной культуры: системы территориально-хозяйственных объединений-*суйд* (саам. (Ю) *sijde*, (Лул.) *siita*, (Норв.) *siida*, (Кильд.) *sijd*) с общими поселениями в виде так называемых “зимних деревень” и сезонным обитанием малых групп на промысловых угодьях;

связанных с этой системой форм жилища (стационарная полуземлянка, так называемая “*веша*” и переносное жилище типа чума, “*кувакса*”); особых саней, сохраняющих форму лодки (так называемая “*саамская керезжа*”); своеобразного, очень хорошо приспособленного к условиям Субарктики национального костюма; института “шаманов”-*нойдов* (саам. (Ю) *noajdie*, (Лул.) *naitē*, (Норв.) *noaide*, (Кильд.) *nojd*); культ священных камней-сейдов (саам. (Лул.) *seitē*, (Норв.) *sieide*, (Кильд.) *sjid*). Саамы, таким образом, резко отличаются в культурном отношении от своих соседей – прибалтийских финнов, скандинавов, русских.

Не менее своеобразен и антропологический (расовый) тип саамов – они принадлежат к так называемой *лапоноидной* расе, которая характеризуется низким ростом, сочетающимся с большой длиной туловища относительно ног, относительно слабо (на европеоидном фоне) развитым третичным волосным покровом, относительно более тёмной, чем у их соседей – прибалтийских финнов и скандинавов – окраской волос и глаз (при этом саамы безусловно принадлежат к светлоокрашенным популяциям, они более светловолосы и светлоглазы, чем монголоиды и южные европеоиды), особенностями строения черепа: брахи- или мезокранией, очень низким уплощённым (на европеоидном фоне) лицом с широким лбом и относительно маленькими размерами глазниц, слабо выступающими носовыми костями, низкой переносицей и вогнутой формой спинки носа.

Сочетание в этом типе европеоидных и монголоидных черт раньше было принято объяснять результатом древнего смещения северных светлоокрашенных европеоидов и сибирских монголоидов в лесной зоне Восточной Европы: по данным палеоантропологии лапоноидный тип ещё с неолита был широко распространён на данной территории. Однако исследования последних десятилетий позволяют отказаться от этой точки зрения и принять гипотезу, высказанную уже полвека назад В.В.Бунаком – о сохранении в антропологическом типе саамов расовых черт древнейшего населения севера Евразии, обитавшего в верхнем палеолите в предледниковой зоне и представлявшего собой особый неспециализированный расовый тип, в котором не развились до конца ни европеоидные, ни монголоидные особенности. По-видимому, лапоноидный тип следует рассматривать как западный вариант более широкого древнего комплекса, представленного сегодня также так называемыми *сублапоноидным*, *субуральским* и *уральским* типами (см. разделы о поволжских финнах, пермяках, манси), распространёнными в лесной и субарктической зоне Евразии от Фенноскандии до Енисея преимущественно у народов, говорящих на языках уральской языковой семьи (от саамов до селькупов), и их соседей. Для всех этих типов характерно противоречивое сочетание монголоидных (прежде всего – уплощённое лицо, низкий рост, слабое развитие третичного волосного покрова, относительно слабое выступание носа, в большинстве случаев – вогнутая или прямая форма спинки носа) и европеоидных (прежде всего – светлая пигментация, низкое по монголоидным масштабам и – опять-таки по монголоидным масштабам –



относительно профилированное лицо) признаков, восходящее, по-видимому, к древнейшему неспециализированному типу населения севера Евразии, который можно называть “древнеуральской расой” (по Г.М.Давыдовой). Следует полагать, что ещё с неолитического времени происходила постепенная метисация носителей древнеуральского типа с северными европеоидами на западе, в Прибалтике и на территории Европейской России, и с континентальными (в основном – байкальскими) монголоидами на востоке, в Средней и Западной Сибири и на Урале. В наиболее чистом виде этот архаичный тип сохранился на западе у саамов (лапоноидная раса), а на востоке у манси (уральская раса) – см. также раздел о манси.

Очевидно, сохранение столь архаичного антропологического типа на севере Фенноскандии связано с тем, что местное население развивалось в условиях относительной изоляции, что находит себе подтверждение и в данных палеобиогеографии и археологии. Территории современных Финляндии, Карелии и севера Скандинавии в течение последних 6-5 тысяч лет были гораздо менее подвержены эпохальным сдвигам границ природных зон, чем более южные регионы. За исключением южного и юго-западного побережья Финляндии и крайнего юга Карелии здесь по крайней мере с развитого неолита (с начала III тыс. до н.э.) и вплоть до начала нашей эры не отмечается массового прихода нового населения, наблюдается весьма консервативное развитие местных археологических культур: *типичной и поздней гребенчатой керамики* и *вырастающей на основе последней к середине II тыс. до н.э. культуры асбестовой керамики*, доживающей в пережиточном виде на севере до начала нашей эры (об археологическом отражении процесса финно-угризации протосаамов в связи с распространением в Карелии и Финляндии *культуры ложнотекстильной керамики* см. раздел о прибалтийских финнах).

Таким образом, данные физической антропологии, этнографии и археологии показывают, что саамы являются прямыми потомками древнейшего (по крайней мере – неолитического) населения Северной Европы. Не исключено, что население это первоначально говорило не на финно-угорском, а на так называемом “палеоевропейском” языке неизвестной генетической принадлежности: в саамском языке обнаруживается достаточно мощный пласт слов (в том числе и относящихся к “базовой лексике”, например общесаам. \**čācē* “вода”, \**ēņēt* “земля”, \**mōre* “дерево”, \**kēđkē* “камень”, \**pēņke* “ветер” и др.), не имеющих надёжных параллелей в уральских языках, да и в языках каких-либо других семей (Г.Итконен). Возможно, что переход живших в Фенноскандии *палеоевропейских* предков саамов на финно-угорский язык, близкий раннему прибалтийско-финскому происходил в течение I тыс. до н.э. – I тыс. н.э. вследствие усиливающегося влияния с востока (в эпоху поздней бронзы и раннего железа), начало этого процесса, очевидно, следует связывать с распространением во второй половине II тыс. до н.э. во внутренних районах Финляндии, на юге Карелии, в Прионежье и Приладожье

памятников типа *Сарса-Томица* – одного из вариантов общности культур ложнотекстильной керамики (см. разделы о прибалтийских финнах и о поволжских финнах), которые постепенно вытесняют культуру асбестовой керамики всё далее на север, а затем – с юга (в позднем железном веке и средневековье) – и завершился окончательно лишь в позднем средневековье, в эпоху сложения современной этнической территории саамов и связанных с ней внутрисаамских миграций и контактов (см. ниже).

В русских документах XIII-XV веков имя *Лопь* и производные от него применяются к населению южного Приладожья (*Лопский погост* восточнее г. Орешек), и *Заонежья* (*лешая*, то есть – “лесная”, *лопь*). Это согласуется с данными топонимики: южная граница распространения субстратной саамской топонимии (согласно исследованиям А.К.Матвеева, И.И.Муллонен и др.) проходит от Межезерья (район между Ладожским, Онежским и Белым озёрами) на западе до верхнего течения р.Мезень на востоке. К аналогичному выводу о былом саамском населении в центральной и южной Финляндии на основании анализа топонимии, преданий и исторических источников пришёл в своё время Т.Итконен. Очевидно, следует полагать, что ещё в конце I тысячелетия н.э. территория современных Финляндии, Карелии и значительная часть Русского Севера были заняты относительно редким населением, говорившем на (древне-)саамских диалектах (М.Корхонен считал даже возможным говорить о “южно-саамской” группе диалектов, противопоставляемой “северно-саамской” – той, с которой мы имеем дело сегодня).

Это население постепенно было частично вытеснено на север, частично ассимилировано продвигавшимися с юга финнами, карелами и русскими. Первоначально (в XIII-XVI веках) это продвижение на территории современной Финляндии носило характер торговой экспансии, связанной с основанием факторий, сбором более или менее систематических податей мехами с охотничьего саамского населения. О масштабах этой экспансии и степени влияния южных торговцев на образ жизни саамского населения центральной Финляндии свидетельствует происходивший в это время процесс образования больших саамских *зимних деревень* в этом регионе, явно обусловленный развитием торговли. Постепенно складывается так называемая “лопарская система налогообложения” – система зависимости определённых групп саамов от определённых торговцев, которая в XVI веке приобрела уже вполне официальные формы. Начиная со второй половины XVI века (на Русском Севере – ещё раньше) саамские земли начинают систематически осваиваться приходящими с юга земледельцами, практиковавшими подсеку, площадь лесных угодий резко сокращается и саамское население, лишённое возможности ведения традиционного хозяйства, ассимилируется или уходит на север (см. разделы о финнах и карелах).

По-видимому, в период, когда охотничье-рыболовческое саамское население нынешних Карелии и Финляндии начало испытывать всё усиливающееся давление с юга, на северо-западе саамской территории, в горной тундре Северной Норвегии саамы переходят к крупномасштабному оленеводству (не ранее XIII века): хотя содержание прирученных ездовых оленей и оленей-манщиков для охоты на диких северных оленей было известно предкам саамов, видимо, издревле (в источниках олени у саамов упоминаются с конца IX века), широкое распространение крупного выпасного оленеводства и специализированного кочевого образа жизни у саамов имело место лишь в XVI-XVIII веках (первые письменные свидетельства – с середины XVI века), что позволило саамам широко расселиться в горной тундре Скандинавии, проникнув довольно далеко на юг во внутренних районах Норвегии и Швеции. Вероятно, эти процессы были связаны с экономическим и этносоциальным кризисом лесных саамов в Финляндии и Карелии в условиях постепенного освоения их земель южными соседями, а также – с истреблением диких северных оленей в силу интенсификации промысловой охоты на них вследствие втягивания саамов в систему северо-европейской торговли (ср. аналогичные и почти одновременные процессы у тундровых ненцев – см. раздел о ненцах).

Так, к XVIII-XIX векам сформировалась в основном сегодняшняя этническая территория саамов, и на базе древнего саамского “лесного” (охотничье-рыболовческого) уклада сложилось в общих чертах оленеводческое хозяйство с соответствующими ему формами материальной и духовной культуры и социальной организации, характерное сегодня прежде всего для саамов внутренних (горно-тундровых) районов Швеции и Норвегии, финских саамов районов Утсйоки, Муонио, к западу и северу от оз. Инари, в значительной мере – и для некоторых групп саамов Кольского полуострова. В то же время некоторые саамские группы сохраняют более архаичный экономический уклад с меньшей долей оленеводства (или почти полным его отсутствием), базирующийся на озёрном и речном рыболовстве и охоте (саамы Инари, “речные саамы” на севере Норвегии, “лесные саамы” лесной зоны Шведской и Финской Лапландии, отчасти – кольские саамы, доля оленеводства у которых сократилась в силу конкуренции с оленеводами коми-ижемцами, переселившимися на Кольский п-ов во второй половине XIX века).

У другой части саамов, издревле населявшей морское побережье Норвегии и представляющей собою, возможно, потомков создателей ещё мезолитических прибрежных культур *Фосна* и *Комса*, крупное оленеводство не получило распространения, и сохранился хозяйственный уклад, базирующийся на морском рыболовстве – это так называемые “морские” или “береговые саамы” Норвегии, составляющие сегодня самую крупную (более 15 тыс. человек) культурно-хозяйственную группу в составе саамов.

Таким образом, на протяжении последних тысячелетий саамы находились в непрерывном контакте с прибалтийскими финнами и со

скандинавами, что отражено в наличии значительного слоя прибалтийско-финских и древнескандинавских (затем – норвежских и шведских) заимствований в саамском языке. Контакты с русскими были более поздними, русские заимствования проникли в основном в кольско-саамские диалекты. Ряд ненецких слов, обозначающих специфические ненецкие реалии (например – названия таких видов одежды как *малица*, *совик*, *пимы*) попали в кольско-саамские диалекты вместе с этими реалиями от ненцев, переселившихся в конце XIX века на Кольский п-ов вместе с коми-ижемцами (см. разделы о коми и ненцах). Кроме того необходимо отметить, что саамы могли иметь какие-то более ранние контакты с ненцами, скорее всего – через Канин и Кольский полуострова: канинских ненцев местные русские до сих пор называют “*лопарями*” (по Л.В.Хомич).

Вместе с тем, следует сказать, что предполагавшаяся ранее некоторыми исследователями особая близость лексики саамского и самодийских языков, на основании чего даже выдвигалась гипотеза о самоедязычности протосаамов до их перехода на финно-угорскую речь (Ю.Тойвонен, И.Н.Шебештген; о протосаамской проблеме см. выше), не выдерживает критики (см. работы Б.Коллиндера, Ю.Лехтиранты, Е.А.Хелимского): объём сепаратных саамско-самодийских лексических параллелей не столь значительно превышает объём сепаратных сходжений между любыми другими произвольно взятыми группами уральских языков, чтобы можно было говорить об особых отношениях. Лучшее сохранение части прауральской лексики в саамских и самодийских языках, занимающих северную периферию уральского ареала и функционировавших в близких природных условиях вполне естественно.

Примерно с XIII века саамы Карелии и Кольского полуострова (по крайней мере – его южного, Терского берега) попадают в зависимость от Новгорода. Примерно с этого же времени южные группы скандинавских саамов становятся данниками Швеции и Норвегии. Однако систематический интерес к нынешним саамским землям проявляется, и их реальное включение в состав этих государств происходит позднее – в XVI-XVII веках. В это же время начинается обращение саамов в христианство (лютеранство на западе, православие – на востоке), с чем связаны, в частности, первые опыты создания саамской письменности в Скандинавии (книги печатаются по-саамски в Швеции с начала XVII, в Норвегии – с XVIII века). В обращении русских (кольских) саамов в православие большую роль сыграл Печенгский монастырь (1550-1764 гг.). В настоящее время саамы Норвегии, Швеции и Финляндии – лютеране, саамы Кольского п-ва и небольшая группа саамов-*сколтов*, переселённых после выхода Финляндии из второй мировой войны и утери ею территории Печенги (ф. *Petsamo*) в район оз. Инари, – православные.

В конце 1980-х годов общая численность саамов была около 50 тысяч, из них – в Норвегии 30 тыс. человек, в Швеции 15 тысяч, в Финляндии 3 тысячи и в России 1,8 тыс. человек. Последние десятилетия отмечены

подъёмом национального самосознания саамов, ростом влияния национальных организаций как внутри соответствующих государств, так и на международном уровне.

## Поволжские финны

Под названием *поволжские финны* или *волжские финны* в литературе по финно-угроведению объединяют мордву и марийцев: согласно установившейся в начале XX века традиции их языки возводились к единому *волжскому праязыку*. На самом деле сколько-нибудь серьёзных оснований для постулирования былого существования этого “праязыка” нет, и название *поволжские финны* неудачно ещё и потому, что использование слова *финны* в данном случае не совсем правомерно: языки и культура мордвы и, тем более, марийцев весьма далеко отстоят от прибалтийско-финских. Прибалтийско-финские, саамский и поволжско-финские языки (вместе называемые *финно-волжскими*) противостоят пермским языкам в рамках *финно-пермской* общности подобно тому как прибалтийско-финские, саамский, поволжско-финские и пермские языки противостоят угорским языкам в рамках финно-угорской группы уральской языковой семьи. Проблема, однако, состоит в том, что, если реконструкция финно-угорского праязыка и, соответственно, выделение финно-угорской группы языков в принципе сомнений не вызывает, то реконструкция финно-пермского праязыка (общего “предка” прибалтийско-финских, саамского, поволжско-финских и пермских) и, в особенности, финно-волжского (общего “предка” прибалтийско-финских, саамского и поволжско-финских) гораздо более проблематична. Соответственно, выделение финно-пермской и финно-волжской групп финно-угорских языков нельзя считать достаточно корректным. Возможно, стоило бы использовать термин *европейские финно-угорские языки* для *финно-пермских* языков (правда, венгерский язык тоже является европейским !) и *западные финно-угорские языки* для *финно-волжских*: такие названия вызывают только историко-географические ассоциации и не предусматривают постулирования соответствующих праязыков. Однако, дабы не вносить дополнительной путаницы в терминологию, будем использовать здесь традиционные термины (имея в виду их условность, каковая оговорена выше).

Таким образом, термин *поволжские финны* используется здесь в качестве собирательного названия мордвы, марийцев (а также мери – ?) как народов, сформировавшихся и долгое время живших в едином ареале, объединённых общими судьбами в средние века и в последующее время, хотя по своему происхождению они представляют самостоятельные ветви финно-угорского (финно-волжского) ствола.

Формирование поволжских финнов шло в основном на базе племён-создателей верхневолжского и волго-окского вариантов общности культур

*ложнотекстильной керамики*, в которой (по крайней мере на её ранних этапах) следует видеть археологический аналог финно-волжской праязыковой общности, диалекты и языки которой стали основой для сложения прибалтийско-финских, саамских и волжских финно-угорских языков. Культура *ложнотекстильной керамики* сложилась в последней четверти II тыс. до н.э. на Верхней Волге и в Волго-Окском междуречье в ходе сложных процессов смешения и взаимоассимиляции разнородных групп населения данного региона (носители *поздняковской*, *абашевской* (индоиранцы, иранцы – ?), *фатьяновской*, *балановской* (протобалты – ?), *волосовской*, *чирковской* (финно-угры – ?), остатки создателей неолитических культур с *ямочно-гребенчатой керамикой* (палеоевропейцы – ?) и др.) в середине – третьей четверти II тыс. до н.э. (О.Н.Бадер, Н.Н.Гурина, П.Н.Третьяков). В раннем железном веке предковые культуры мордвы (*городецкая*) и мери и марийцев (*дьяковская*) (см. ниже) непосредственно вырастают из местных вариантов культуры *ложнотекстильной керамики*. По-видимому, уже в этот период у предков марийцев и мордвы складывается земледельческий хозяйственно-культурный уклад, характерный для большей части населения средней полосы Восточной Европы.

Антропологические типы поволжских финнов достаточно разнообразны. Большая часть мордвы-эрзи принадлежит в расовом отношении к *беломоробалтийской* и *атланти-балтийской* расе, сближаясь, таким образом, с прибалтийскими финнами и другими народами Северной, Центральной и Западной Европы. Это связано, очевидно, со значительным участием в их генезисе центральноевропейского населения, в особенности – балтов. Большая часть мордвы-мокши принадлежит к так называемой *субуральской*, а марийцев – к *сублапоноидной* расе (по терминологии К.Марк). Эти типы объединяются с широко представленными у других народов Поволжья и Предуралья (удмуртов, коми-пермяков, части коми-зырян, чувашей, части татар и башкир) *сублапоноидными* комплексами, которые российские антропологи в последнее время справедливо предпочитают объединять в один тип, называя его *сублапоноидным волго-камским*. По-видимому, в его сложении приняли участие различные и разновременные европеоидные и монголоидные компоненты, наложившиеся на древнюю основу – архаичный недифференцированный комплекс, называемый *древнеуральской расой* (В.В.Бунак, Г.М.Давыдова), некогда широко распространённый на севере Восточной Европы и в Западной Сибири (см. также разделы о саамах, пермских народах и манси).

## Мордва

Название *мордва* (из русского – в европейских языках: нем. *Mordwinen* и т.д.) не является исконным самоназванием и, хотя уже давно применяется и самим мордовским населением, представляет собою экзоэтноним, заимствованный из русского языка и служащий для обозначения двух изначально близких друг другу по языку и культуре, но тем не менее обладающих различным этническим самосознанием групп – *мокши* и *эрзи*. Впервые данный этноним встречается у Иордана (VI век н.э.) в форме *Mordens* – один из народов, якобы покорённых готским королём Германарихом. Затем, в X веке – у византийского императора Константина Порфирогенета в качестве названия страны *Mordia*. В русских летописях *Морьдва* впервые упоминается в списке народов Среднего Поволжья, входивших в сферу интересов Киевской Руси с самого раннего времени, составленном, как принято полагать, в XI веке. Своим происхождением это название очевидно связано со словами иранских языков, имеющими значение “человек, мужчина”: перс. *mārd*, ягн. *morti*, происходящими от индоиранского корня *\*mṛta-* “человек, смертный”, к которому восходят также морд. Э *mirǵe*, М *mirǵä* “мужчина, муж”, удм. *murt* “человек, мужчина; чужой”, коми *mort* “человек, мужчина”. Различие в огласовке внешнего названия мордвы *\*mord-* и традиционно реконструируемого мордовско-пермского слова *\*mertz* “человек, мужчина, муж” может объясняться, во-первых, происхождением первого из относительно позднего (среднеиранского) источника, а второго – из очень раннего (раннего индоиранского), а во-вторых – заимствованием иранских слов в разные языки (в первом случае – в славянский и, возможно, в германский, во втором – в финно-угорские) и, соответственно, его различной адаптацией.

Самоназвание мордвы-*эрзи* (морд. *erǵa*, *erǵa*, *erǵä*, впервые зафиксировано, как принято считать, в письме хазарского кагана Иосифа (X век), где в ряду подчинённых хазарами народов, между *s-var* (очевидно, – *сувары*, племя, жившее на территории Волжской Булгарии) и *c-r-mis* (видимо – *черемисы*, то есть марийцы), упоминается народ *arisu*. Возможно, это же имя (*эрзя*) стало основой для названия загадочной страны *Arsa(nija)* или *Arta(b)*, упоминаемой в трудах арабских географов с X века как один из трёх основных центров *русов*, наиболее труднодоступный для иноземцев. Происхождение слова *эрзя* остаётся неясным; среди высказывавшихся по этому поводу гипотез наиболее приемлемо предположение о заимствовании его из иранских языков: ср. др.-перс. *aršan* “самец, муж; бык, вепрь; герой, богатырь”, хотя прямое сопоставление данного древнеперсидского слова с мордовским затруднено по фонетическим причинам.

Самоназвание мордвы-*мокши* (морд. *mokša*) впервые встречается в источниках XIII века – в записках фламандского путешественника бр.

Вильгельма де Рубрука среди покорённых Чингис-ханом народов назван народ *Moxel*, живущий за Доном на севере, далее которого обитает мордва (“*Merdas*, которых латыняне называют *Merduinis*”). *Мокша* наряду с *эрзей* (*arjan*) упоминается в качестве одного из покорённых татарами народов Среднего Поволжья и в “Сборнике летописей” государственного деятеля при дворе монгольских ханов, перса Рашид-ад-Дина (XIV век). Этот этноним, по-видимому, связан с названием реки *Мокши*, протекающей по исконной территории расселения мордвы-мокши, которое, в свою очередь, может иметь балто-славянскую этимологию: др.-церк.-сл., др.-рус. *мокръ* “мокрый”, лит. *takonė* “лужа”, *taklūnė* “грязь” (в бассейне Верхней и Средней Волги имеются и другие названия рек типа *Мокша*). То обстоятельство, что сегодня река Мокша называется по-мокшански *Jov*, не может служить в качестве контраргумента к гипотезе о балто-славянском происхождении названия реки: слово *jov* является нормальным мордовским производным от прауральского \**joke* “река”, что может указывать на относительно позднее присвоение мокшанами важнейшей реке региона этого имени (“Река”), уже после того, как прежде (балто-славянское) название реки дало имя народу.

Истоки формирования мордвы следует связывать с племенами *городецкой* культуры, существовавшей одновременно с возникшей на той же основе (комплекс культур *ложнотекстильной керамики*) *бяковской* культурой (см. раздел о марийцах) в VIII в. до н.э. – I в. н.э. на правобережье Средней Волги и в бассейне средней Оки, в долинах Суры, Мокши, Цны, Тешы, то есть – на территории, где мордва впервые фиксируется по письменным источникам и живёт до сих пор. Можно предполагать, что достаточно близки к древнемордовским племенам по культуре и языку были зафиксированные русскими летописями в IX-XII веках *Мурома* и *Мещера*, жившие по Оке в её нижнем течении (район г. Мурома) и на территории Мещерской низменности, хотя никаких реальных фактов, указывающих на принадлежность языков муромы и мещеры к финно-угорской группе – кроме самых общих ономастических догадок – у нас нет. Очевидно, уже в середине I тыс. н.э. произошло обособление двух основных территориальных групп древнемордовского населения: южной, жившей в верховьях Мокши и Суры, позже распространившейся на северо-запад, в долину Цны (видимо – предки мордвы-мокши), и северной, населявшей междуречье Оки и Суры, бассейны рек Тешы, Пьяны и др. (предки мордвы-эрзи).

Начиная с IX века мордва (в особенности – мокша на юге и востоке) попадает под влияние Волжской Булгарии, а с XI века мордовские земли становятся предметом внимания русских князей (согласно “Слову о погибели Русской земли” *Морьдва* платила дань мёдом Владимиру Мономаху (1053-1125 гг.)), и мордва принимает участие в борьбе Руси и Булгарии за зоны влияния в Среднем Поволжье. Особенно эта борьба обострилась в конце XII – начале XIII века, когда (в 1221 году) в устье Оки был основан русскими Нижний Новгород, а в мордовских землях возвысился эрзянский князь *Пурас*, объединивший под своей властью не только “*Морьдву Пургасову*”, но и “*Пургасову*”



Русь” и не без успеха боровшийся с русскими, совершая даже походы на Нижний Новгород. Разгром Пургаса нижегородцами в 1229 году состоялся при поддержке сына некоего князя по имени *Пуреш* (вариант – *Пурейша*), союзника владимирского князя Юрия, которого некоторые исследователи склонны также считать мордовским князем (в летописях, впрочем, упоминается “Пурешевъ сынъ съ *половци*”, что даёт основания сомневаться в его мордовском происхождении).

Развернувшейся в Среднем Поволжье борьбе положила в XIII веке конец третья сила – монголо-татары, в ходе нашествия которых (в 1237-1238 годах) мордовские земли были подчинены монголам, а часть мордвы-мокши во главе с князьями, по свидетельству бр. Вильгельма де Рубрука (см. выше), была включена в состав монгольского войска и погибла в европейских походах. Для контроля над мордовскими и соседними землями золотоордынцами был в XIV веке основан на р. Мокше город *Мухши* (ср. тат. *mukšā* “мордва-мокша” < морд. *mokša*), ныне – село Наровчат Пензенской области. С этого времени возрастает тюркское влияние на культуру и язык мордвы-мокши. С другой стороны, на севере со второй половины XIV века мордовские земли попадают под власть нижегородских князей, и растёт русское влияние на мордву-эрзю, происходит частичная ассимиляция её в Окско-Сурском междуречье и сдвиг основной этнической территории эрзи на восток и юго-восток – к среднему течению р.Суры. Жестокий ордынский гнёт, не спасавший от постоянных страшных набегов степняков (отражённых в мордовском фольклоре в цикле исторических песен и преданий о *нозайцах*), привёл к тому, что большая часть мордвы постепенно склонилась на сторону русских, и в период борьбы Москвы с Казанским ханством мордва уже выступает союзным Москве народом.

Окончательное включение всех мордовских земель в состав Русского государства произошло после покорения Москвой Казани в 1552 году. В XVI-XVII веках здесь строятся города, составлявшие оборонительный рубеж на степном пограничье Руси, и сильно возрастает приток русского населения. С этого же времени начинается христианизация мордвы, особый размах получившая в XVIII веке. Реакцией на неё, а также – на усиливающийся социальный и национальный гнёт было так называемое терюшевское (по названию волости) восстание 1808-1810 годов, возглавлявшееся Кузьмой Алексеевым (в русских документах – “*Кузька мордовский бог*”), пытавшимся на базе языческих мордовских верований создать особую общенациональную религию мордвы (см. о подобных реформаторских неоязыческих движениях в XIX веке у мари и удмуртов в соответствующих разделах).

В результате ассимиляции татарами и русскими к XIX веку сложились две особые этнографические группы мордвы: *каратаи* (внешнее название по селу Большие Каратаи), живущие на юго-западе Татарстана (Тегюшский район), говорящие сегодня по-татарски, но считающие себя *мордвой* (*мокшей*) и сохраняющие мордовские особенности традиционной культуры, и *терюхане* (также внешнее название по селу Большое Терюшево), жившие в

Нижегородской губернии (сегодня – Дальнеконстантиновский район Нижегородской области), сохранявшие ещё в начале XX века мордовские особенности в культуре и самосознание (*мордва-эрзя*), сегодня полностью обрусевшие.

С другой стороны, вследствие притока русских поселенцев на мордовские земли, закрепощения части (не более 10%) мордовского крестьянства и т.д., с XVII века начинаются миграции мордвы на восток: первоначально – в Поволжье, на территории нынешних Самарской, Ульяновской, Саратовской областей, Татарстана, затем, в XVIII веке – в Заволжье и Предуралье, в Башкирию, Оренбургскую область. Эти миграции привели к чрезвычайно дисперсному и широкому расселению мордвы, которая, однако, и на новых землях сохраняла свою культуру, язык, этническое самосознание. Уже к середине XIX века на коренных мордовских землях обитало едва ли более половины всего мордовского населения России, которое составляло в это время (перед отменой крепостного права в 1861 году) около 670 тыс. человек. Движение мордвы на восток продолжалось и во второй половине XIX века: по переписи 1897 года в России мордвы жило 1 миллион 22 тысячи человек, из них более 30 тысяч – в Зауралье, Сибири и Северном Казахстане.

После революции 1917 года в России мордовский народ получил автономию: в 1928 году создан Мордовский округ, преобразованный в 1930 году в Мордовскую автономную область (с 1934 года – Мордовская автономная республика). В силу дисперсного расселения мордвы первоначально менее трети всего мордовского населения России (по переписи 1926 года – 1 миллион 339 тыс. человек) оказалось живущим в пределах созданной автономии, среди населения которой мордва составляла в 1928 г. 32,2% (452 тыс. чел.), а в 1930 г., после изменения границ – 38,5% (501 тыс. чел.). В годы ускоренной индустриализации и Второй мировой войны численность мордвы как в целом по России, так и в пределах Мордовской республики сократилась – преимущественно за счет ассимиляции, чему способствовали дисперсность расселения мордвы, наличие двух литературных языков, урбанизация, ликвидация мордовских национальных районов, созданных в 1930-е гг. в Пензенской и Самарской областях. По переписи 1959 года численность мордвы в СССР была 1 миллион 285 тысяч человек, из них в Мордовии жило 358 тысяч. Процесс сокращения численности мордвы продолжался и в 1960-1980-е гг.: 1970 г. – 1 млн. 262 тыс., 1979 г. – 1 млн. 192 тыс., 1989 г. – 1 млн. 154 тыс. человек в пределах СССР. При этом лишь 740 тыс. человек в 1989 г. (64%) считали родным один из мордовских языков. В Мордовии в 1989 г. жило 313,4 тыс. лиц мордовской национальности, из которых 277,3 тыс. (88%) считали родным один из мордовских языков.

Говоря о современных этносоциальных процессах у мордвы, следует иметь в виду, что, в силу языковой и этнической близости мокши и эрзи, того, что на протяжении длительного времени по отношению к тем и другим применяется единый экзотоним *мордва*, существует мордовская

государственность, среди мордвы реально распространено своеобразное “двойственное” этническое самосознание, когда человек считает себя, с одной стороны, принадлежащим к “мордовскому народу”, а с другой – к одному из его так называемых “субэтнических подразделений” (мокше или эрзе); по переписи 1959 года, когда учитывалась эта особенность, среди мордвы Мордовской АССР 178,3 тыс. человек показали себя по национальности “мокшанами”, 164,8 тыс. – “эрзянами” и лишь 15 тыс. человек – “мордвой”, по данным опроса 1973–1974 годов процент внутриэрзянских браков (к общему числу опрошенных) составлял на селе 40,2%, в городе – 20%, внутримокшанских – на селе – 52,6%, в городе – 20,9%, в то же время браки между мокшей и эрзей составляли на селе 0,8%, в городе – 4,5% от общего числа опрошенных. В связи с ростом интереса к национальной проблематике, подъёмом национального самосознания в конце 1980-х – начале 1990-х годов в мордовской среде довольно остро ставится вопрос о приоритете общемордовского или “отдельного”, мокшанского и эрзянского самосознания, о том, следует ли продолжать использовать привнесённое извне имя *мордва* в качестве названия народа, или нужно перейти к официальному употреблению двух самоназваний, признав тем самым существование двух особых народов.

Сегодня мордва-мокша населяет в основном запад и центр Мордовии, а эрзя – восток (см. выше о формировании этнической территории мордвы), при этом большая часть эрзян (составляющих, как принято считать, около двух третей мордвы) живёт за пределами республики, в Пензенской, Ульяновской, Нижегородской, Самарской, Оренбургской областях, в республиках Татарстан и Башкортостан. Мокшане также живут в этих областях и республиках, иногда – в одних сёлах с эрзянами, но в целом за пределами Мордовии их меньше.

Помимо этих двух групп и охарактеризованных выше терюхан и каратаев следует упомянуть мордву-шокушу или (у некоторых авторов) *теньгушевскую мордву*, живущую на крайнем северо-западе Мордовии (около 15 тысяч человек в Теньгушевском и Торбеевском районах) и представляющую собой обособленную как в культурном, так и в языковом отношении мордовскую группу, изначально, возможно, близкую древнеэрзянскому массиву, давно живущую в русском и мокшанском окружении.

## Марийцы

Самоназвание – Л *marij*, В *mari*, Г *marā* – буквально означает “муж, мужчина” и является заимствованием из иранских языков, – ср. ав. *mairyu* “молодой человек, юноша, член воинского союза”, др.-перс. *marika* “дружинник, стражник, член воинского союза”, пехл. *merāg* “муж, молодой человек” и т.д.

Соседние народы называют марийцев другим именем: рус. *черемис* (вероятно – из чувашского), чув. *šarmās*, тат. *čirmäš*. Именно этот этноним довольно рано встречается в письменных источниках: в письме хазарского кагана Иосифа (X век) в ряду народов Поволжья, якобы подвластных хазарам, в форме *c-r-mis*, – и в русских летописях при рассказе о событиях начальной русской истории (составлен, очевидно, в XI веке) *Черемисы* названы рядом с мордвой среди народов, живущих по Оке – Средней Волге между Русью и Волжской Булгарией. Не исключено, что этот этноним зафиксирован и у Иордана (VI век) – в сильно искажённой форме *Imniscaris*, хотя более вероятно, что за этой формой кроется название летописной *Мещеры* (см. раздел о мордве). О происхождении этнонима \**čermis* высказывалось немало гипотез, наиболее вероятным представляется предположение о связи его с тюркским корнем \**čer-* “сражаться, воевать” (чув. *šar* “войско, армия” < тюр. \**čer(ig)* “войско”). Выведение внешнего названия марийцев из тюркского корня в принципе согласуется с очень старыми и интенсивными связями марийцев с тюркскими народами Поволжья, марийский язык изобилует тюркизмами и является самым тюркизированным из финно-угорских языков.

Близость самоназвания марийцев *mari(j)* с названием *мери* (др.-рус. *Меря*), жившей на территориях современных Ярославской, Ивановской, Костромской, на севере Владимирской, Московской, на востоке Тверской областей России, известной уже в самых ранних сообщениях русских летописей и окончательно обрусевшей, возможно, лишь в XVII веке, давно приводила исследователей к предположению об этноязыковой близости самих этих народов. Данное предположение было подкреплено анализом субстратной дорусской топонимии мерянского региона, проделанным М.Фасмером ещё в 30-е годы XX века и вторично на более высоком уровне – А.К.Матвеевым в 90-е годы: многие “мерянские” топоосновы объясняются только из марийского языка (например, гидроформант *-(e)нгирь / -(e)нгерь* < мар. *ejer* “река”). В 70-80-е годы А.К.Матвеевым был также выделен пласт дорусских субстратных гидронимов на *-(e)ньга* на севере Европейской России (в основном в бассейне нижней Сухоны, Ваги, в верхнем течении Северной Двины – на территории обитания летописной *Чуди заволочской*), язык создателей которых исследователь склонен был считать переходным от прибалтийско-финско-саамских к марийскому (о сложении этой группы в

результате притока в Каргополье восточного, *ананьинского* населения см. в разделе о прибалтийских финнах). Таким образом, марийский язык, вероятно, действительно можно рассматривать как остаток некогда (в дорусское время) довольно широко распространённого в центре и на севере Европейской России массива родственных языков и диалектов, образующих особую группу финно-пермских языков, к которой мог принадлежать и язык мери.

Результаты проделанной О.Б.Ткаченко работы по сбору и анализу реликтов мерянской лексики в русских диалектах и топонимии – вопреки выводам самого исследователя, рассматривавшего язык мери как промежуточный между мордовскими, марийским и прибалтийско-финскими и более близкий всё-таки к последним – не противоречат сделанному выше предположению об особой близости мерянского и марийского языков: среди немногочисленных диалектных русских слов, восходящих, возможно, к мерянскому языку, имеются такие сугубо марийские корни как *\*jelmā* “язык, речь”, *\*koka* “тётя, старшая сестра”, *\*kuša* “женщина, баба”, *\*maksā* “гнилушка”, – хотя, естественно, говорить об идентичности марийского и мерянского языков не приходится (среди “мерянской” лексики О.Б.Ткаченко, пожалуй, не меньше специфически мордовских основ). Дело здесь осложняется и нерешённостью методологической проблемы: в какой мере диалектные слова и тем более арготизмы в действительности могут отражать субстратную мерянскую лексику, и как отделить её от простых заимствований из соответствующих языков в русские диалекты и арготические “языки”, – топонимические данные в этом плане гораздо более надёжны.

Вероятно, археологическим аналогом протомарийско-мерянской общности является сложившаяся во VIII-VII веках до н.э. на базе восточного (верхневолжского) варианта общности культур *ложнотекстильной керамики дьяковская* культура, городища которой обнаружены на обширной территории от верховьев Волги и Мсты на западе до устьев Оки, Унжи и правобережья Волги напротив устья Ветлуги на востоке и от верхнего течения Костромы на севере до устья Москвы реки на юге. Формирование этнического ядра протомарийцев в начале и середине I тыс. н.э. происходило, скорее всего, на базе восточных (*пост-*)*дьяковских* и *пост-ананьинских* (см. раздел о пермских народах), с участием, возможно, и *городецких* (см. раздел о мордве) племён в бассейнах рек Унжи, Ветлуги и в Среднем (чувашско-марийском) Поволжье (видимо, как на лево-, так и на правобережье Волги). Трудно определить, какой из основных компонентов (западный, культура ложнотекстильной керамики и её наследница дьяковская, или восточный, ананьинская и постананьинские культуры) сыграл ведущую роль в этом процессе: с одной стороны, культура волжских ананьинцев явно сложилась на мощном субстрате культуры ложнотекстильной керамики (что, таким образом, говорит в пользу преобладания западного компонента), с другой стороны, археологически очень хорошо прослеживается сильное влияние ананьинской культуры и её потомков даже в собственно дьяковском ареале.

Следует при этом предполагать, что уже в это время (первые века – середина I тыс. н.э.) началось движение протомарийцев на восток под давлением продвигавшихся в бассейн Волги из верхнего Поднепровья славян и балтов: археологически прослеживается связь между оформлением различий в культуре западных и восточных дьяковских групп с проникновением на дьяковскую территорию культурных элементов верхнеднепровского происхождения. На востоке соседями протомарийцев были племена *азелинской* и *постазелинской* (*еманавско-кочергинской*) общности, заселявшие бассейн Вятки и отчасти Вятско-Ветлужское междуречье, в которых можно видеть древних южных пермян (см. раздел об удмуртах). Тесные контакты и смешение с последними отражены в марийском языке в значительном пласте слов, общих с пермскими языками, по крайней мере часть которых может рассматриваться как заимствования из пермских (южнопермских диалектов, древнеудмуртского языка) в марийский. Очевидно, именно вследствие этих контактов начинает оформляться различие между юго-западными (в основном – на правобережье Волги), в генезисе которых азелинский компонент не мог играть значительной роли, и остальными (левобережными) древнемарийскими племенами, и закладывается основа для разделения марийцев на *горных* – мар. Г *kārāk marā*, живущих сегодня главным образом на правобережье Волги (“горная сторона”), в Горномарийском районе Республики Марий Эл (составляют не более пятой части всех марийцев), и *луговых* – мар. Л *olāk marij*, живущих на левобережье Волги (“луговая сторона”), на большей части территории Республики Марий Эл и в соседних районах Кировской области.

Контакты древних марийцев с южными пермянами – предками удмуртов – особенно усилились с последних веков I тыс. н.э., когда марийские племена под усиливающимся давлением с запада, вследствие расширяющейся экспансии славян на северо-восток, – и с юга, под давлением тюрков, проникающих в Среднее Поволжье с юга и юго-востока, смещаются далее на восток, осваивая всю территорию Вятско-Ветлужского междуречья и отчасти вытесняя, отчасти ассимилируя пермян. Эти события отражены в фольклоре марийцев и удмуртов (предания о борьбе богатырей двух народов) и в марийских топонимах типа *одо-ilet* (букв. “удмуртское жильё”), распространённых на северо-востоке Республики Марий Эл и в соседних районах Кировской области.

В VII-VIII веках н.э. в Среднее Поволжье проникают и широко расселяются на территориях современных Самарской, Ульяновской областей, Татарстана, Чувашии тюрки, в основном – *булгары*, говорившие на R-тюркском языке, потомком которого является современный чувашский язык (ср. общетю. *jüz* “сто” – булг. *jūr*, чув. *śar* “тж”), и создавшие здесь к началу X века крупное государство, Волжскую Булгарию, сыгравшую важнейшую роль в истории народов Среднего Поволжья и Приуралья. Марийские земли левобережья Волги, по-видимому, непосредственно в состав Волжской Булгарии не входили, но правобережье (территория сегодняшней Чувашии) подверглось

интенсивной тюркизации: близость традиционной культуры, антропологического типа чувашей и марийцев, наличие в чувашском языке черт, свидетельствующих о возможном финно-угорском (марийском) субстрате (например – невозможность звонких смычных и сибиллянтов в начале слова), значительный пласт марийский лексических заимствований в чувашском, наконец – марийское название чувашей *suasla marij* (букв. – “татарский, отатарившийся мариец”), – ясно указывают на то, что в составе по крайней мере северных чувашей (*вирьялов*) присутствует заметный марийский субстрат.

По-видимому, уже в раннее время болгарский язык и культура оказали мощное влияние на марийский язык и культуру, но это влияние продолжалось и позднее – в ходе уже непосредственно чувашско-марийских контактов, отсюда – огромное количество (не менее полутора тысяч слов) так называемых “чувашских” (на деле, видимо, *болгарско-чувашских*) заимствований в марийском языке. Очевидно, болгарское влияние было сильнее на правобережье Волги, что усугубило обособление предков горных марийцев от основного марийского массива.

Разгром Волжской Болгарии монголами в 1236 году, повторённый затем в 1241 году, коснулся прежде всего опять-таки *горной* стороны (правобережье Волги), однако следует полагать, что уже в XIV – начале XV века большая часть марийских земель была включена в состав податных областей Золотой Орды – *даруг*, и марийцы стали частью населения оформившегося как независимое государство в первой половине XV века Казанского ханства. Таким образом, с XIV-XV веков начинаются интенсивные контакты марийцев с поволжскими татарами, продолжающиеся до сего дня, в ходе которых тюркское влияние на марийский язык и культуру достигает своего максимума. Любопытно, однако, что, несмотря на сильное влияние тюркских мусульманских народов (булгар и поволжских татар) в целом, пронизывающее, в частности и традиционную духовную культуру, марийцы, по-видимому, никогда не принимали в сколько-нибудь массовом порядке ислам, оставаясь язычниками.

С этого же времени (XV-XVI века) русские источники отличают *черемису горную* (под этим названием имеются в виду как горные марийцы, так и чувашаи) и *луговую* – это связано не только с уже оформившимися отличиями между двумя субэтническими группами марийцев, но и с тем, что жители *горной* стороны всё чаще и теснее контактируют с русскими (в конце концов, незадолго до взятия русскими Казани, в 1546-1551 годах *горная черемиса* перешла в подданство русского царя), в то время как луговые марийцы практически всецело находятся в ареале татарского (Казанского) влияния. Это различие в конечном счёте привело к окончательному разделению горных и луговых марийцев.

В период Казанского ханства у марийцев складывается специфическая административно-военная организация, “сотенная” (деление на более мелкие по сравнению с даругами административно-податные единицы, “сотни”),

возникает прослойка военных предводителей – “сотников” и князей. Во время покорения Казанского ханства Москвой (взятие Казани войсками Ивана Грозного в 1552 году) луговые марийцы представляли собой значительную военную силу, сражались на стороне Казани и даже после её падения вместе с татарами и (вероятно) южными удмуртами продолжали ожесточённое сопротивление, закончившееся только в 1557 году. Установление русской государственной власти, сопровождавшееся навязыванием христианства, вызвало несколько марийских восстаний в конце XVI – начале XVII веков, одно из которых (1580-1584 гг.) получило даже название “черемисская война”. Для укрепления своей власти на марийских землях русское правительство основывает здесь остроги, ставшие затем уездными городами: Царевококшайск (1578 г., ныне – Йошкар-Ола), Козьмодемьянск (1583 г.), Яранск (1591 г.) и др.; начинается приток на марийские земли и крестьянского русского населения.

После поражения восстаний основной формой протеста марийцев против социального и национального угнетения, прежде всего – против угрозы насильственной христианизации, стало массовое переселение на восток – в основном на территории современных Башкирии и Екатеринбургской области. Так в XVII-XVIII веках сложились *восточные* марийцы, диалекты которых ближе к диалектам луговых марийцев и составляют вместе с ними базу литературного *лугово-восточного* марийского языка, противостоящего *горномарийскому*. Вместе с тем, восточные марийцы имеют многочисленные отличия как от горных, так и от луговых в материальной и духовной культуре, и прежде всего – они в большинстве своём не были даже формально христианизированы (так называемые *ĕi mari* “чистые, истинные марийцы”). Впрочем, горные и особенно луговые марийцы также были крещены не поголовно и никогда не воспринимали православие как свою религию, продолжая придерживаться на практике дохристианских обрядов и верований. Сохранение язычества стало, таким образом, мощным фактором, обеспечивающим поддержание высокого национального самосознания и определённой сопротивляемости ассимиляции, отличающих марийцев от других финно-угорских народов России. В 70-х годах XIX века среди марийцев получила некоторое распространение секта *Кузу сорта* (“Большая свеча”), создатели которой пытались реформировать марийское язычество, соединить его с элементами христианства (прежде всего – идея единого бога, отказ от кровавых жертвоприношений) и превратить его в канонизированную национальную религию (см. о подобных процессах у мордвы и удмуртов в разделах о них). Марийское язычество во многом сохраняет свои позиции и сегодня: по данным социологических опросов начала 1990-х годов около 27,4% марийцев в Республике Марий Эл придерживаются православия, 7,9% – марийского язычества, 20,7% считают себя исповедующими и ту и другую веру (двоеверцы), – следует думать, что среди восточных марийцев и марийцев отдельных регионов Республики Марий Эл (прежде всего – северо-востока её)



процент придерживающихся языческих верований лиц будет ещё выше.

Возможно, имели место переселения групп марийцев не только на восток, но и на север, в глухие лесные районы – в частности, такое происхождение могут иметь *тоншаевские* марийцы (не более 3,5 тыс. чел.), живущие в верхнем и среднем течении реки Пижмы в Тоншаевском районе Нижегородской области (крайний её северо-восток).

Как продолжение марийских миграций XVII-XVIII веков можно рассматривать и переселения марийцев в XIX – начале XX века в ходе массового движения российского крестьянства на восток – в Сибирь, Северный Казахстан.

Следует заметить, что внутренняя структура марийского народа не исчерпывается подразделением на *горных*, *луговых* и *восточных* марийцев, существует, кроме того, земляческое, этнографическое деление: например, сами марийцы делят себя на группы по наиболее характерным женским головным уборам: *sorokan marij* – носящие *сороку* (северо-запад и север, частично – центр Марий Эл, Яранский р-н Кировской области, тоншаевские марийцы), *šamakšan marij* – носящие остроконечный *шымакш* (восток и северо-восток Марий Эл, Уржумский и Малмыжский районы Кировской области; видимо, к этой группе следует относить и большую часть восточных марийцев, носящих остроконечные головные уборы *šuräk* и *äkäj*, происходящие, возможно, от *шымакша*), *šarpan-našmakan marij* – носящие головное полотенце *шарпан* и покрывающий темя вышитый *нашмак* (горные марийцы, жители юга и юго-востока Марий Эл). Кроме того, в языковом отношении помимо *горного*, *лугового* и *восточного* наречий принято выделять также *северо-западный* диалект марийского языка.

После революции 1917 года в России, в 1920 году была образована Марийская автономная область, в 1936 году преобразованная в Марийскую автономную республику (ныне – Республика Марий Эл). К этому времени, однако, уже оформились две литературные языковые нормы: *горномарийский* и *лугово-восточный* марийский языки; в 1926 году существование двух равноправных литературных языков было официально закреплено. В 1897 году в России проживало 375,2 тыс. марийцев, в 1926 – 428,2 тыс., в 1959 – 504,2 тыс.. Примерно половина марийцев проживала в пределах Марийской Республики. Перепись 1989 года зафиксировала на территории России 643,7 тыс. марийцев, из которых 526,9 тыс. человек назвало один из марийских своим родным языком (высокий процент по сравнению с другими финно-угорскими народами России). В Марийской Республике в 1989 году проживало 324,3 тыс., в Башкирии – 105,7 тыс., в Кировской области – 44,5 тыс., в Екатеринбургской области – 31,3 тыс. марийцев.

## Пермские народы

*Удмурты, коми-зыряне и коми-пермяки, чьи языки чрезвычайно близки (пожалуй, они внешне даже ближе друг к другу, чем прибалтийско-финские) и происходят от единого пермского праязыка, обособившегося от других известных нам финно-угорских языков достаточно давно (вероятно, не менее трёх тысяч лет назад), образуют пермскую (об этимологии слова см. раздел о коми) группу народов, объединяемых не только общностью происхождения их языков, но и общностью исторических судеб. В литературе в отношении пермян иногда неправильно употребляют термин финно-пермские народы, что непозволительно, так как название финно-пермский давно и правомерно используется для обозначения всех финно-угорских языков и народов, исключая угров, то есть — от прибалтийских финнов до пермян включительно. Ещё менее удачны такие иногда встречающиеся названия пермян, как *пермские финны* или *восточные финны*, так как к *финнам* эти народы имеют весьма отдалённое отношение (с тем же успехом русских, например, можно было бы называть “восточными немцами”).*

Ранние этапы генезиса пермян традиционно связывают с ананьинской археологической культурой (точнее — культурно-исторической общностью), распространённой в VIII-III вв. до н.э. в бассейнах Камы, Вятки, Вычегды, в Казанском и Марийском Поволжье и оказавшей сильное влияние на этническую историю всей лесной зоны Восточной Европы (вплоть до Скандинавии) в эпоху раннего железа. Вероятно, по крайней мере в какой-то части ананьинских племён можно видеть носителей пермского праязыка на его ранней стадии. Видимо, уже непосредственно с постананьинского времени основой хозяйства пермян стало земледелие, что определило развитие их материальной и духовной культуры.

В антропологическом отношении пермские народы неоднородны, в генезисе их расовых типов преобладали, по-видимому, два направления связей: западное, выразившееся в распространении среди всех групп коми-зырян (в наибольшей степени — среди западных и северных) беломорского (в меньшей степени — восточнобалтийского) типа беломоро-балтийской расы, сближающего их с прибалтийско-финскими народами и мордвой-эрзей, в особенности — с вепсами и карелами — и южное, связанное с распространением среди удмуртов, коми-пермяков, некоторых южных и центральных групп коми-зырян своеобразного антропологического типа, называемого субуральским (по В.П.Алексееву) или сублапоноидным (по К.Марк) — имеется в виду его близость к уральской расе (см. разделы о манси и хантах) и к лапоноидному типу (см. раздел о саамах); в современной литературе эти варианты объединяются под названием сублапоноидного волго-камского (см. разделы о саамах, поволжских финнах). Сублапоноидный тип объединяет названные пермские группы с финно-угорскими народами Поволжья: мордвой-мокшей, марийцами; от собственно урало-лапоноидной расы его отделяет явное отклонение в сторону европеоидности, что объясняется, видимо, значительным смешением в прошлом

типов *древнеуральской расы* (см. раздел о манси) с европеоидами в Поволжье и Приуралье. При этом древнеуральский компонент, вошедший в состав удмуртов, отличался особенностью (по Г.М.Давыдовой) строения носового скелета: более высоким переносьем и отсутствием вогнутой спинки носа.

## Удмурты

Самоназвание *udmurt* (диал. варианты – *urtmurt*, *udmort*, *ukmort*) представляет собой композит, второй компонент которого – удм. *murt* означает “человек, мужчина; чужой” и, вместе с коми *mort* “человек, мужчина”, восходит к пермско-мордовскому *\*merlā*, заимствованному из индоиранских языков: ин.-ир. *\*mryā-* “смертный, человек” (см. также раздел о мордве). О первом компоненте, *ud-*, следует сказать, что, по всей очевидности, это – древнее самоназвание народа, отражённое и в экзотонимах – ср. : мар. *одо(-marij)* “удмурт”, рус. *вомяк* < *отяк* (форма, употреблявшаяся до XVIII века, где *-як* – суффикс, ещё один ранний вариант – *отинь*, с другой суффиксацией) < *\*ot-*. Относительно происхождения древнеудмуртского *\*od3-* (< *\*ont3-*) “удмурт (самоназвание)” существуют две версии. Согласно первой (К.Реден), этот корень сохранён в удмуртском языке в виде нарицательного существительного *ud* (< *\*ont3*) “росток, всходы” и восходит к пермско-марийскому *\*ont3* “побег, росток, поросль, молодая трава, всходы”, которое, в свою очередь, является заимствованием из индоиранских языков – ср. др.-инд. *andha-* “трава, зелень, побег”. Переход значения “росток, побег, поросль, всходы” > этноним К.Реден объясняет, реконструируя гипотетическое (незафиксированное ни в самом удмуртском, ни для родственных слов в других финно-угорских языках, ни в арийских языках) значение “луг” для древнеудм. *\*od3-* и предполагая (опять-таки, не имея фактических оснований), что предки удмуртов называли себя “луговые люди” – подобно луговым марийцам (см. раздел о марийцах). Натянутость данной гипотезы побудила меня в соавторстве с С.К.Белых высказать альтернативную гипотезу, согласно которой древнеудм. *\*od3-mort* представляет собой целиком заимствованный из какого-то иранского языка композит, который в языке-источнике мог иметь вид *\*ant(a)-mart(a)* и означал буквально “человек окраины, житель пограничья” (ср. осет. *āddā*, *āndā* “снаружи, вне”, авест. *antama* “крайний”, др.-инд. *anta-* “край, предел, граница”).

Письменными источниками удмурты фиксируются поздно. Если не считать явно ошибочных (вроде отождествления с ними народа *Veda* “Слова о гибели Русской земли”, под которым на самом деле скрывается

мордовское название чувашей – *veŋke*, (род. пад.) *veŋen*) или весьма сомнительных предположений, первым упоминанием об удмуртах, точнее, об удмуртской земле (*Вотяцкая земля*), подвластной казанскому хану следует считать русский летописный рассказ о походе Ивана III на Казань в 1469 году. С середины XVI века южные удмурты под именем (*в*) *отяки* или даже *черемиса*, *зовомая отяки* уже постоянно фигурируют в русских документах, относящихся к территории Казанского ханства. Северные удмурты (точнее – нижнечепецкие) упоминаются под именем (*в*) *отяки* в русских документах, касающихся Вятской земли, с 1521 года.

Татары называют удмуртов *ar*. Это слово некоторые исследователи (М.Жиран, В.К.Кельмаков) считают происходящим от тюркского корня \**är* “самец, муж, мужчина” в болгарской огласовке (ср. чув. *ar* “муж, мужчина” при тат. *ir* “муж”), однако с исторической и семантической точки зрения данное сопоставление представляется по меньшей мере странным, что заставляет сомневаться в его правомерности. Более правдоподобна гипотеза С.К.Белых, выводящего тат. *ar* “удмурт” из тат. *arǎ* “та (противоположная) сторона (реки)” – через промежуточную форму *ar(ǎ)lar* (множ. число) “жители той стороны”. Попытки некоторых исследователей видеть в *арянах*, *арских князьях* и *арских людях*, фиксируемых русскими документами XV-XVI веков в Нижнем Прикамье – Приказанье и на Нижней Чепце, удмуртов на основании сходства этих названий с татарским названием удмуртов *ar* несостоятельны: под этими именами однозначно имеются в виду арские и каринские (чепецкие) татары, жители или выходцы из района города *Арска* (тат. *arǎa* – от *art-ǎa* “задний, тыловой”) – старого удельного центра Волжской Булгарии, а затем и Казанского ханства. Безусловно, нельзя исключать возможности присутствия среди *арских людей* каких-то групп удмуртов, находившихся в зависимости от арских татарских князей, но реальных указаний на сей счёт в источниках не содержится (см. также ниже).

Формирование удмуртов шло на базе южнопермских племён – потомков создателей *ананьинской* археологической культуры. В III веке до н.э. на базе позднего ананьина на юге формируется *пьяноборская* культурная общность, территория распространения которой охватывала районы от среднего течения р. Белой на юго-востоке до Вятско-Ветлужского междуречья на северо-западе. На основе *пьяноборской* общности в бассейне Вятки (“*памятники худяковского типа*”) складывается *азелинская* культура III- VI вв. н.э., доживающая в своём позднем варианте (“*еманевская культура*”) до IX века и имеющая дальнейшее продолжение в вятских памятниках типа Кочергинского могильника. Эти культуры рассматриваются многими исследователями как археологический аналог постепенно обособлявшихся южнопермских групп, составивших основу удмуртского народа: именно на правобережье Вятки и в Вятско-Ветлужском

междуречье локализуются древние контакты марийцев с народом (мар.) *одо* (см. выше и раздел о марийцах).

О бассейне Вятки как исконной территории обитания удмуртов свидетельствуют и удмуртские родовые предания. Ещё в прошлом веке многие группы удмуртов сохраняли память о своей принадлежности к одному из двух больших удмуртских территориально-земляческих объединений – *Ватка* или *Калмез* (сегодня названия этих объединений и память о границе между ними сохранились практически только у некоторых групп северных удмуртов, в частности – у проживающих в Унинском районе Кировской области, по мнению которых *ватка* живут в деревнях, расположенных по притокам р. Чепцы (прежде всего – в бассейне р. Косы), а *калмезы* – по притокам р. Кильмезь). Ватка в XIX веке населяли бассейн Чепцы и пришли туда, согласно их преданиям, с низовьев этой реки, со средней Вятки (на это указывает и само название объединения – ср. удм. *Vatka kam* “Вятка”, где *kam* – “большая река”). В легендах *калмезов* (возможно, этимологически связано с удм. *kilmez* “остаток” – версия С.К.Белых) сохранилась память о борьбе их богатырей с народом *Пор* (удм. *por* – “марийцы; чужой, враждебный народ”). Калмезы расселялись первоначально в бассейне реки Кильмезь, к XIX веку распространились достаточно широко: от среднего течения Чепцы на севере до южных (юго-западных) районов Удмуртии на юге. Судя по некоторым топонимам, именно у *калмезов* первоначально бытовал этноним *od(o)* в качестве самоназвания – возможно, благодаря расселению калмезов, отступавших под давлением марийцев с нижней Вятки, этот южный по происхождению (см. выше) этноним проник в конце первого – начале второго тысячелетия н.э. ко всем группам удмуртов и стал, в конце концов, самоназванием консолидирующейся народности.

В состав удмуртов помимо вятских южнопермских племён (археологически – создатели *худяковско-азелинских* и *еманаевско-кочергинских* памятников) вошли и другие пермские (протоудмуртские) группы – создатели постананьинских средневековых культур на севере (*поломская* и возникшая на её основе с участием вятско-кильмезских групп *чепецкая* культуры) и на юге (памятники *верхнеутчанско-чумойтинского* круга) Удмуртии.

В обособлении предков удмуртов от их северных родичей по языку, предков коми, важнейшую роль сыграли связи южнопермских (протоудмуртских) групп с тюрками. Контакты с булгарами и их прямыми языковыми потомками чувашами (см. раздел о марийцах) продолжались со времени появления их в Среднем Поволжье в VII-VIII вв. н.э. и как минимум до XIV века (в южноудмуртские диалекты попали названия *Москвы (Musko)* и *Казани (Kizon)* в огласовке, свидетельствующей скорее о чувашском, чем о татарском или русском источнике) и отразились в наличии около двух сотен “*булгарских*” (булгаро-чувашских) заимствований в удмуртском языке (в коми языки при этом проникло не более трёх десятков таких заимствований, что свидетельствует либо о том, что окончательный “распад” пермского праязыка произошёл уже в эпоху ранних булгарско-пермских контактов, либо

– что вероятнее – о том, что булгаризмы проникали в древнекоми диалекты через посредство древнеудмуртских, а уже в первые века II тыс. н.э. на севере пермского ареала доминирующим стало не тюркское, а древнерусское культурно-языковое влияние, что препятствовало усвоению тюркизмов с юга).

Контакты удмуртов с тюрками, говорящими на языках кипчакской группы, прежде всего – поволжскими татарами начались не позднее XIV века и продолжают до сих пор. Первоначально эти контакты происходили в двух центрах: на юге, в Приказанье, в районе города Арск (см. выше), относительно которого у завятских удмуртов (живущих на правом берегу нижней Вятки, в Кукморском и Балтасинском районах Татарстана и Мари-Турекском районе Марий Эл) сохранились предания, что там жил *udmurt eksej* “удмуртский царь”, что может свидетельствовать о былом пребывании части удмуртов в феодальной зависимости от татарских князей Арска, – и на севере, в нижнем и среднем течении реки Чепцы, где по крайней мере с начала XV века документами фиксируются *арские князья* – предки каринских или чепецких татар, у которых в зависимости до 1588 года находились местные удмурты. Возможно, проникновение тюркских феодалов из Арска вверх по Вятке на Чепцу имело место и еще в болгарскую эпоху – во всяком случае, в пользу этого свидетельствует находка в бассейне Чепцы, в селе Гордино Балезинского района Удмуртии камня с болгарской эпитафией 1323 года.

С удмуртско-тюркскими контактами на арско-чепецком пути, очевидно, связано и происхождение *бесермян* (удм. *bešerman*) – этнографической группы (в 1993 года официально признаны как самостоятельная национальность Верховным Советом Удмуртской Республики), живущей на севере и северо-западе Удмуртии. Диалект удмуртского языка, на котором говорят бесермяне, стоит особняком в системе современных удмуртских диалектов, сближаясь по разным признакам с северными (соседними), южными и периферийно-южными диалектами. Особенности материальной культуры бесермян (прежде всего – традиционный женский костюм) указывают на их чрезвычайно тесные связи в прошлом с чувашами. Поэтому, очевидно, не случайно в XVI-XVII веках предков бесермян, живших по р. Чепце, называли в русских документах *чуваша*. В то же время некоторые особенности духовной культуры бесермян (например – использование арабской формулы обращения к Аллаху в традиционных языческих бесермянских молитвах) могут свидетельствовать об их тесных контактах в прошлом с мусульманами или даже (что, впрочем, маловероятно) о былом исповедании их предками ислама. При этом важно, что несмотря на малочисленность и дисперсное расселение этой группы, они очень чётко отделяют себя (точнее – в известной степени дистанцируются) от окружающих народов – удмуртов и татар.

В слове *bešerman* следует видеть искажённое тюр. *\*busurman* / *\*būsürmen*, происходящее из перс. *mosālmān* < араб. *moslem(un)* “мусульманин” – ср., например, диалектные формы типа туркм. *musurman*, турец. *musurman*,

кумык., балкар. *busurman*, венг. (устаревшее, из тюркских) *böszörmény*, рус. (уст., из тюркских) *бусурман* “мусульманин”. Это слово попало к волжским булгарам из Средней Азии (ср. название *Besermi*, применяемое к жителям Хорезма у папского нунция бр. Иоанна де Пано Карпини в XIII веке) в период принятия ими ислама в IX веке и служило вплоть до XV века обозначением части населения Волжской Булгарии и Казанского ханства (*бесермены* русских источников XIV-XV веков), скорее всего – потомков булгар. Какая-то часть булгарских *бесермен* вошла в состав каринских (чепецких) татар, как об этом свидетельствуют исторические документы и данные татарских генеалогических преданий *шежере*. Их происхождение следует связывать с районами Закавказья (г. Арск), откуда бесермены в XIV-XVI веках, спасаясь от феодальной усобицы в Золотой Орде, набегов русских ушкуйников и князей и, наконец, вследствие разгрома Золотой Орды и – в том числе – территории бывшей Волжской Булгарии Тамерланом в конце XIII века, переселились вверх по Вятке, в низовья Чепцы.

Уже с 1511 года наряду с *арянами* (видимо – предки чепецких татар, выходящие из Арской земли) и (чуть позже) *вотяками* (удмурты) в качестве зависимого от арских князей населения окрестностей с. Карино на нижней Чепце упоминаются в русских документах *чуваши* или (с 1547 г.) *чуваши арские*; в XVII веке это название постепенно заменяется на *бесермяне* – речь идёт уже о предках современных бесермян.

Очевидно, ещё на территории Арской земли булгары-*бесермены* должны были иметь тесные контакты с южными группами удмуртов, древними жителями этих мест (см. выше). Не исключено, что какая-то часть южных удмуртов, находившаяся с *бесерменами* в особо тесном контакте, переняла у господствующей группы определённые черты материальной и духовной культуры (в том числе и какие-то элементы ислама) и этноним, начав называть себя *beserman*. Именно такая удмуртская группа могла быть известна под именем *чуваши арской* русских документов, относящихся как к Арской земле, так и к нижней Чепце (см. выше), и именно с ней можно связывать происхождение бесермян.

Если с юга удмурты имели тесные связи с тюрками, то на севере, на средней Вятке (район городов Вятка, Слободской, Никулицын) они довольно рано вошли в соприкосновение с русскими. Судя по археологическим данным, проникновение русских на территорию Вятской земли началось еще в домонгольское время. И русские, и удмуртские предания свидетельствуют о том, что города Вятской земли были основаны на месте удмуртских “городков”. По-видимому, уже с XIII века именно давление русских вынуждает удмуртов объединения *Ватка* уходить с Вятки вверх по Чепце на восток. Хотя в ранних русских источниках, относящихся к Вятке и более северным регионам (прежде всего Перми – см. раздел о коми), удмурты ни под каким именем специально не упоминаются (о первом упоминании см. выше), следует думать, что в составе многонационального населения Вятской земли – возникшего на Средней Вятке к концу XIII века независимого государства с вечевой формой

правления – северные удмурты присутствовали, тем более, что и сегодня удмурты проживают в ряде деревень Слободского, Унинского и соседних с ними районов Кировской области. С этого времени (XIII век) можно говорить о начале русского влияния на северных удмуртов, сопоставимого с тюркским (примерно с того же времени – уже собственно татарским) влиянием на южных удмуртов, что в конечном счёте привело к окончательному оформлению заметных различий в языке и культуре северных и южных удмуртов. Естественно, при этом нельзя забывать и о взаимодействии южных удмуртов с русскими (первые контакты с группами восточных славян, жившими на территории Волжской Булгарии, могли иметь место ещё в болгарское время), и о связях северных удмуртов с чепецкими татарами. Следует отметить, что вплоть до XVIII века реальных попыток христианизации удмуртов даже на севере, не предпринималось, подавляющее большинство их оставалось язычниками.

После покорения Москвой Вятки в 1489 году и после взятия русскими Казани в 1552 году все удмуртские земли были объединены в составе Московского государства. После 1552 года часть южных удмуртов (преимущественно – *заятских*, то есть живущих на правом, западном берегу Вятки), спасаясь от опасности насильственной христианизации, подобно марийцам (а вероятно – совместно с ними) переселилась на восток, в основном на земли северо-востока современной Башкирии. Так формируются группы *закамских удмуртов*, живущих сегодня на юге Пермской области, в Башкирии, в Бавлинском районе Татарстана и в Красноуфимском районе Екатеринбургской области, говоры которых вместе с говорами заятских удмуртов составляют *периферийно-южное* наречие удмуртского языка. Значительная часть этих удмуртов не была даже формально крещена, они придерживались язычества, и их культура и язык развивались под сильнейшим тюркским (татарским и башкирским) влиянием.

Массовое обращение удмуртов в христианство произошло лишь в XVIII веке, при этом, не коснувшись вовсе некоторых южных групп, оно имело формальный характер. Практически повсеместно сохранялось двоеверие. Вплоть до начала XX века (кое-где и до сих пор) большая часть удмуртов сохраняла память о своей принадлежности к территориально-родовым религиозным объединениям – *воршудам* (удм. *voršud*, вариант – *šud vordiš*, букв. “хранитель счастья”). Реакцией на усиливающееся социальное и национальное угнетение в середине XIX – начале XX веков стали неоднократные случаи перехода удмуртов в ислам, попытки возврата к реформированной языческой религии (секты “*липопоклонников*”, “*выленырсец*” – от удм. *viŕe piŕiŕiŕi* “вновь входящий”).

В конце XIX века удмурты приняли участие в миграции крестьянского населения России на Урал и в Сибирь, эти миграции продолжались и в XX веке. Сегодня имеются удмуртские деревни и целые кусты деревень на Урале, в Сибири и Северном Казахстане.



После революции 1917 года, в 1920 году была создана Удмуртская (первоначально – Вотская) автономная область, в 1934 году преобразованная в автономную республику (ныне – Удмуртская Республика). Численность удмуртов по переписи 1897 года была 421 тыс. человек, в 1926 году было зафиксировано 504,2 тыс. удмуртов и отдельно 10 тыс. бесермян (позже бесермяне отдельно не учитывались, по данным Удмуртского Института истории, языка и литературы Уральского отделения РАН в 1994 году их было около 4 тысяч), в 1959 году численность удмуртов была 624,8 тыс. человек, в 1989 году в России жило 714,8 тыс. удмуртов (всего в СССР – 747 тыс.), из них 506,1 тыс. человек считали удмуртский язык родным. Основными районами расселения удмуртов в 1989 году были: Удмуртская Республика (469,5 тыс. чел.), Пермская область (32,7 тыс.), Татарстан (24,8 тыс.), Башкирия (23,8 тыс.), Екатеринбургская область (23,6 тыс.), Кировская область (22,9 тыс.).

## Коми

Самоназвание всех групп – *komi mort*, букв. “человек, мужчина коми”.

По поводу *mort*, восходящего к индоиранскому корню см. разделы о мордве и удмуртах. Слово *komi* обычно возводят к прауральскому \**komz* “человек, мужчина” (ср. удм. *vižĭ-kumĭ* “родственники”, где *vižĭ* “корень”, манс. (С) *хит* “человек, мужчина”, венг. *hím* “самец”, сельк. (Газ) *qum* “человек, мужчина” и т.д.). Нельзя, впрочем, исключить и возможность альтернативной этимологии: ср. коми-зыр. *kom-tu* “район г. Чердыни, Верхнее Прикамье” (*tu* – “земля”) при удм. *kam* “большая река (в частности – Кама)”, ф. *kumi* “река, поток”, – в этом случае исконное значение *komi mort* могло бы быть “человек из Прикамья, с Верхней Камы”, что, в принципе, не противоречит имеющимся данным о возможных территориях первоначального расселения коми (см. ниже). Собственно говоря, и сегодня вычегодские и печорские коми-зыряне называют живущих на Верхней Каме коми-пермяков *kommusa* – от *kom-tu* “Верхнее Прикамье (букв. “земля *kom*)” с собирательным суффиксом *-sa*, широко используемым в коми этнонимии (см. ниже).

Коми формировались на основе северных пермских племён, создателей сложившейся на базе *ананьинской* культуры (см. выше) *гляденовской* общности, распространившейся в III веке до н.э. – IV веке н.э. на верхней Каме и верхней Вычегде, и вырастающих из неё археологических культур: *ломатовской* и сменяющей её в IX веке *родановской* в Верхнем Прикамье – и *ванвиздинской* и (с IX века) *вымской* в бассейне Вычегды. Разделение археологических культур, оставленных предками коми между бассейнами верхней Камы и Вычегды, согласуется с тем, что под общим самоназванием *коми* ныне существуют два народа: *коми-зыряне*, живущие в основном на территории Республики Коми (изначально – бассейн Вычегды), и *коми-пермяки*, живущие

в основном на территории Коми-Пермяцкого национального округа в Пермской области (Верхнее Прикамье).

По-видимому, впервые на страницы письменных источников коми попадают под вторым из этих имён: в русских летописях при описании событий X века уже встречается топоним *Перемь / Пермь*. Первоначально территория, обозначаемая этим словом, локализовалась, видимо, где-то в районе Белого моря: ещё в XIV веке какая-то область на западном берегу Белого моря называлась в новгородских документах *Колоперемь / Голопърьмь*. Такая первоначальная локализация Перми может рассматриваться как дополнительный аргумент в пользу старой гипотезы о связи этого названия с *Vjarmaland* скандинавских саг (см. выше раздел о карелах) и о возведении обоих слов к прибалтийско-финскому \**perä-maa*, букв. “задняя земля”. Естественно, поскольку по данным топонимики, археологии и исторических источников ни коми, ни какие-либо пермяне вообще никогда не жили западнее рек Юга, Пинеги и Северной Двины в её верхнем течении, население беломорской “Перми”, равно как и Биармии (см. разделы о вепсах и карелах), следует считать прибалтийско-финским – очевидно, именно из языка этих периферийных прибалтийско-финских групп проникали в коми-зырянские диалекты (в особенности – в западные, прежде всего – в удорский) имеющиеся там прибалтийско-финские заимствования.

Влияние на предков коми сложившегося к началу X века на Средней Волге государства *волжских булгар* не было столь значительным, как на их южных родичей по языку, удмуртов (см.), на сегодняшний день в коми языках обнаружено не более трёх десятков булгарских (древнечувашских) заимствований. Влияние сменившего булгарский язык в Среднем Поволжье в XIV-XV веках татарского языка коми диалектов непосредственно, по-видимому, не коснулось. Это связано не только с отдалённостью земель коми от поволжских центров, но и – в большей степени – с тем, что уже с XI-XII веков начинаются контакты предков коми с восточными славянами, в первую очередь с новгородцами, и древнерусский, а затем и русский язык начинают играть на севере пермского ареала ту роль, которую играли тюркские языки на юге. Очевидно, с доминированием различных в языковом, этнокультурном, политическом и конфессиональном отношении внешних воздействий связано окончательное обособление северно-пермских (докоми) диалектов от южнопермских (доудмуртских).

Видимо, уже в XII веке группы коми, обитавшие по Югу, Северной Двине, Пинеге, Выми, средней и нижней Вычегде (*Пермь Вычегодская*), Лузе (*Лузская Пермца*), находились в зависимости от Новгорода, а по крайней мере с 1178 года (основание Всеволодом Большое Гнездо крепости Гледень возле нынешнего г. Устюга Великого) попадают под власть владимирских князей. В XIV веке эти земли перешли под руку князей московских. Следует полагать, что со стремлением Москвы окончательно закрепиться на северо-востоке была связана миссионерская деятельность Св. Стефана Пермского (приехал из Великого Устюга в Пырос, ныне – г. Котлас в 1379 году, умер в 1396 г.),

крестившего коми, живших по Вычегде, Сыsole и Выми. Особой заслугой Св. Стефана Пермского является создание коми азбуки и работа по переводу богослужебных книг и созданию соответствующей терминологии для коми языка, благодаря чему мы располагаем сегодня письменными памятниками коми языка XV-XVII веков (*древнепермский язык*).

Обращение в лоно православной церкви, образование Усть-Вымской епархии (в конце XVI века упразднена, а её территория подчинена Вологодской епархии – возможно, с этим актом связано прекращение письменной древнепермской традиции и забвение стефановской азбуки), создание письма и культового языка способствовали консолидации коми народа и его органичному вращанию в экономическую, социально-политическую и духовную жизнь складывающегося Российского государства.

В житии Св. Стефана, написанном сразу после его смерти священником Елифанием Премудрым, содержится первое упоминание этнонима *зыряне* – в форме *сырьяне* (искажённое *сырияне*), среди прочих групп населения Пермской земли (это понятие здесь включало в себя земли по Вычегде, Вятке и верхней Каме). Наиболее вероятной гипотезой относительно происхождения этого названия представляется высказанная более ста лет назад акад. А. Шёгренем и подкреплённая новыми аргументами в 1980-е годы А.К.Матвеевым, согласно которой оно восходит к прибалтийско-финской основе *\*sürjä* со значением “край, сторона”. Развитие *\*sürjä* > *сырьяне* > *зыряне* иллюстрируется переходными формами типа вепс. *siř* – “рядом, около, с краю (основа послелого и наречия)” – возможно, непосредственным источником русского слова был вепсский язык – и рус. (арханг.) *зырь* “шалун, бездельник, хулиган” – чистая основа без суффикса *-ян(ин)*, а также – формой с начальным *\*s-* (а не *z-*) в житии Св. Стефана Пермского (см. выше). Гораздо менее обоснованной и, мягко говоря, странной как с историко-географической, так и с лингвистической точки зрения, выглядит отстаиваемая К.Реден гипотеза о происхождении рус. *зыряне* от обско-угорского *\*sērān* “коми” (манс. (С) *saran*, (Пел.) *sārən*, хант. (Каз.) *sāran*, (Вас.) *sērān*), которое он, в свою очередь, возводит к среднеиранскому *\*zray-ān* “морской, приморский (житель)”. Скорее всего, обско-угорские названия коми заимствованы из русского.

Христианизация коми продолжалась параллельно с закреплением власти Москвы на их землях при преемниках Св. Стефана Пермского. Так, епископ Иона в 1462 году крестил *Великую Пермь* – предков нынешних коми-пермяков. В 1472 году русский князь Фёдор Пётрый захватил Чердынь и другие верхнекамские городки, и созданное им Пермское княжество, в числе верхушки которого имелись не только русские, но и (если не в основном) коми-пермяцкие “бояре”, находилось в вассальной зависимости от московского царя до 1505 г., когда сепаратистские попытки пермских князей были пресечены московским войском, и территория Перми Великой перешла под управление назначаемого из Москвы воеводы.

Таким образом, видимо, к концу XV – началу XVI века подавляющее большинство коми было крещено и прочно включено в состав Российского государства. Это, безусловно, отразилось на традиционной духовной культуре коми, для которой характерно существование своеобразной и очень устойчивой народно-христианской традиции, весьма близкой севернорусской, а также – на традиционной материальной культуре, начиная с жилища и поселения и кончая декоративно-прикладным искусством, и в языке, изобилующем разновременными русскими заимствованиями. В XVII веке коми, как и всё население Русского Севера, оказались вовлечены в церковный раскол, и с этого времени среди них распространено старообрядчество (среди удорцев и на Печоре, в основном – *поморское согласие*).

Одновременно с установлением московской власти на коми землях в течение XII-XVI веков происходили изменения в расселении коми: постепенно ассимилировались русскими западные группы, жившие по рр. Югу и Северной Двине. С другой стороны, происходило расселение коми на север (по рр. Вашке, Мезени, Пинеге – последние довольно быстро обрусели), позднее (XVI-XVIII века) – на восток (вверх по Вычегде) и северо-восток (на Ижму и верхнюю Печору). Так к XVI веку складывается большинство сегодняшних территориальных групп коми-зырян: удорцы на Вашке и Верхней Мезени (коми *udorasa*), вымцы (коми *jemyatas*) на Выми, нижневычегодцы (*ežvatas*), сысолочи (*siktĩlsa*) по Сыsole, лузцы на Лузе и Летке (*luzsajas*), позднее – в XVII-XVIII веках формируются северо-западные группы: верхнепечорцы (*pečerasa*) на Верхней Печоре и ижемцы (*ižvatas*) на Ижме. Коми самоназвания этих групп происходят от названий соответствующих рек и собирательных суффиксов *-tas*, *-sa*. Граница между зырянами и пермяками в этот период ещё не совпадала с нынешней, и сами эти названия служили ещё не в качестве этнонимов, а скорее для обозначения территориальных групп: *пермяками* назывались коми, жившие на Верхней Каме (территория *Перми Великой*) или соседних (южных для коми) территориях, или относительно поздние выходцы с тех земель. Так, например, летские коми, говорящие на лузско-летском коми-зырянском диалекте, местами практически по сей день называют себя *пермяками*, а лузские коми называли себя так ещё в XIX веке.

Можно предположить, что примерно к XVI же веку сложились и две обособленные группы коми-пермяков: *зюздинцы*, живущие на Верхней Каме в Афанасьевском районе Кировской области (несколько тысяч человек), говорящие на *верхнекамском* диалекте коми-пермяцкого языка и сегодня в значительной мере обрусевшие, и *язьвинцы*, живущие отдельно от основного коми массива по р. Язьве в Красновишерском районе на северо-востоке Пермской области (не более 4000 человек), куда они переселились, как можно полагать судя по первой фиксации населённых пунктов на р. Язьве, во второй половине XVI века. Коми-язьвинцы говорят на совершенно особом диалекте (в немецкоязычной литературе известном также как “*восточно-пермяцкий*”, *ost-permische*), сохранившем, в частности, старые особенности вокализма,

который, хотя и считается коми-пермяцким, на самом деле может быть противопоставлен всем остальным коми диалектам. По вероисповеданию *зырянцы* являются старообрядцами.

Уже с XV века коми выступают вместе с русскими в борьбе против военных походов манси на Пермь Великую и Вычегду (см. раздел о манси), а с XVI века коми становятся активными участниками русской миграции на восток – на Урал и в Сибирь. По данным переписей в XVII веке до трети мужского населения из отдельных коми регионов (в особенности – с Выми) уходило в Сибирь. В Сибирских летописях сообщается, например, что проводниками Ермака во время его сибирских походов были *зыряне*, судя по русским документам, эта функция сохранялась за ними и в дальнейшем. Значительное число сибирских топонимов, образованных от основы *зырян-* и от коми формантов (типа *Обдорск* – ср. коми *dor* “край, берег”) возникли именно в этот период. Видимо, уже с XVI-XVII веков, в связи с экспансией коми в Сибирь начинается проникновение многочисленных заимствований из коми языка в обско-угорские, каковых сегодня выявлено более трёх сотен в хантыйском и столько же в мансийском языке, и которые отражают многочисленные реалии восточноевропейской материальной и духовной культуры, принесённые коми в Сибирь. Непосредственные контакты хантов и манси с сибирскими коми продолжают до сих пор.

По-видимому, ещё в середине – второй половине XVII века северные группы коми, проникшие на р. Ижму, заимствовали у европейских (большеземельских) ненцев оленеводство, что в конечном счёте привело в XIX веку к сложению у коми-ижемцев крупнотабунного оленеводства и (при том, что пастухами нередко были ненцы) специфической “смешанной” коми-ненецкой культуры и широкому расселению их по Большеземельской тундре, проникновению на север Западной Сибири и даже на Кольский полуостров (с 1887 г.).

По переписи 1897 г. в России проживало 153 тыс. коми-зырян (из них вне исторической территории коми – около 24 тыс.) и 98 тыс. коми-пермяков (в основном в Верхем Прикамье). После 1917 года коми народ получил автономию: в 1921 году была создана автономная область Коми (зырян), преобразованная в 1936 г. в автономную республику (ныне – Республика Коми), стремление коми-пермяков объединиться в одном национально-государственном образовании с коми-зырянами осталось нереализованным, для них в 1925 году был создан Коми-пермяцкий национальный округ в составе Пермской области.

В 1926 году в СССР было зарегистрировано 226 тыс. коми-зырян и 134 тыс. коми-пермяков, в 1959 – 287 тыс. коми-зырян (из них 245 тыс. – на территории Республики Коми) и 144 тыс. коми-пермяков (из них 127 тыс. – на территории национального округа), в 1979 году соответствующие цифры составили 327 тыс. (281 тыс.) и 151 тыс. (106 тыс.). По переписи 1989 года на территории России проживало 336,3 тыс. коми-зырян (из них – 291 тыс. в Республике Коми, что составляло около четверти населения республики), из которых 238,8 тыс.

считали родным коми-зырянский язык, – и 147,2 тыс. коми-пермяков (95 тыс. на территории национального округа – около 63% населения округа), из которых родным коми-пермяцкий язык считали 104,7 тыс. человек.

## Угорские народы

*Венгерский, мансийский и хантыйский языки образуют в рамках финно-угорской группы уральской семьи особую подгруппу, называемую угорской* (нем. *ugrische* и т.д.), и восходят к *угорскому* праязыку. Название *угры* дано этим народам по старому внешнему венгров в славянских языках (др.-рус. *Угре* и т.д., этимологию см. в разделе о венграх), использование этого слова для именованя всех угорских народов стало возможным ещё и потому, что оно внешне сходно с др.-рус. *Югра*, применявшимся по отношению к хантам и манси, хотя на самом деле эти два слова никак между собой не связаны (об истонном значении этого слова, проблеме идентификации *Югры* и возможной этимологии см. раздел о манси).

Хантов и манси, говоря о них отдельно от венгров, принято называть *обскими уграми*. Обско-угорские языки (речь при этом идёт не просто о двух, мансийском и хантыйском языках, а о сложной системе мансийских и хантыйских диалектов) близки друг к другу, но эта близость объясняется большей частью ареально-генетическими и ареальными связями их, поэтому постулировать существование в прошлом особого “*обско-угорского праязыка*” нет оснований, – тем более, что некоторые весьма показательные параллели объединяют мансийские диалекты с венгерским языком, не задевая хантыйских. Обские угры, таким образом, образуют в большей мере историко-культурную общность, благодаря единому или близкому хозяйственно-культурному укладу (таёжные охотники, рыболовы, на севере ареала – оленеводы), чрезвычайной близости духовной культуры, сходству антропологических типов хантов и манси и отличию их по всем этим показателям от венгров, история которых по крайней мере на протяжении последних двух с половиной тысяч лет протекала совсем в других условиях и в другом этническом окружении, в отрыве от обских угров (см.).

Выделение угорского праязыка из *прафинно-угорского* имело место, как принято считать, примерно в конце III тыс. до н.э.. Этот период (конец *атлантикума* – начало *суббореала* по климатологической шкале) для Западной Сибири был, во-первых, временем максимального расцвета лесов (западносибирской тайги со значительным участием позднее исчезнувших в Сибири широколиственных пород на юге), а во-вторых – временем повышенной увлажнённости, на которое приходится максимум торфообразования западносибирских болот. С другой стороны, в историческом плане уже в это время и особенно – чуть позже, с первой половины II тыс. до н.э.

на юге Западной Сибири, в степной и лесостепной зоне появляются археологические культуры, носители которых (по-видимому, говорившие на индоевропейских, точнее – индоиранских, возможно также – на тохарских языках) были знакомы со скотоводством и металлом (*афанасьевская*, *абашевская*, затем – *петровская* и культуры *андроновской* общности). Благоприятные природные условия на южной границе западносибирских лесов, продуктивные в культурно-хозяйственном плане контакты с южными соседями должны были привести к обособлению финно-угорского населения южнолесной зоны от своих северных соплеменников, а заболачивание Западно-Сибирской равнины, влекущее за собой катастрофическое сокращение продуктивности таёжных биогеоценозов и, соответственно, отток населения из центральных областей Западной Сибири, ещё более способствовало разрыву связей между крайне южными (доугорскими) и крайне западными (дофинно-пермскими) группами финно-угров.

Едва ли имеет смысл пытаться связать праугорскую общность с какой-либо археологической культурой, тем более, что археологическая карта позднего неолита юга Западной Сибири и Зауралья (*аятско-коптяковский* этап) весьма пёстрая, но нельзя не отметить, что в эту эпоху в Южном Зауралье и на юго-западе Западной Сибири наблюдается любопытное развитие орнаментации керамики: на фоне старой местной неолитической гребенчатой орнаментики, близкой к Волго-Камской, всё более заметным становится влияние геометрических традиций явно южного, степного происхождения. Влияние южных культур на лесные постепенно нарастает. В середине – второй половине II тыс. до н.э. в полосе южных лесов и лесостепей южного Зауралья и Прииртышья складываются *андроноидные* культуры (*черкаскульская* (*черкаскульско-межовская*), *сузгунская* и др.), названные так потому, что они представляли собой по сути северную периферию степной *андроновской* культурно-исторической общности и сложились под непосредственным влиянием *фёдоровской* культуры – одного из основных андроновских вариантов. Видимо, именно с андроидами культурами юго-запада Западной Сибири и Южного Зауралья и следует связывать сложение собственно угорского компонента – носителей самоназвания \**mańc* / \**tāńc* (см. разделы о венграх и манси), давшего затем начало протовенгерской общности и вошедшего в состав обских угров.

Носители угорского праязыка, судя по реконструируемой праугорской лексике, должны были быть знакомы с коневодством и разведением крупного рогатого скота, с металлургией. Судя по данным археологии, уже в начале II тыс. до н.э. населению южнотаёжной полосы Зауралья и Западной Сибири были известны металлы и скотоводство. Во второй половине II тыс. до н.э. у носителей *андроноидных* культур уже сложилось прогрессивное комплексное хозяйство со сбалансированной долей присваивающих и производящих отраслей, позволявшее им гибко реагировать на изменения экологической и социальной обстановки. При этом их раннее скотоводство базировалось в

условиях засушливого климата на заливных лугах в широких поймах рек, на так называемых “остепнённых” участках южнолесной и лесостепной зоны. В конце II и на рубеже II – I тыс. до н.э., в последней трети суббореала, происходит существенное увлажнение климата, приведшее, в частности, к затоплению пойменных земель, вызвавшему кризис хозяйства южнотаёжных и лесостепных групп, и одновременному росту травостоя в степях. Носители андронидных культур в культурно-хозяйственном отношении были к этому времени уже готовы к переходу к образу жизни степных скотоводов, что и осуществила часть праугорских групп. Археологическим аналогом выделения из праугров-*\*taińc* степной группировки является, видимо, сложение в VI веке до н.э. *саргатской* (*саргатско-гороховской*) археологической общности, распространившейся от Барабинской низменности до предгорий Урала, создатели которой были степными коневодами с заметной тенденцией к кочевому образу жизни, в них можно видеть протовенгров (см. далее в разделе о венграх).

Судьбы другой части праугров-*\*taińc*, вероятно – той, что обитала севернее, сложились иначе. Преодолеть возникший экологический кризис (см. выше) путём ухода в степь они не смогли и вынуждены были приспособить своё комплексное хозяйство к таёжным условиям, что, естественно, было сопряжено с сокращением в нём доли скотоводства. “Возвращению” северных праугров-*\*taińc* в тайгу способствовало и другое обстоятельство: видимо, под влиянием всё тех же климатических сдвигов в конце II – начале I тыс. до н.э. в лесной зоне Зауралья и Приобья происходит экспансия на юг носителей керамики с “крестовой орнаментацией” (истоки, видимо, – *атлымская* культура Нижнего Приобья), в результате чего в Зауралье складывается *гамаюнская*, а несколько позже на Нижнем Иртыше и Средней Оби – *молчановская* культуры. Однако сложившаяся в Зауралье в VI веке до н.э. *иткульская* культура вновь демонстрирует преемственность с черкаскульско-межовскими традициями. Таким образом, с первой половины I тыс. до н.э. в южно- и среднетаёжной зоне Зауралья и Западной Сибири (низовья Тобола, Иртыша, бассейны Туры, Тавды, Демьянки) происходило смешение части праугров-*\*taińc* и северного населения, аборигенов западносибирской тайги (скорее всего, уральцев по языку, возможно – “*параугров*”) и закладываются основы собственно обско-угорской этнической истории. Именно юго-запад лесной зоны Западной Сибири, Южное и Среднее Зауралье (от Демьянки и Нижнего Иртыша на востоке до Среднего Урала на западе) были “прародиной” обских угров. Помимо языка и этнонима, сохранившегося в виде самоназвания манси и названия хантыйской фратрии (см. разделы о манси и хантах), праугры-*\*taińc* передали обским уграм и некоторые особенности культуры, свидетельствующие о былом знакомстве их предков с коневодством и степной культурой (особая роль коня в религиозно-мифологической традиции, распашная одежда, поясной колчан и т.п.), что позволяло исследователям говорить о двухкомпонентом (северный,



аборигенно-таёжный и южный, коневодческий компоненты) происхождении обско-угорской культуры.

## Венгры

Самоназвание венгров – *magyar* принято рассматривать вместе со старым названием венгерского племени *megyer* (представляет собою то же слово с переднеязычной огласовкой), сохранившимся в венгерских топонимах с основой на *-megyer* и в некоторых ранних упоминаниях о венграх (прежде всего – в сочинении византийского императора Константина Порфирогенета, сер. X века: *Μεγερη*), как двухкомпонентное слово *magy-ar* / *megy-er* < \**maǰ-ar* / \**meǰ-er*. Наличие вариантов с передним и задним вокализмом принято объяснять как результат собственно венгерского развития: в венгерском языке существуют такие пары, где слово с заднерядным вокализмом, как правило, служит для обозначения предмета большего по размеру, объёму, значимости (например: *döböz* “коробочка” – *doboz* “коробка, шкатулка”); возникновение таких вариантов возможно особенно в заимствованиях и дестимологизированных сложных словах (к последним, видимо, относится и *magyar* / *megyer* – см. ниже), первоначальная форма которых не удовлетворяет требованию гармонии гласных, см., например: венг. *család* “семья” и *cseléd* “слуга, батрак” из славянского \**čeladī* “челядь, домашние, слуги”. Древневенгерская форма с аффрикатой *-ǰ-* отражена в первых упоминаниях данного этнонима в трудах арабоязычных географов, начиная уже с X века (например *(al-)maǰyar* (*īya*) у Ибн Русте, до 903 г.), восходящих, как принято считать, к недошедшему до нас сочинению бухарского визиря Аль-Джайхани “Книга путей и царств” (конец IX века).

Первый компонент рассматриваемого этнонима трудно отделить от самоназвания манси (см ниже): (Т.) *māñcī*, (Пел.) *māñś*, (С) *mañsi* и названия хантыйской фратрии *Мось*: хант. (Вах) *māñt*, (Кон.) *moñt*, (С) *mōś*. Повидимому, мы имеем дело в данном случае со старым угорским этнонимом, употреблявшимся в форме \**mañcz* / \**māñcz* в качестве самоназвания какой-то ещё праугорской группы, образовавшей в составе хантов фратрию, а в состав манси и венгров вошедшей как основной компонент, передавший им своё самоназвание. Относительно более глубокой этимологии праугорского \**mañcz* / \**māñcz* существуют две гипотезы, каждая из которых встречается с определёнными трудностями как чисто лингвистического, так и исторического порядка. Сторонники первой (Б.Мункачи, К.Реден и др.) считают ПУг. \**mañcz* (в этом случае – именно в заднеязычной огласовке, в тавдинском диалекте мансийского языка предполагается вторичный сдвиг вокализма) праиранским заимствованием: ср. др.-инд. *manuṣa-* “человек”, авест. *Manuš.ciθra*

“происходящий от перворождённого”. При заимствовании праиранского \**maniša* “человек” в праугорский предполагается выпадение \*-и- и замена невозможного в праугорском сочетании \*-лǵ- на \*-ńć-. Согласно второй версии (П.Вереш), ПУг. \**mańć / \*māńć* следует выводить из древнего уральского (возможно – ещё ностратического) корня \**man-* “говорить, сказать” (ср. венг. *mondani* “сказать”, прасамодийское \**man-* “говорить, сказать”, юкагирское *mon-* “тж” и т.д.) – с суффиксацией на \*-ćз, той же, что и в ПУг. \**mańć* “предание, сказка, загадка; рассказывать” (хант. (Вах) *mańć*, (Дем.) *mońć*, (С) *mǵś*, венг. *mese*); исконное значение ПУг. (\**māńć / \*mańć* при этом предлагается реконструировать как “говорящий (понятно, на понятном языке)”.

Происхождение второго компонента самоназвания венгров, \**er / \*ar* также может иметь два объяснения: многие исследователи связывают его с финно-угорским корнем \**irkā* “человек, мужчина (его видят в качестве второго компонента также в венгерских словах *férj* “мужчина” и *ember* “человек” ). С другой стороны, однако, поскольку, во-первых, в родственных *magyar* обско-угорских этнонимах, восходящих также к общеугорскому времени, нет никаких следов ПФУ \**irkā*, и, во-вторых, этнонимы с концовкой на *-ar* были чрезвычайно широко распространены у тюркских народов, с которыми венгры теснейшим образом контактировали в эпоху, непосредственно предшествовавшую “завоеванию родины” (см. ниже): ср. *bulgar, suvar, hazar* и др., что может указывать на существование некоей этнонимической модели, представляется более разумным рассматривать *magyar* в комплексе с приведёнными тюркскими этнонимами.

Внешнее название венгров, нем. (мн.ч.) *Hungarn* и др. восходит к средневековой книжной латинской форме *Hungari*, которая является заимствованием из славянского \**ogŭr-* (др.-рус. (мн.ч.) *Угре* ). Начальное *h-* появилось в латинизированной форме в силу книжной традиции. Слав. \**ogŭr-* отражает название тюркского (видимо – болгарского) племени (союза племён) *onogur* < булг. \**on-ogur* “десять *огур*(ских племён)”, зафиксированного письменными источниками в приазовских степях в V-VI веках н.э. (сочинение византийского ритора Приска, “Гетика” Иордана – у последнего форма *Hunuguri* также с протетическим *h-*). По-видимому, древние венгры находились в тесных отношениях с *оногурами*, вследствие чего название последних было перенесено на них славянами. Русское *венгр* также восходит к ПСлав. \**ogŭr-*, но через посредство польского языка (*węgiel*), откуда это слово было вторично заимствовано в русский.

Как было указано выше, на страницы письменных источников венгры попали только в конце IX – в X веке н.э., когда о них как об одном из кочевых народов причерноморских степей упоминают арабские географы и византийский император Константин. В начальной русской летописи сохранился рассказ о проходе чёрных угров мимо Киева ок. 896 г. во время их

движения из Днепро-Донских степей к Карпатам. По-видимому, до IX века древние венгры не представляли собой самостоятельного независимого объединения, а входили в союзы, где доминирующей силой были тюркские (булгарские) племена (например, Константин Порфиrogenет называет венгров исключительно “*турками*” – *Tourkoi*). Таким объединением, прежде всего, была существовавшая в Нижнем Подонье и Приазовье во второй половине VI – первой половине VII вв. *Великая Булгария* – независимое государственное образование, возглавляемое булгарами, возникшее на западной периферии Тюркского каганата. В этом регионе, очевидно, обитало множество разноязыких племён (аланы, булгары, хазары, угры, славяне и др.), оставивших несколько локальных археологических комплексов, объединяемых исследователями в *салтово-маяцкую* культуру.

Великая Булгария во второй половине VII в. попала в зависимость от Хазарского каганата, что приводит к миграции части булгар во главе с ханом Аспарухом на Дунай, где, после подчинения местного славянского населения, в 681 году было образовано государство *Дунайская Булгария* – процесс, который практически был повторён венграми через 200 лет. Вследствие военных поражений, которые хазары потерпели от арабов в 30-е гг. VIII века, а позже – от живших восточнее тюрков-гузов, и общей нестабильности политической обстановки в каганате в VIII-IX вв. остатки булгар переселяются в это время вверх по Волге на север, где основывают государство *Волжскую Булгарию*. Очевидно, в это же время и вследствие тех же причин где-то в приазовских степях обособляется и выходит из-под хазарской власти племенной союз, возглавляемый угорским племенем *magyar / megyer*, в который, впрочем, безусловно входили и тюркские группы (см. ниже). Согласно сообщениям средневековых венгерских псевдоисторических сочинений (“*Gesta Hungarorum*”), в которых помимо вымысла их безвестных авторов содержится, надо полагать, и реальная информация, в момент обретения древними венграми “независимости” в начале IX века они обитали в стране *Levedia*, которую современные исследователи локализуют, как правило, в нижнем Подонье.

Хазары, пытаясь вернуть себе власть над венграми, использовали против них третью силу – разгромленных в волго-уральских степях всё теми же *гузами* тюрков-печенегов. В 889 г. печенеги вынудили венгров уйти из *Леведии* и переселиться в страну, называемую в средневековых венгерских сочинениях *Atelkuza* (современная “исправленная” венгерская форма – *Etelköz*; очевидно – от тюрк. \**etil*, чув. (булгарская огласовка) *aDäl* “Волга; большая река” и венг. *köz* “между”, – букв. “Междуречье”), которую принято локализовать в степях нижнего Поднепровья. Уже в это время венгры становятся активной военно-политической силой в Европе, участвуя в войнах на территории Балканского п-ва и в Моравии. В 895 году венгерское войско потерпело поражение от болгарского царя Симеона, чем не преминули воспользоваться всё те же печенеги, напавшие на оставшиеся практически беззащитными венгерские кочевья. Венграм не оставалось ничего другого, как покинуть

Ателькузу и, пройдя мимо Киева (см. выше), под предводительством вождей *Курсана* ( *Kurszán*), имевшего титул *kende* (видимо - титул старшего из двух вождей), и *Арпада* ( *Arpád*), именовавшегося *gyula*, в 896 году перевалить Карпаты и занять территорию Паннонии и Трансильвании, где, после разгрома франками аваров, жили разрозненные славянские племена, в большинстве своём покорившиеся новым пришельцам с востока. Так свершилось “завоевание” или “обретение” родины венграми (венг. *honfoglalás*). Среди известных нам семи племён, входивших в венгерский племенной союз (в современной венгерской орфографии: *Megyer, Nyek, Kúrt-Gyarmat, Tarján, Jenő, Kér, Keszi*), лишь два ( *Megyer* и *Nyek* ) имели названия, имеющие угорскую этимологию, остальные пять названий, скорее всего – тюркские (см. ниже), что ещё раз косвенно свидетельствует о значительной доле тюрков в составе союза.

Предыстория венгров до VIII века уже не освещена письменными источниками, а то обстоятельство, что они находились в теснейшем контакте с тюркоязычным (а в более раннюю эпоху, судя по наличию заимствований в венгерском языке, – с ираноязычным) населением евразийских степей, ограничивает возможности использования археологического и палеоантропологического материала в исторических реконструкциях. Согласно сочинению “*Gesta Hungarorum*” истоки венгров связывались со страной *Ungaria Maior* / *Ungaria Magna* (“*Большая Венгрия*”), находившейся далее на восток, чем более поздние прародины венгров – *Levedia* и *Etelköz*. С другой стороны, в работах арабских и персидских географов и путешественников начиная уже с X века названия *мадьяр* (*maǰyar* у Ибн Русте – см. выше) и *башкир* ( *bašyrd* / *bašqrd* у Ибн Фадлана около 922 г.) употребляются для обозначения одного и того же народа: у Масуди (ок. 943 г.) и *bašyrd* и *maǰyr* означает венгров, у Аль-Балхи (ок. 943 г.) *bašžrd* / *bašžrt* означает и венгров и башкир, равно как и у Ибн Якута (нач. XIII века) – *bašyrd* / *bašyard*, и т.д.. Эти два обстоятельства привели к тому, что уже в средние века “*Большая Венгрия*” стала связываться в литературе со страной башкир – впервые, видимо, у бр. Иоанна де Плано Карпини (сер. XIII века): “*Bascart* или *Hungaria Magna*”. На самом деле самоназвания венгров, *magyar*, и башкир, *baškort*, не имеют между собой ничего общего (об этимологии *magyar* см. выше, *baškort*, вероятнее всего, восходит к тю. \**baš* “голова” и тю. (огузское) \**kurt* “волк” > \**baskurt* – букв. “главный волк, волк-вожак”, – видимо, личное имя предводителя племенного союза), а смешение этих этнонимов в арабской и персидской литературе имеет объяснение в фонетике тюркских языков-посредников и особенностях арабской графики. Кроме того, сложение традиции о *Hungaria Magna* в Поволжско-Приуральском регионе следует связывать с тенденцией средневековых учёных искать прародину всех народов, в особенности – тех, о которых известно, что они относительно поздно появились в Европе, как, например, венгры, – на Востоке. Данная тенденция нашла своё подкрепление в реальном

наличии в Среднем Поволжье *Великой Булгарии*, соответствующей *Дунайской Булгарии*.

Следует отметить, что имеется целый пласт племенных названий у башкир, которые, без сомнения, имеют общее происхождение с племенными названиями венгров (точнее – с названиями племён того, очевидно, разноязычного союза, возглавлявшегося Арпадом, который в конце IX века “завоевал родину” венгров в Паннонии), при этом большинство из этих названий имеют тюркское происхождение: башк. *jurmaty* – венг. *gyarmat* (< ? тю. \**jor-maty* “неутомимый” ), башк. *jānāj* – венг. *jenő*, башк. *julaman* – венг. *gyula* (< ? тю. \**jula* “свет”), башк. *kese* – венг. *keszi* (< ? тю. \**kesej* “остатки”). Учитывая то обстоятельство, что ни в культуре, ни в антропологическом типе, ни в языке башкир нет никаких реальных следов венгерского (или угорского) влияния, а значимость тюркского компонента в генезисе венгерского языка и народа не подлежит сомнению, эти данные могут быть интерпретированы как свидетельства участия в сложении башкир и венгров одних и тех же, преимущественно тюркских, родоплеменных групп, что вполне естественно: оба этих народа формировались как союзы кочевых племён примерно в одно и то же время (во второй половине II тыс. н.э.) на близких территориях (венгры – между Волгой и Днпром, башкиры – между Приаральем и Уралом).

Таким образом, проблема “Великой Венгрии” являет собой скорее предмет историографического и текстологического исследования и должна рассматриваться отдельно от проблемы прародины венгров и былого присутствия протовенгерских групп в Приуралье и Поволжье. Реального внимания заслуживает сообщение венгерского путешественника бр. Юлиана о том, что в 20-е годы XIII века он во время своего путешествия в Волжскую Булгарию (предпринятого специально для поиска “оставшихся” на востоке венгров) встретил в одном из городов на правом берегу Средней Волги язычников, говоривших по-венгерски. Оно находит отклик в материалах русских документов XV-XVI веков, касающихся районов правобережья Средней Волги и Приказанья, в которых упоминается этноним *мочары / можсары* – рядом с мордвой, черемисами, башкирами, бесермянами. Данный этноним, как будто, невыводим из самоназвания татар - мишарей *mīšār* и из названия летописной *Мещеры*, но может рассматриваться как отражение правенгерского \**mažar* (см. выше) и является, таким образом, свидетельством о пребывании на данной территории если не прямых потомков Юлиановых “венгров”, то, по крайней мере, людей, ещё сохранявших древнее венгерское самоназвание.

Эти факты согласуются с данными археологии, свидетельствующими о специфических параллелях в погребальном обряде и металлическом инвентаре древневенгерских памятников эпохи завоевания родины и памятников *кушнареньковской* археологической культуры VI – первой половины IX веков н.э., распространённой в бассейне р. Белой, верховьях р. Урал и нижнем Прикамье. Своим происхождением эти памятники связаны,

по-видимому, с лесостепной зоной юга и юго-запада Западной Сибири (*саргатская* археологическая культура, VI век до н.э. - первые века н.э.), где, по всей вероятности, находилась прародина угров, и где в конце II – в первой половине I тыс. до н.э. могло произойти выделение протovenгров из праугорской общности (см. введение об угорских народах). Данные археологии позволяют как будто рассматривать территорию кушнаренковской археологической культуры как район обитания угроязычных предков венгров на пути с угорской прародины к *Levedia* (Подонье) и *Etelköz* (междуречье Днепра и Днестра), хотя это – не единственно возможная интерпретация: основной путь протovenгров на запад мог пролегать и южнее. Юлиановы венгры и *мочары* / *можары* русских источников (см. выше) могут, таким образом, считаться остатками протovenгерских племён, обитавших на территории Нижнего Прикамья и Предуралья в VI-IX веках н.э..

После “завоевания родины” и непродолжительного (конец IX – середина X века), но бурного периода военных походов, когда венгерские отряды наводили страх на жителей Европы от Франции до Константинополя, венгры осели на закрепившейся за ними территории Паннонии и Трансильвании, и началось их смешение с местным славянским населением, в ходе которого постепенно складывалась венгерская земледельческая культура, а в побеждающем венгерском языке образовывался мощный пласт славянских заимствований, составляющих, в особенности, термины земледелия. Процесс оседания и стабилизации нашёл своё завершение в принятии христианства (*кенде* Геза принял католицизм в 973 году) и сложении единого королевства (Св. Стефан получил корону от папы Римского в 1000 году). Христианство окончательно утвердилось после подавления в 1046 году восстания язычников, а королевство освободилось от сюзеренитета германского императора при короле Эндре I (1046-1060 гг.). С распространением христианства и централизованной власти появляются и первые письменные памятники венгерского языка – сначала фрагментарные (Грамота Тиханьского аббатства, ок. 1055 г.), затем – и содержащие достаточно обширные связные тексты (“Надгробная речь”, конец XII века, и др.).

Границы государства расширялись: в начале XII века под власть венгерских королей попали Хорватия и Далмация. Помимо славян и венгров в формировании населения Венгрии принимали участие немцы (в частности – переселенцы из Саксонии в Трансильванию в XII веке при Гезе II), турки – как пришедшие вместе с венграми, так и более поздние переселенцы: хорезмийцы (венг. (мн.ч.) *kalízok*), хазары, болгары, половцы (венг. (мн.ч.) *kumánok*).

Монгольское нашествие (1241-1242 гг.), хотя и разорило страну, не поставило её в зависимость от захватчиков. Наивысшего могущества Венгрия достигла при королях Анжуйской династии, в особенности – Луи (венг. *Lajos*) I (1342-1382 гг.). В 1428 году турки впервые угрожают границам Венгрии, в это же время возрастают претензии австрийских Габсбургов на венгерский

престол. В период правления династии Хуньяди (Янош Хуньяди стал регентом в 1446 году) стране удавалось сдерживать турков и австрийцев, однако после поражения под Мохачем в 1526 г. и взятия турками столицы страны – Буды (1541 г.) Венгрия фактически оказалась разбитой на несколько частей: большая часть сегодняшней Венгрии под турецким управлением, самостоятельное княжество Трансильвания, цепь “пограничных крепостей” вдоль северных рубежей Венгрии в союзе, а затем – под контролем австрийских Габсбургов. В ходе совместной борьбы с турками Трансильвания в конце XVI века также перешла под руку австрийских императоров, однако при воеводе Иштване Бочкаи и князе Жигмонде Ракоци в начале XVII века вновь обрела независимость. Движение за восстановление национального единства и независимости приобретает характер народной войны (движение *куруцев*, венг. *kuruc*). В 1686 году Буда освобождена, а в 1699 году в результате успехов *куруцев* и побед австрийского принца Евгения Савойского Венгрия по Карловицкому миру вновь признана независимым государством. Борьба венгров под предводительством Ференца Ракоци против австрийского господства не привела к успеху: по Сантмарскому миру в 1711 г. Венгрия была окончательно включена в состав империи Габсбургов как автономная территория.

Движение за национальное возрождение особенно усилилось в Венгрии в конце XVIII – начале XIX века. Прежде всего это сказалось в возрождении венгерского языка: в 1805 году был впервые опубликован по-венгерски свод законов, в 1825 году основана Венгерская Академия наук, в 1839 году венгерский парламент одобрил закон о придании венгерскому языку официального статуса на территории Венгрии.

Подавление австрийскими и русскими войсками национально-демократической революции 1848-1849 гг. привело к установлению на территории Венгрии прямого правления австрийского императора – лишь в 1861 году вновь собрался венгерский парламент. Восстановление государственной независимости Венгрии произошло в результате революционных событий 1918 года, когда, вследствие поражения Австро-Венгрии в первой мировой войне, империя рухнула, и на её развалинах возникли национальные государства. Сегодняшние границы Венгерской республики соответствуют решениям международных договоров (Парижского и Потсдамского), учитывающих участие Венгрии в обеих мировых войнах на стороне потерпевших в этих войнах поражение коалиций, вследствие чего значительное число венгров живёт сегодня помимо Венгрии (более 10,5 млн. чел.) в Сербии (в основном – в Автономном Крае Воеводина, более 400 тыс. чел.), Румынии (Трансильвания, 1,8 млн. чел.), Словакии (более 500 тыс. чел.), на Украине (Закарпатье, более 150 тыс. чел.) и в других странах. Общая численность венгров в мире, по видимому, приближается к 15 млн. человек.

## Манси

Самоназвание (Т.) *māñčt̄*, (Пел.) *māñš*, (С) *mañsi* восходит вместе с самоназванием венгров *magyar* и хантыйским названием фратрии (Вах) *māñt̄* и др. к ПУг. этнониму *\*mañčz* / *\*māñčz* (этимологию см. выше, в разделе о венграх). Внешнее название – нем. *Wogule* и др. восходят к рус. *вогул*, которое, как и хантыйское название манси (С) *wōyał*, происходит от названия реки *Вогулки* – левого притока Оби (манс. (С) *wōł-jā*, хант. (С, В) *wōyał*), которое, возможно, является собственно мансийским гидронимом: слово *wōł* употребляется в мансийском языке также в качестве нарицательного со значением “плёс, участок реки между двумя поворотами”. Данный этноним начинает употребляться в русских документах с XIV века прежде всего по отношению к манси, которые жили на западных склонах Урала, в верхнем течении Печоры и на востоке Верхнего Прикамья и постоянно тревожили своими набегами русских и коми на Верхней Каме и Вычегде – вплоть до Великого Устюга.

В более ранний период население крайнего северо-востока Европы (Северное Приуралье, Бассейн Печоры, возможно – часть Верхнего Прикамья) называлось в русских источниках *Югра* (с XI века). Данный термин употреблялся вплоть до XVII века применительно к населению Западной Сибири, в особенности – Нижней Оби, причём ещё в XVI веке нижеобская *югра* и её князья рассматривались отдельно от *вогулов* (манси) и *остяков* (см. ниже раздел о хантах). Видимо, он связан с встречающимся в арабско-персидской географической литературе (уже у Ибн Русте, ок. 912 г., наиболее подробно – у Аль-Марвази, первая четверть XII века) названием народа *jūrā*, обитавшего далеко на севере за Волжской Булгарией и ведшего “немую торговлю” с болгарскими купцами пушниной (товары доставлялись в тот край на нартах, запряжённых собаками, а люди шли на лыжах). Нельзя отделять от этих названий и коми *jęgra* “манси и / или ханты”. На древность последнего в пермской среде (вопреки мнению многих исследователей, считающих коми слово заимствованным из русского – против этого предположения, в принципе, свидетельствует и его вокализм: обычно коми *ę* восходит к рус. *о*, а не к *и*) указывает удмуртская параллель – название удмуртского *воршуда* (родового объединения) *ęgra*, жившего в центральных и северо-восточных районах Удмуртии. Фонетически коми и удмуртское названия безупречно соответствуют друг другу и возводимы к общепермской форме *\*jęgra*, которая, наряду с *jūrā* арабско-персидских источников, бесспорно указывает на исконность начального *j-* в данном этнониме, что практически лишает основания предпринимавшиеся неоднократно попытки рассматривать рус. *Югра* в связи с внешним названием венгров, др.-рус. *Узге* (этимологию последнего см. выше, в разделе о венграх).



Очевидно, таким образом, что в данном случае перед нами – старый этноним, обозначавший раннесредневековых насельников крайнего северо-востока Европы и / или крайнего северо-запада Западной Сибири (см. также раздел о ненцах), причём – не обязательно их самоназвание: и в русский язык, и к булгарам, а от них – в арабско-персидскую географическую литературу он мог попасть через пермские языки (общепермская форма \**jōgra* может восходить к более ранней \**jūgra* ). Нельзя также с уверенностью говорить о том, что этим словом изначально называли манси, хантов или обских угров вообще, хотя это и вполне возможно: в качестве подтверждения кочующей из работы в работу гипотезы об отождествлении *югры* с обскими играми приводят, во-первых, мансийские предания, согласно которым манси некогда жили на Печоре, и, во-вторых, данные топонимики, будто бы указывающие на былое присутствие населения, говорящего на обско-угорских языках на северо-востоке Европы вплоть до рр. Мезени, Пинеги и Вятки на западе. Эти аргументы, однако, нельзя принять: мансийские предания, сложившиеся, очевидно, в “богатырскую” эпоху походов манси на пермские и устюжские земли (см. ниже), могут отражать не обязательно истоки мансийского этногенеза, а относительно позднее проникновение (в XIII – XV веках) отдельных групп манси в верховья Печоры (где они действительно жили – см. ниже); нельзя, кроме того, не учитывать и бывшие “политические” претензии мансийской племенной верхушки на господство на названных территориях, которые также могли отразиться в фольклоре. Положение же о столь широком распространении обско-угорской топонимии на северо-востоке Европы восходит к семидесятилетней давности работам А.Каннисто, выводы и методику которого в данном случае, при всём уважении к нему, никак нельзя признать заслуживающими доверия; основательный критический разбор его построений был проделан в последние десятилетия А.К.Матвеевым, который продемонстрировал, что на самом деле ареал достаточно поздней мансийской топонимии западнее Урала охватывает лишь непосредственно западные склоны хребта и, возможно, заходит островками в Верхнее Прикамье, – то есть топонимика указывает лишь на те территории былого пребывания манси, на которых последние были зафиксированы и письменными источниками (см. ниже).

Господствующий антропологический тип манси – наряду с типами хантов, ненцев, некоторых селькупских, кетских и западносибирских тюркских групп – представляет собой вариант особой уральской расы, в формировании которой помимо носителей западных (европеоидных) и восточных (монголоидных) расовых типов принимали участие (и превалировали) и группы, принадлежавшие в расовом отношении к так называемой *древнеуральской расе*, не имеющей аналогов среди современных расовых типов. Для неё было характерно противоречивое сочетание западных (прежде всего – светлая пигментация волос и глаз) и восточных (прежде всего – низкий рост и уплощённое лицо) признаков, указывающее на её особое положение в расовой

систематике и позволяющее рассматривать *древнеуральский* тип как архаичный “недифференцированный” (т.е. – не прошедший специализации ни в европеоидном, ни в монголоидном направлении) тип древнейшего населения северной зоны Евразии (гипотеза В.В.Бунака, развитая в последнее десятилетие Г.М.Давыдовой). Предполагается, что древнеуральская раса в той или иной мере приняла участие в генезисе антропологических типов народов уральской языковой семьи и их соседей от Прибалтики до Енисея, но при этом именно в составе манси этот компонент сохранился наиболее близком к прототипу виде.

На протяжении XIV-XVI веков земли Перми Великой в Верхнем Прикамье (см. раздел о коми) и по Вычегде вплоть до Устья Великого подвергались систематическим набегам мансийских князей из-за Урала. Центром и основной базой этих походов было Пельмское княжество (р. Пелым). Целью мансийских князей были не только обогащение за счёт грабежа, но и сопротивление нарастающему русскому давлению, защита своих единоплеменников, живших на западной стороне Урала, от христианизации и подчинения Москве. При этом нередко союзниками манси выступали и русские вятчане: так, они участвовали в походе пельмского князя Асыки на Усть-Вымь в 1455 году, когда был убит епископ Пермский Питирим, пытавшийся активизировать работу по обращению *вогулов* в христианство. В 1483 году специально посланное Иваном III войско прошло огнём и мечом по землям пельмских манси, по Тавде, Иртышу и вниз по Оби, где столкнулось уже не с *вогулами*, а с *юзрой*. С этого времени начинается постепенное подчинение Москве и обложение *ясаком* (пушной податью) зауральских манси. Однако пельмские князья ещё долго оставались непокорёнными – в 1535 году они вновь напали на Чердынь, а в 1572-1573 годах пельмский князь Бехбелей вёл настоящую войну с владетелями Верхнего Прикамья Строгановыми, осаждал Чердынь, городки по Чусовой, Сылве, Верхней Каме, но был разбит и умер в плену. Затем *вогулы* участвовали в походах на Чусовую войск сибирского хана Маметкула. Даже после прохода по мансийским землям Ермака в 1580 году пельмский князь с *вогулами* и *остяками* предпринял последнюю отчаянную попытку сопротивления в 1581 году, осадил городки по Чусовой и Сылве, но был разбит, пленён и вынужден принести присягу на верность московскому царю. Мансийские (и хантыйские) земли за Уралом, таким образом, оказались в составе Российского государства, что было окончательно закреплено в 1587 году основанием Тобольска, а в 1592 – городков Пелыма, Берёзова и Сургута. С прекращением войн постепенно теряет свою власть и уходит (отчасти, вероятно, была и физически истреблена) военная племенная верхушка – память о “богатырском” времени остаётся лишь в фольклоре.

Русскими документами и летописями манси (*вогулы*) в XVI веке зафиксированы как на западных склонах Уральских гор (по рр.Чусовой, Тагилу, Нейве, Вишере, на верхней Печоре), так и в Зауралье (бассейны Лозьвы, Сосьвы, Конды), – все эти группы, очевидно, принадлежали к западным манси, в XIX веке жившим по Пелыму, средней и нижней Лозьве. В

XVII веке территория документированного обитания манси расширяется: в неё входят верховья р. Уфы, бассейны Сылвы, Пельыма (западные манси), а также – Тавды и Туры (южные манси). В целом центр расселения манси в XVI-XVII веках находился западнее и южнее, чем к началу XX века, более того – можно предположить, что район расселения основной сегодня группы манси – северной (рр. Северная Сосьва, Ляпин, низовья Оби) был заселён ими в течение XVII-XIX вв.: ранние русские документы называют жителей этих мест *остяками* (об этом этнониме см. раздел о хантах) или (раньше) *югрой* (см. выше), на особо тесные связи северных манси с хантами указывают и данные этнографии и языка. Вероятно, именно от хантов заимствовали северные манси деление на фратрии *Мось* и *Пор* – манс. (С) *mōs* (< хант. (С) *mōs* см. этимологию выше в разделе о венграх) и *por*, – другим группам манси эти названия не были известны (о происхождении хантыйских фратрий см. ниже в разделе о хантах). На востоке, на р. Конде манси фиксируются уже в XVI веке, хотя некоторые обстоятельства позволяют предполагать, что и здесь изначально обитали ханты, сохранившиеся и доныне в низовьях Конды. В XVII-XVIII веках безусловно имело место переселение на Конду значительных групп манси с запада, ассимилировавших местных аборигенов, в ходе чего формировалась группа восточных (кондинских) манси.

Одновременно сокращались ареалы западных манси на западных склонах Урала, на Пельме, нижней и средней Лозьве и южных манси на Туре и Тавде (последние окончательно обрусели к середине XX века). Таким образом, в течение XVII-XIX веков под давлением русской колонизации происходил отток мансийского населения с запада и с юга на север (р. Сев. Сосьва) и на восток (р. Конда). Северная и восточная группы манси становятся, таким образом, уже к XIX веку преобладающими в численном отношении. При этом у северных манси примерно с XVIII века развивается оленеводство, заимствованное у ненцев и носившее в основном транспортный характер. В основном же манси сохраняют традиционное охотничье и (в особенности – на Оби, Северной Сосьве) рыболовческое хозяйство и связанный с ним образ жизни, требующий сезонных переселений с постоянных мест обитания во временные (промысловые) поселения. С конца XVIII – первой половины XIX века рыболовство – с распространением совершенных больших сетей русского производства – приобретает товарный характер, равно как и пушной промысел, кроме того, пушшиной платится ясак.

Христианизация манси была проведена в XVIII веке, и, хотя носила формальный характер, некоторое влияние на духовную культуру народа всё-таки оказала. Во всяком случае, уровень восприятия и внедрения в традиционную культуру христианских элементов был у манси несколько выше, чем у хантов или ненцев.

Окончательная ликвидация сохранявшегося первоначально самоуправления манси, как и других народов Севера, связана с реформами первой четверти XIX века, прежде всего – с принятием в 1822 году устава “Об

управлении инородцев”, поставившего местную племенную верхушку под прямой контроль русских чиновников. Общая численность манси в конце XIX века была ок. 7 тыс. человек.

В 1930 году был создан Остяко-Вогульский (с 1940 года – Ханты-Мансийский) национальный округ, в границах которого проживала большая часть манси. Сильные различия мансийских диалектов сделали невозможным создание единого литературного языка – ни в эпоху первых миссионерских попыток, предпринимавшихся только в конце XIX века, ни в 30-е годы XX века, когда была создана письменность для двух диалектов – северного и восточного (кондинского) (южный к этому времени практически исчез, а численность говорящих на западном была невелика). Это обстоятельство вкупе с преобразованиями советского времени, в первую очередь – коллективизацией, особенно больно ударившей по достаточно хрупкой традиционной хозяйственной системе таёжников-манси, внедрением обязательного обучения детей в школах-интернатах в отрыве от родной культурной и языковой среды и катастрофическим развитием нефте- и газодобычи в Западной Сибири, приводящим к уничтожению традиционной среды обитания аборигенов (см. также ниже раздел о хантах), привело к ускорению ассимиляции южных, западных и восточных групп манси – восточные (кондинские) манси в некоторой мере сохраняют сегодня свой язык, но говорить о реальном сохранении и возрождении мансийского языка и культуры можно говорить лишь применительно к северным манси. Несмотря на рост общей численности манси, фиксируемый переписями (в 1959 году в Советском Союзе жило 6,4 тыс. манси, в 1979 – 7,6 тыс.чел., в 1989 – 8,5 тыс.чел.), следует констатировать, что процесс ассимиляции принимает угрожающий характер: из 8279 манси России в 1989 г. родным признали мансийский язык лишь 3037 человек.

## Ханты

Самоназвание (С) *χānti*, (Ю) *χāntə*, (В) *kāntəy jaγ* (*jaγ* – “народ”) восходит, наряду с манс. (Т.) *khānt*, (С) *χānt*, (Пел.) *khōnt* “войско, армия”, венг. *had* “войско”, ф. *kunta* “община” и др. восходит к ПФУ *\*kunta* “община, сообщество, объединение”. Помимо этого этнонима разные группы хантов используют в качестве самоназвания композиты, состоящие из названия реки, на которой данная группа живёт, и слова “народ” (хант. (С, Ю) *jaχ*, (В) *jaγ*): *as-jaχ* “обский народ”, *vaγ-jaγ* “ваховский народ” и т.д.

Внешнее название хантов – нем. *Ostjaken* и др. происходят от рус. *остяки* – как официально именовали хантов в России до 30-х гг. XX века. Впервые этот этноним встречается в русских документах в 1499 году (согласно М.Жири) и употребляется первоначально (до XVII века включительно) по отношению к населению бассейна Средней Камы (нынешний север Башкирии

и юг Пермской области) – очевидно, ещё не принявшим ислам предкам современных северных башкир и пермских татар (с XVII века по отношению к этому населению уже употребляется термин *татары*). По крайней мере с начала 80-х гг. XVI века остяками называют уже и жителей Зауралья и Западной Сибири, принимавших участие в походах вогульских (см. выше раздел о манси) князей на пермские земли. Позже, в XVII-XIX веках, это название применяется к различным народам Западной Сибири: помимо хантов, которых именуют просто *остяками* или – по месту жительства той или иной хантыйской группы – *иртышскими, обскими, обдорскими, кондинскими остяками*, так называют кетов (*енисейские остяки*) и селькупов (*нарымские, тымские* и др. *остяки, остяко-самоеды*). Такое широкое употребление этникона *остяк* находит объяснение в его происхождении: в русский язык он попал из тюркских языков, где служил для обозначения инородческого языческого населения: ср. кирг. *ıştāk* “башкир”, казах. *istāk* “башкир; сибирский татарин”, сиб.-тат. *ıştāk* – племенное объединение, бараб. *ıştāk* “хант”, которые связаны либо с общетюркским корнем \**ış* “работа” (возможно, \**ıştāk* “работник, зависимый человек”), либо с основой \**ış-* “увеличиваться, умножаться, плодиться, становиться многочисленным” (ср. аналогичное образование ПИЕ \**teutā* “народ” < \**teu-* “увеличиваться, наполняться”). Предлагаемое раньше многими авторами выведение рус. *остяк* из хант. *as-jaχ* “обский народ” неприемлемо по фонетическим причинам и не объясняет широкого значения русского слова и его первоначального употребления в отношении предков пермских татар и башкир, не говоря уж о том, что впервые русские встретились с хантами вряд ли на Оби.

В конце XVI века *остяки* русских источников, которых можно с большей или меньшей надёжностью считать хантами, упоминаются на Средней и Нижней Оби, на севере – по её притокам: Казыму, Куновату, Сыне, Северной Сосьве, на юге – по Нижнему Иртышу, Демьянке, на Конде (вероятно – не только в низовьях, но и в среднем течении реки). Видеть в *остяках* более западных районов (в особенности – в упомянутом выше населении Среднего Прикамья) хантов нет никаких оснований: бассейны Тавды, Туры, Пелыма, Средний Урал и непосредственно примыкающие к нему с запада территории были заселены *вогулами* (манси), и, таким образом, земли европейских *остяков* – предков татар и башкир были отделены от хантыйских иноевразийским массивом.

Возможно, что под именем фиксируемой русскими источниками XVI-XVII веков в бассейне Нижней Оби *югры* также скрываются хантыйские группы – тем более, что в сложении здесь в XVII-XIX веках северной группы манси есть все основания предполагать участие значительного хантыйского компонента (см. выше в разделе о манси). С другой стороны, однако, население Нижней Оби уже с XVI века русские документы называют также и *остяками*, а в XVIII– начале XIX века это наименование становится для него единственным, что может указывать на ассимиляцию *югры* хантами на этих

землях, предшествовавшую ассимиляции последних северными манси. Учитывая древность этникона *югра* на крайнем северо-востоке Восточной Европы и более чем вероятную его связь с самоназванием какой-то этнической группы (см. в разделе о манси), против прямого соотнесения хантов с *югрой* свидетельствует, в принципе, отсутствие каких-либо следов этого слова в хантыйской этнонимии. В целом следует, по-видимому, с очень большой осторожностью относиться к попыткам соотнесения нижеобской *югры* XVI-XVII веков с хантами, и нет никаких оснований непосредственно связывать с предками хантов *Югру* северо-востока Восточной Европы XI-XVI веков (см. также выше, в разделе о манси).

Таким образом, по данным русских документов, уже для XVI века можно говорить о существовании двух из трёх известных позднее этно-территориальных групп хантов – северных (Нижняя Обь, Сыня, Куноват, Казым и т.д.) и южных (Иртыш, Конда, Демьянка), соответствующих двум из трёх диалектным массивам (наречиям) хантыйского языка – северному и южному. Обособление этих групп связано с различиями в климате и природном окружении (северная тайга и лесотундра на севере и южная тайга и лесостепь на юге), различными внешними влияниями на культуру и язык северных (аборигены севера Западной Сибири, *югра*, затем – ненцы, позднее – коми) и южных (древнее население степей – иранцы, гунны и др., начиная с середины I тыс. н.э. – тюрки, в особенности с XIV века, со времени образования Сибирского (Тюменского) ханства – сибирские татары) хантов. Археологически культурные различия населения нижеобского и иртышско-демьянского регионов прослеживаются уже со второй половины I тыс. н.э.

Говоря о достаточно древнем разделении хантов на северных и южных, нельзя не упомянуть о гипотезе (В.Штейниц, В.Н.Чернецов, В.И.Мошинская и др.) об участии в генезисе обских угров (хантов и манси) двух компонентов: южных, собственно угорских групп (то есть, восходящих к прямым общим языковым предкам хантов, манси и венгров), ведущих своё происхождение из южнотаёжных и даже лесостепных областей Западной Сибири, принесших на север некоторые материальные и духовные элементы коневодческой южной культуры и, вероятно, общеугорский этноним *\*mańc̣z / \*māńc̣z* (см. введение об угорских народах и раздел о венграх), – и северного, таёжного населения, для которого был характерен архаичный охотничье-рыболовческий уклад и сопутствующие ему черты духовной культуры; языковая принадлежность этого населения остаётся неясной, можно лишь предполагать, что язык(и) аборигенов средней и северной западносибирской тайги также принадлежал(и) к уральской семье и мог(ли) быть близок(-ки) угорским.

Важно, что в то время как древний угорский этноним *\*mańc̣z / \*māńc̣z* сохранился в качестве самоназвания у венгров (*magyar*) и у всех групп манси ((Г.) *māńc̣ī*, (Пел.) *māńṣ*, (С) *mańṣī*), у хантов его дериваты ((Вах) *māńf̣*, (Ирт.) *mońf̣*, (С) *mōṣ*, откуда заимствовано манс. (С) *mōṣ*, *mūṣ* – название фратрии *Мось*) служат либо в качестве названий одной из фратрий (брачных половин)

у северных хантов (*mās*), либо – в композитах типа (Юган) *mānt-ko*, (Кон.) *moit-χij* “мужчина *Мось*” или (Тром.) *māñ-ñe*, (Каз.) *mās-ñe* “женщина *Мось*” у всех групп хантов – для обозначения эпических и мифологических персонажей, противопоставляемых персонажам, носящим имя другой севернохантыйской фратрии, *Пор* ((С) *pōr*, откуда заимствовано манс. (С) *por* – название фратрии): (Вах, Вас.) *pār-ni*, (Каз.) *pōr-ñe* “женщина *Пор*”. Наличие противопоставления этниконов *Пор* и *Мось* практически у всех групп хантов – особенно в сравнении с полным отсутствием каких-либо следов названия *Пор* у западных, восточных и южных манси и с явно севернохантыйским происхождением названий северномансийских фратрий *Пор* и *Мось*, – указывает, по-видимому, на то, что дуально-фратриальная организация северных хантов действительно отражает двухкомпонентный генезис хантыйского этноса в целом. Вряд ли, однако, можно распространять этот вывод на манси: сложение последних, также, как и формирование ядра протovenгров, происходило, видимо, при превалировании собственно-угров, носителей самоназвания *\*māñčz* / *\*māñčz*, прародину которых следует связывать с южнотаёжно-лесостепной полосой юга и юго-запада Западной Сибири.

Генезис аборигенно-таёжного компонента, давшего, как можно предполагать, имя хантыйской фратрии *Пор*, остаётся, как было отмечено выше, неясным. Высказывавшееся ранее разными авторами предположение о связи этого названия с удмуртским названием марийцев *por* нельзя признать удачным: удмуртское слово *por* “иноплеменник, враг (в фольклоре), мариец” фонетически восходит к праформе типа *\*pōr*, которую скорее следует сопоставлять с мар. *pōr-jeŋ* “мужчина” (где *jeŋ* – “человек”), нежели с хант. (Вах, Вас.) *pār*, (Каз.) *pōr*. Большой интерес представляет собой сопоставление с хантыйским этниконом названия удмуртского территориально-родового объединения (*воршуда*) *Пурга* (< *\*por-ga*), ареал расселения которого (по данным М.Г.Атаманова) охватывает центральные и восточные районы Удмуртии и смыкается с ареалом *воршуда Эгра* (< *\*jōgra*), название которого также может быть связано с названиям древних аборигенных групп крайнего северо-востока Восточной Европы и северо-запада Западной Сибири, вошедших в состав обских угров (летописная *Югра* – см. выше, в разделе о манси).

Со значительным участием в генезисе хантов групп аборигенов средней и северной западносибирской тайги связано, вероятно, большее отклонение антропологического типа хантов – по сравнению с манси (см. выше) – в сторону монголоидности. Основной монголоидный компонент в расовом типе хантов был, вероятно, близок *североазиатской (байкальской)* расе, представленной сегодня прежде всего в антропологии эвенков, эвенов и юкагиров, точнее – к особому подтипу байкальской расы – *катангскому*, характерному для западных эвенков. Участие этого же компонента предполагается и в генезисе

манси (в меньшей мере) и самодийцев Западной Сибири, в древности (ранний железный век) группы низколидых монголоидов (по Т.А.Трофимовой) из Сибири достигали по крайней мере Нижнего Прикамья.

Таким образом, разделение хантов на северных и южных восходит, вероятно, к достаточно глубокой древности, возможно – ко времени формирования хантыйского этноса в целом. Менее ясен вопрос о сложении третьей большой хантыйской группы – восточных хантов, заселявших Сургутское Приобье (реки Салым, Пим, Аган, Юган, Тромьюган, Вах, Васюган). Уже в первой половине XVII века на этих территориях русскими было учтено более двух тысяч *остяков* – ясачных плательщиков. Есть, однако, серьезные основания предполагать, что на большей части данного региона (кроме, может быть, Ляпина и Салыма) ханты являются поздними пришельцами, вытеснившими местное исконное население, прежде всего – предков селькупов. Об этом свидетельствуют, во-первых, хантыйские предания о приходе предков восточных хантов с запада, с Нижней Конды, Иртыша, Назыма, “Средней” Оби (ниже впадения Иртыша) и с северо-запада – с Казыма и Нижней Оби. Во-вторых, согласно русским документальным материалам, ханты Кодского княжества, *кодские остяки* (“Средняя” Обь ниже устья Иртыша и выше устья Казыма) в качестве активных союзников участвовали в покорении русскими Западной Сибири в конце XVI – начале XVII века, при этом острие военной активности *кодских остяков* было направлено прежде всего на восток – вверх по Оби, на Сургут, Нарым, Вах, Томь – именно с их участием было разделено в 1619 году после смерти князя *Бардака* татарско-селькупское *Сургутское* княжество и в конце XVI – начале XVII века разгромлена селькупская *Пегая Орда* (см. раздел о селькупах), что, вероятно, и привело к установлению хантыйского контроля над Сургутским Приобьем (волости по р. Вах были пожалованы кодским хантыйским князьям грамотой царя Фёдора Ивановича ещё в 1594 году – видимо, ещё до фактического разгрома Пегой Орды).

Участие хантов на стороне русских в их борьбе за контроль над Западной Сибирью было, очевидно, обусловлено тем, что в течение XIV-XVI веков южные ханты постоянно испытывали давление со стороны сибирских татар, приводившее в ряде случаев к ассимиляции их последними (явно присутствует обско-угорский компонент в составе тюменско-туринских и заболотных татар). После победы русских над татарами позиции южных хантов на время укрепились (хотя русские документы отмечают факты насильственной исламизации хантов татарами и в XVIII веке), но уже с конца XVII века усиливается давление с запада – вследствие переселения теснимых русскими и коми манси на Конду и в бассейн Северной Сосьвы, а затем – и вследствие притока русского (а на севере – и коми) населения на южные и западные хантыйские земли. В целом в динамике расселения хантов на протяжении XVII-XIX веков имели место те же тенденции, что и у манси: сдвиг населения на восток, сокращение ареалов на юге и на западе. При этом



хантыйский ареал сокращался и на севере, на левобережье Нижней Оби, где ханты были ассимилированы манси (см. выше, в разделе о манси), и где основными оплотами хантов стали прежде всего бассейны рек Куноват и Казым и районы, непосредственно примыкающие к Нижней Оби с запада – низовья рек Войкар, Сыня, район Берёзова. Самые северные группы хантов проникли в нижнеобскую тундру, вступили в тесный контакт с ненцами, заимствовали от них оленеводство, но чаще выступали не в роли самостоятельных хозяев стад, а пастухов у ненецких богачей. Остальные группы хантов сохраняли старый охотничье-рыболовческий уклад, в котором знакомство с оленеводством не играло значительной роли.

Освоение Сургутского Приобья и вытеснение оттуда селькупов позволило хантам, несмотря на давление с юга и с запада, сохраниться в качестве одного из самых многочисленных народов сибирского Севера. По переписи 1897 г. их численность превышала 16 тыс. человек.

Формальная христианизация хантов в XVIII веке не имела сколько-нибудь значительного влияния на культуру народа. Уже с этого времени, по-видимому, у хантов вырабатывается модель отношения к приходящим от русских новшествам, основой которой является последовательное их неприятие и более или менее активный протест: известны случаи, когда некрещёные ханты прекращали заключать браки со своими соплеменниками, принявшими крещение. Не случайным было участие северных хантов в мятеже ненцев Ваули Пиеттомина в 1839-1841 гг. (см. раздел о ненцах). После установления на землях хантов советской власти и создания в 1930 году Остяко-Вогульского (с 1940 года – Ханты-Мансийский) национального округа (при этом крайне северная группа хантов – *обдорские* оказались на территории соседнего – Ямало-Ненецкого округа) ханты оказали активное сопротивление действиям Советов, приводившим к печальным последствиям для этнического развития малых народов Сибири: ограблению под видом “раскулачивания” и коллективизации, преследованию и уничтожению шаманов и представителей родовой верхушки, осквернению священных мест, насильственному помещению детей в школы-интернаты в отрыве от семей и т.д. Наиболее значимым актом открытого протеста против политики властей было Казымское восстание хантов 1931-1934 годов, жестоко подавленное ОГПУ. Открытая борьба маленького народа с чудовищной машиной государственного террора была обречена на поражение, но пассивное сопротивление в той или иной мере продолжалось.

Страшный удар был нанесён по традиционному образу жизни хантов в 1960-1980-е годы в ходе индустриального “освоения” природных богатств западносибирских недр: именно Среднее, прежде всего – Сургутское Приобье стало основной территорией развития нефте- и газодобычи в Западной Сибири, сопряжённого с варварским разрушением экологической системы, уничтожением природной основы существования хантыйского (да и лютого другого) этноса. В разрушении экологического пространства сыграли роль и лесоразработки, и строительство дорог и нефтепродуктопроводов, и хищнический промышленный лов рыбы. Экономическая политика советской

власти не просто не учитывала интересов местного населения, но прямо противоречила им. Вследствие притока нового населения в ходе индустриального освоения края аборигенные народы оказались в абсолютном меньшинстве на своих когда-то землях (народы Севера составляют 1,5 % населения в Ханты-Мансийском и 6% в Ямало-Ненецком округе).

Не лучше обстояло дело и в социальной и культурной сфере: после принятия в 1957 г. постановления ЦК КПСС и Совета министров СССР "О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера" началось массовое сселение жителей стойбищ и маленьких посёлков в крупные, практически насильственный перевод кочевников на оседлость, вследствие чего с конца 50-х годов стала резко расти люмпенизация аборигенного населения, связанная с отрывом его от традиционных занятий и мест обитания. Ещё более страшным ударом по традиционной культуре северян стало введение в 60-70-х годах обязательного восьмилетнего, а затем – среднего образования, что означало на деле насильственный отрыв детей от родителей (с перерывами на каникулы) с семи- до шестнадцатилетнего возраста и полную утерю молодым поколением традиционных культурных навыков и ценностей.

Не способствовало сохранению языка и традиционной культуры хантов и то обстоятельство, что в силу больших расхождений между хантыйскими диалектами (оцениваемых некоторыми лингвистами как самостоятельные языки) так и не удалось создать единой письменной нормы и единого литературного языка: учебная литература издавалась в разные периоды на обдорском, шурьшкарском, казымском, среднеобском диалектах северного наречия и на ваховском и сургутском диалектах восточного наречия хантыйского языка. В настоящее время на шурьшкарском (в Салехарде) и казымском (в Ханты-Мансийске) диалектах ведутся радиопередачи, печатаются периодические издания.

Все эти обстоятельства привели к печальным последствиям: общая численность хантов росла с 19,3 тыс. человек в 1959 году до 22,5 тысяч человек в 1989 году (11,8 тыс. в Ханты-Мансийском и 7,2 тыс. – в Ямало-Ненецком национальных округах), но темпы этого роста были ниже, чем средние темпы роста численности населения России. При этом хантыйский язык назвали в качестве родного в 1989 году лишь 13,6 тыс. хантов. Ассимиляция южных хантов практически завершена, большинство групп восточных хантов (за исключением, может быть, ваховских) также близки к этой черте, лишь северные ханты (шурьшкарские, сынские, куноватские, казымские) имеют сегодня реальные шансы на сохранение своего языка и культуры.

## Самодийские народы

Ненцы, энцы, нганасаны, селькупы и ныне исчезнувшие саянские самодийцы говорят (или говорили) на языках *самодийской* группы, образующих вместе с языками финно-угорской группы уральскую языковую семью. Названия *самодийцы*, *самодийские языки*, образованные от русской диалектной формы *самодин* (ед.ч.), *самоди* (множ.ч.), использовавшейся в особенности в русской речи нганасан и энцев в качестве самоназвания этих групп (см. раздел о нганасанах), начинает употребляться в русскоязычной литературе с 30-х годов XX века в связи с повсеместной заменой старых русских названий народов России на новые, образованные от их самоназваний, вместо прозрачного по значению, с точки зрения русского языка, и потому кажущегося “обидным” слова *самоеды* (старое русское название ненцев – самого крупного самодийского народа, употреблявшееся и в качестве собирательного и в качестве названия всех самодийских народов; этимологию см. в разделе о ненцах). Сегодня название *самодийцы* утвердилось в русском языке, в то время как в других европейских языках употребляется старая форма типа нем. *Samojeden*.

Самодийские языки достаточно близки друг другу, в целом уровень различий между ними можно оценить как несколько превышающий уровень различий между прибалтийско-финскими языками (может быть, примерно равный различиям между последними и саамским). Распад самодийского праязыка носил, видимо, “взрывной” характер: необходимо постулировать одновременное выделение из прасамодийской общности как минимум четырёх групп: языковых предков камасинцев, маторов, селькупов и *северных самодийцев* (ненцев, энцев, нганасан). Распространённое ещё десяток лет назад традиционное мнение о цепочке последовательных “распадов”: прасамодийский – южно- и северносамодийский, южно-самодийский – селькупский и саяно-самодийский, из последнего – камасинский и маторский, как показал Е.А.Хелимский, реальных оснований не имеет.

Исходя из лингвистических соображений время распада самодийского праязыка можно отнести приблизительно к рубежу эр. Таким образом, время существования самодийского праязыка со времени его выделения из прауральского (распад уральского праязыка следует датировать VI – концом V тыс. до н.э.) и до его распада оказывается очень большим – около четырёх тысяч лет, что, в принципе, согласуется с наличием большого количества общесамодийских инноваций. Естественно, не надо думать, что на протяжении столь долгого времени самодийский праязык существовал в виде замкнутой обособленной общности: скорее всего, перед нами – остаток обширной группы восточно-уральских диалектов, большинство которых не оставили прямых языков-потомков (*парауральцы*). Говоря об отделении самодийского праязыка от финно-угорских, следует иметь в виду, что он в какой-то период своего длительного самостоятельного существования оказался в довольно тесных контактах (ареально-генетических, по терминологии Е.А.Хелимского)

с угорским праязыком, которые затем переросли в продолжающиеся до сих пор контакты обско-угорских и отдельных самодийских языков; сложение угорско-самодийского контактного ареала следует датировать временем до распада угорского праязыка (то есть самое позднее – первой половиной I тыс. до н.э.), хотя, естественно, можно предполагать и гораздо более раннюю датировку (Е.А.Хелимский). Видимо, ни с какими другими уральскими языками (в том числе и с венгерским после его выделения из праугорского) самодийские языки (праязык) не контактировали. В особенности следует подчеркнуть несостоятельность предположений об особых отношениях между самодийскими и саамским (гипотеза о самоедоязычности *протосаамов* Ю.Тойвонена и И.Н.Шебештьен – см. раздел о саамах) или прибалтийско-финскими языками (мнение, высказанное в одной работе Д.В.Бубриха, не получившее, впрочем никакой поддержки). Столь же бесосновательны и предпринимаемые время от времени отдельными авторами попытки обнаружения самодийской субстратной топонимики в Восточной Европе (критику см. в работах А.К.Матвеева): единственным случаем появления самодийцев в Европе является расселение ненцев в тундре от Урала до Канина п-ва.

Сегодня не представляется возможным проиллюстрировать на археологическом материале ранние этапы генезиса самодийцев. Следует, однако, полагать, что археологическим аналогом ранней прасамодийской должна быть культура раннего неолита (конец V – IV тыс. до н.э.), не входящая в круг западносибирско-зауральских ранненеолитических культур с гребенчатой и отступающе-накольчатой традицией орнаментации керамики. При этом на протяжении всего периода существования праязыковой общности носители самодийского праязыка не должны были покидать зону западносибирской темнохвойной кедровой тайги, как об этом свидетельствует хорошая сохранность в самодийских языках прауральских названий таёжных деревьев (кедра, ели, пихты), наличие собственно общесамодийских слов для обозначения таёжных деревьев (лиственница) и животных (соболь, белка-летяга, кедровка, гагара, выдра, рососомаха) и заимствование этих названий (кедр, ель, сосна, соболь) на разных стадиях развития из самодийского праязыка в тунгусо-маньчжурские и тюркские (по Е.А.Хелимскому). Лингвистические данные указывают также на древние и, видимо, непрерывные контакты прасамодийцев с тунгусо-маньчжурами и – менее интенсивные, но значимые, особенно на поздних этапах – с тюрками (Е.А.Хелимский, И.Футаки). С другой стороны, в отличие от финно-угров самодийцы на протяжении всей своей предьстории почти не контактировали с индоиранцами и с какими-либо индоевропейцами вообще кроме, возможно, (прото-)тохаров (Ю.Янхунен).

В эпоху позднего прасамодийского единства (во второй половине I тыс. до н.э. – на рубеже эр) носители самодийского праязыка должны были быть знакомы с металлом, скотоводством (прасамодийское название лошади

заимствовано из тюркских языков), в особенности следует отметить наличие прасамодийских этимологий (“домашний олень”, “кастрированный олень”, “нарты” и др.), свидетельствующих о знакомстве носителей праязыка с оленеводством; по-видимому, для их духовной культуры был характерен шаманизм (этимологии “шаман”, “бубен”, “колотушка”, “идол”, “шаманское песнопение” и др.). Сохранялись внешние контакты с тунгусо-маньчжурами (точнее – уже с собственно тунгусами, предками эвенков) и обскими уграми, кроме того, имели место контакты с тюрками и енисейскими народами (предки кетов и др., ныне исчезнувших енисейцев). Видимо, в поздне-прасамодийскую эпоху носители самодийского праязыка вышли к Енисею, название которого (ПСам \**jentesy*) они заимствовали из тунгусского языка (ПТМ \**jenē* / \**jenē* “большая река”), но не продвинулись далеко на север, так как нет общесамодийских слов для “тундры” и “северного сияния”, а в северно-самодийских языках они заимствованы из тунгусских (прасеверносамодийские \**jānor* “тундра” и \**karpā* “северное сияние” – ср. соответственно ПТМ \**jaŋ-ur-* “сопка-голец, ровное место на горном хребте, мшистое место” и \**garpa-* “стрелять; испускать свет, сиять” – по Е.А.Хелимскому). Возможно, до выхода на Енисей прасамодийцы обитали в бассейне Оби, так как ненецкое слово *jām* (< ПСам \**jām* “море, большая река”) означает, собственно, “Обь”.

Все приведённые здесь и некоторые дополнительные аргументы позволили Е.А.Хелимскому локализовать позднюю самодийскую прародину между Средней Обью и Енисеем вокруг четырёхугольника “Нарым – Томск – Красноярск – Енисейск”. Этот вывод не вызывает принципиальных возражений и позволяет соотнести позднюю самодийскую прародину с кулайской археологической культурой железного века (Л.А.Чиндина), сложившейся в V веке до н.э. в Сургутско-Нарымском Приобье, включая север Томского Приобья и правобережье Нижнего Иртыша, для которой была характерна развитая металлургия, комплексное хозяйство, сочетающее таёжную охоту, рыболовство и скотоводство (в основном – коневодство). Некоторую проблему представляет отсутствие явных следов оленеводства в хозяйстве кулайского населения, что, впрочем, может объясняться, во-первых, плохими возможностями отражения оленеводства в археологическом материале и, во-вторых, ведущей ролью коневодства в хозяйстве железного века, которое было позже вытеснено оленеводством при расселении самодийцев в тайге и тундре.

Уже в III веке до н.э. кулайское население начинает экспансию на юг, в Томское и Новосибирское Приобье, где складывается особый вариант этой культуры. На рубеже эр миграции кулайцев расширяются: они захватывают Среднее Прииртышье, территорию, ранее занятую носителями *саргатской* культуры (см. введение об угорских народах), продвигаются в Нижнее Приобье и в бассейн Таза, а на юге достигают Верхнего Приобья (район г.

Ачинска). Таким образом, в первых веках нашей эры кулайская культура представляет собой уже гигантскую культурную общность, занимающую огромные пространства таёжной, лесостепной и предгорной зоны Западной Сибири, и в IV-V веках н.э. на её основе складываются несколько культур, доживающих, по крайней мере, до IX века, с которыми можно непосредственно связывать начало этнической истории отдельных самодийских народов (по Л.А.Чиндиной): *верхнеобская (одинцовская)*, занимающая Новосибирское и Верхнее Приобье, в носителях которой можно видеть предков саянских самодийцев, постепенно отгеснённых в горную тайгу тюрками и монголами; *рёлкинская* (Нарымско-Томское Приобье), перерастающая в средневековую культуру предков селькупов; *потчевашская* (Нижнее Прииртышье), в которой очень сильны местные докулайские черты и наблюдается постоянное влияние с запада – видимо, предки хантов, в составе которых можно предполагать наличие какого-то самодийского, впоследствии угризированного компонента; *нижнеобская* (Нижнее Приобье, бассейн Таза), доживающая до XIII века – практически до времени, когда на данной территории уже фиксируются русскими источниками северные самодийцы, прежде всего – ненцы.

В антропологическом отношении ненцы, энцы и селькупы принадлежат к уральской расе (см. раздел о манси). Судя по наблюдениям Г.Ф.Дебеца, селькупы представляют собой результат весьма сложного смешения различных расовых типов (следует учитывать, что Г.Ф.Дебеч безоговорочно придерживался гипотезы о метисном происхождении урало-лапоноидной расы). По наблюдениям В.А.Дрёмова, для северных нарымских селькупов характерен классический уральский тип, “средний” среди угорско-самодийских популяций Западной Сибири, весьма сближающийся с саамским. В составе северных самодийцев безусловно наблюдается значительная монголоидная примесь, при этом (И.М.Золотарёва) возрастающая с запада (наименее монголизированы европейские ненцы) на восток, достигая максимума у энцев и переходя в чисто монголоидный архиморфный, близкий к байкальской расе, но отличающийся более низким лицом и более тёмной пигментацией, тип нганасан. Такая картина может быть объяснена былой принадлежностью предков самодийцев к уральской расе, которая сохранилась у нарымских селькупов, наименее сдвинувшихся с предполагаемой территории самодийской прародины, и смешением их на севере низколицыми монголоидами, заселявшими с глубокой древности приполярные и полярные районы от Обско-Енисейского Севера и далее на восток. Причём первоначальной территорией расселения наименее монголизированных групп пришедших с юга самодийцев был Полярный Урал и примыкающие к нему районы, где сохранился более чистый уралоидный тип ненцев. Далее к востоку в тундре и лесотундре роль низколицего монголоидного компонента возростала, достигая максимума на Таймыре, где у нганасан практически не прослеживается участия уральского компонента. Нганасанский тип, впрочем, не может рассматриваться как сохранившийся в неизменном виде

расовый тип монголоидных аборигенов Таймыра, он сформировался, очевидно, в результате длительной изоляции, замкнутого круга брачных связей – внутризтнической эндогамии, строго соблюдавшейся у нганасан (см. работы Г.М.Афанасевой). Результатом этого могла быть не только консервация, но и развитие определённых “гиперморфных” особенностей.

## Ненцы

Самоназвание большинства тундровых ненцев (о делении ненцев на тундровых и лесных см. ниже) – *ńenej ńeneć?*, откуда рус. *ненец, ненцы*, буквально означает “настоящий человек”, и аналогично образованным от тех же северносамодийских корней самоназваниям энцев и нганасан (см. ниже). Восточные тундровые (устье Оби и восточнее) ненцы используют в качестве самоназвания также слово *χāsawa* “мужчина”. Лесные ненцы называют себя (мн.ч.) *řak?* (по названию рода *řak*, связанному, возможно, с нен. *řa* “дерево, лес”), а тундровые ненцы называют их *řan χāsawa?* “лесные люди”.

Внешнее название ненцев, служащее в европейских языках и сегодня также в качестве названия всех самодийцев, – нем. (мн.ч.) *Samojeden* и др. – происходит от русского *самоеды*, служившее до 1930-х годов названием ненцев, а также – с уточняющими определениями – других самодийцев (см.). Др.-рус. *Самоядь* впервые встречается уже в начальной русской летописи под 1096 годом в рассказе новгородца Гюряты Роговича, как название народа, живущего далее на север (и восток – ?) от *Югры* (см. разделы о манси и хантах, см. также ниже). Форма *Самоядь* совпадает с церк.-слав. *самоядь* “людоеды”. Использование слова “людоед” для именованя населения отдалённых и плохо известных областей в древнерусских памятниках может быть обязательно средневековой литературной традиции (восходящей к “Роману об Александре”) рассказов о мифических народах, населяющих окраину ойкумены (типа “псоглавцев”, “безротых” и т.п.). Именно в таком контексте впервые встречаются *самоеды* (в форме *Samogedi*) в западноевропейских источниках – в сочинении папского посла ко двору монгольского хана бр. Иоанна де Плано Карпини (сер. XIII века): между питающимися паром безротыми *пароситами* и *псоглавцами*. Важно, что сведения об этих народах бр. Иоанни получил, очевидно, от русского информатора или переводчика (ср., например, название “безротых”: *Parossiti* – видимо, искажённое (др.-)рус. *паром-сыты* (версия А.Н.Анфертьева), равно как и *Samogedi* – от русского *самоеды*). Возможно, соотнесение мифических “людоедов” (*самояди*) окраины ойкумены с реальными предками ненцев способствовали воинские обычаи, существовавшие в средневековье у народов

Западной Сибири и, в частности, у ненцев, связанные с расчленением тела убитого врага и поеданием его сердца или мозга, в связи с чем пельымские манси (по словарию Б.Мункачи) называли ненцев *khâlès-tër òrènt* “людоеды”, букв. “человеческой еды ненцы”. Возможно, именно рассказы манси или других их соседей (коми, югры) о воинских обычаях ненцев и послужили основой применения к ним русскими церк.-слав. слова *самоядь*.

В литературе распространена версия (со времён М.А.Кастрена), согласно которой слово *самоед* (др.-рус. *самоядь*) происходит от некоего деривата общесаамского *\*sāmē-ēngm* “саамская земля”. С исторической точки зрения такая гипотеза имеет право на существование: по данным русских источников и топонимики, в средневековье саамы или близкое им по языку население действительно жили на современном Русском Севере – практически до западной границы сегодняшней Республики Коми на востоке (см. раздел о саамах) и, следовательно, название типа *\*sāmē-ēngm*, как все саамы сегодня называют свои земли, действительно могло употребляться по отношению к территориям северо-востока Восточной Европы, могло быть известно русским и быть впоследствии перенесено на жителей крайнего Северо-Востока – ненцев. Фонетически, однако, др.-рус. *Самоядь* едва ли выводимо из *\*sāmē-ēngm*. Предположение же о (пара-)саамской праформе русского слова типа *\*sāmē-(j)ē<sup>d</sup>ne(m)* также маловероятно, так как в тех саамских диалектах, где имеет место развитие *\*-n- > \*-d<sup>n</sup>-*, происходит и аналогичное развитие *\*-m- > -<sup>b</sup>m-* (при этом речь здесь идёт о южных диалектах: ср. саам. (Умео) *sabmee* “саам”, *eādnama* “земля”, (Лулео) *sapmē* “саам”, *ātnam* “земля” – при (Инари) *säämi* “саам”, *wænnam* “земля”).

Ещё менее надёжно предположение о связи др.-рус. *Самоядь* с названием тундровых энцев *somatu* (см. этимологию в разделе об энцах) – как по фонетическим, так и по историко-географическим соображениям. Возможно, существование на северо-востоке Восточной Европы и на севере Западной Сибири этниконов *\*sāmē-ēngm* и *somatu* способствовало перенесению на туземное население созвучного с ними церк.-слав. *самоядь* “людоеды”, но выводить старое русское название ненцев из этих этниконов нельзя.

Восточные (от п-ва Ямал и восточнее) ненцы фигурируют в русских документах XVII-XIX веков также под именем *юраки*, откуда их (и часто – ненцев вообще) западноевропейские названия типа нем. *Jurak-Samojeden*. Рус. *юраки* содержит в себе суффикс *-ак*, а его основа является заимствованием из обско-угорских (скорее всего – хантыйского) языков: манс. (С) *jārén* “ненец”, (Пел.) *ōrén*, (Кон.) *jōryén / joryén* “тж”, хант. (С) *jörn-* “ненец, ненецкий”, (Вах) *jāryan-*, (Вас.) *jārkan-*, (Ю) *jārən* “тж”. Из обско-угорских же языков заимствовано коми название ненцев *jaran*. Дальнейшая этимология этого слова остаётся тёмной. Обращает, однако, на себя внимание близость реконструируемой мансийской праформы *\*joryen* (при этом следует



предполагать метатезу в кондинском диалекте мансийского и заимствование формы типа манс. (Конд.) *joryën* в хантыйский – иначе было бы трудно объяснить редуцированный гласный в хантыйском слове при долгом в большинстве мансийских диалектов) к коми названию обских угров \**jegra* (< общеперм. \**jōgra*, см. разделы о манси и хантах). Не исключено, таким образом, что обско-угорское название ненцев происходит от названия древнего населения крайнего северо-востока Европы и севера Западной Сибири – летописной *Югры*.

Помимо *Самояди* и *Югры* в русских источниках XI-XV веков на северо-востоке упоминается *Печера* (в рассказе Гюраты Роговича 1096 года они размещены в следующем порядке – очевидно, с (юго-)запада на (северо-) восток – *Печера, Югра, Самоядь*). Этническая принадлежность этой группы остаётся неясной. Относительно этимологии слова *Печера* имеется две заслуживающие внимания гипотезы. Согласно первой из них (М.Фасмер), оно происходит от названия реки *Печоры* (др.-рус. *Печера*), которое, в свою очередь, является чисто русским по происхождению и связано с др.-рус. *печера* “пещера” – в нижнем течении Печоры действительно много пещер. Согласно второй версии (Л.В.Хомич), первичным является название некоего народа *печера*, по имени которого названа река, и которое происходит от ненецкого *pē-ter* “горные жители” (нен. *pē* – букв. “камень”, употребляется в названиях Уральских гор, горной гряды на п-ве Канин, реки Чёрная в Большеземельской тундре и др.). Нен. *pē-ter* действительно применялось как название ненецких групп, живущих на сибирской стороне Полярного Урала и в Нижнем Приобье (отсюда - название ненцев Полярного Урала в русских источниках “каменные самоеды”, с XV века – в противоположность “низовым самоедам”, жившим в тундрах правобережья Нижней Оби и восточнее). Если вторая из этих гипотез верна, то под летописной *Печерой* может скрываться какая-то группа ненцев, населявшая предгорья Урала или отроги Тиманского кряжа, и о присутствии в бассейне Печоры ненцев уже в XI веке говорит ненецкое происхождение названия жившего здесь народа. Если же такое предположение неверно, то наличие в русских памятниках XI-XV веков на крайнем северо-востоке Европы двух народов неизвестной этноязыковой принадлежности – *Печеры* и *Югры* – оставляет мало места ненцам, и уверенность некоторых исследователей относительно локализации *Самояди* XI века (жившей, согласно недвусмысленным данным русских источников, за *Печерой* и *Югрой*, то есть – далее на восток и/или на север) к западу от Урала и, следовательно, вывод о проникновении предков ненцев на север Восточной Европы уже в самом начале II тысячелетия н.э. оказываются довольно спорными.

Первые контакты ненцев с русскими в XI-XIV веках сменяются постепенным подчинением их власти последних – в особенности с XV века, когда новгородские земли, в том числе и Север, перешли под управление Москвы. В 1499 году в нижнем течении Печоры был основан Пустозерск (рядом с современным городом Нарьян-Мар) – опорный пункт Российского

государства на крайнем северо-востоке Европы. Документы XVI века уже называют *канинских, тиманских, пустозерских самоедов* – видимо, следует с уверенностью говорить о ненецком присутствии в тундре и лесотундре Восточной Европы от Урала до п-ва Канин лишь с этого времени.

В конце XVI века помимо Пустозерска, куда съезжалось зимой для торговли и уплаты ясака до двух тысяч ненцев, на Европейском Севере основываются русскими новые поселения: Мезень на одноименной реке, Усть-Цильма и Ижма в среднем течении Печоры, к которым и приписывается для уплаты ясака большинство европейских ненцев. В течение XVII века нарастает приток на северные земли русских и (в бассейне Печоры, прежде всего – Усть-Цильма) коми, что, наряду с ужесточением ясачного обложения, приводит к конфликтам с ненцами, которые зимой 1662 / 1663 гг. сожгли Пустозерск.

Военная активность ненцев, однако, нарастает в XVII веке не только на северо-востоке Европы, но и в Западной Сибири; по-видимому, именно в этот период ненцы “берут реванш” в войнах с продвинувшимися ранее в низовья Оби обскими уграми (в составе тундровых ненцев образуются роды, ведущие свое происхождение от хантов) и начинают свою экспансию в зоне тундры на восток, на земли энцев (см. ниже). Это обстоятельство объясняется, помимо усиливающегося давления на ненцев с запада, важным сдвигом в системе хозяйственно жизни тундровых ненцев.

По-видимому, примерно до XVI-XVII века в основном экономический уклад их был подобен сохранявшемуся вплоть до XX века укладу других северных самодийцев, энцев и нганасан, то есть – основой хозяйства было рыболовство и охота, в особенности – охота на дикого северного оленя с использованием его сезонных миграций. Оленеводство должно было быть известно предкам ненцев ещё с общесамодийской эпохи, как об этом свидетельствует реконструированная лексика самодийского праязыка, однако до XVI века имело чисто транспортное и вспомогательное (олени-маншики и т.п.) значение, жизнь людей не зависела от численности и передвижений домашнего стада. В XVI-XVII веках вследствие русской колонизации, усиливающегося потока русских и коми переселенцев, распространения огнестрельного оружия, развития рыночных отношений и ростом ясачного обложения происходит резкая интенсификация традиционной охоты, быстро приведшая к сокращению поголовья дикого северного оленя. Традиционные способы облавной и загонной охоты становятся на севере Восточной Европы, на Полярном Урале, а несколько позже – и на севере Западной Сибири малопродуктивными и приходят в упадок. С другой стороны, вследствие необходимости платить ясак и развития пушной торговли и развивается пушной промысел, связанный с необходимостью облавливания больших территорий, что повысило роль транспортного оленеводства.

В этих условиях ненцы европейских и урало-обских тундр перешли в XVI-XVII веках к крупнотабунному оленеводству и связанному с ним кочевому образу жизни (наилучшим образом данная гипотеза обоснована в

работах А.В.Головнёва). Резкий рост стадного поголовья оленей, связанный с этим (для нормального воспроизводства стада и поддержания экономического минимума одного хозяйства требовалось 400 и более голов оленей – для сравнения укажу, что стада европейских ненцев в XVI веке, по данным русских документов, не превышали 100 голов), привёл к активным поискам новых пастбищ, а высокая подвижность и относительная независимость от природных условий обеспечили явное превосходство тундровых ненцев над другими народами, сохранявшими более архаичный уклад.

Первоначальный импульс ненецкого движения в тундре был направлен на восток – с Полярного Урала и низовьев Оби на Гыдан, на Таз и далее к Енисею. Ещё в начале XVII века на Гыдане и в нижнем течении Таза ненцев, по-видимому, не было, эти территории были населены “хантайскими”, “тазовскими”, “худосейскими” самоедами, платившими ясак в Мангазее (см. ниже), в которых исследователи видят предков энцев (Б.О.Долгих, В.И.Васильев). Ненцы (“каменные” и “обдорские” самоеды) платили в это время ясак в Обдорске (см. ниже), их появление в качестве ясачных плательщиков в низовьях Таза и восточнее начинает фиксироваться с 30-х годов XVII века. Именно в связи с движением ненцев на восток в русских документах начинает часто использоваться термин *юраки* (см. выше). В XVIII веке на крайнем востоке ненецкой территории, в левобережье Нижнего Енисея, Г.Ф.Миллером был зафиксирован особый диалект ненецкого языка, названный “юрацким” (ныне исчез), который по ряду черт представлял собой переходный от тундрового ненецкого к энецкому языку диалект (по оценке Е.А.Хелимского). Возможно, он являлся последним остатком существовавшей до ненецкой экспансии цепи переходных диалектов, соединявших северосамодийские языки. Впрочем, в низовьях Таза и на Гыдане имело место и простое включение энцев и целых энецких групп в состав ненецких родов (при этом потомки этих энцев ещё до недавнего времени называли себя *ненцами*, а остальных ненцев – *юраками*).

Постепенно в течение XVII-XVIII веков ненцы оттеснили энцев до Енисея. Решающее столкновение произошло (по реконструкции В.И.Васильева) зимой 1849/1850 гг. на озере Туручедо, расположенном в низовьях Енисея на правом берегу реки. Судя по преданиям, на стороне энцев в сражении участвовали помимо их самих нганасаны и тунгусы (эвенки). В оценке итогов битвы энецкие и ненецкие предания расходятся, ясно лишь, что после неё установилась сохраняющаяся до сего дня граница между энецкими и ненецкими землями по Енисею. Впрочем, это не мешало в дальнейшем ненцам совершать военные экспедиции на восток, на нганасанские и на кетские земли.

Освоение кочевыми ненцами-оленьводами тундры было направлено не только на восток, они проникают в северные тундры Ямала, Гыдана, Полярного Урала, в XIX веке тундровые ненцы продвинулись и на острова Колгуев, Вайгач, Малую Землю. Там они столкнулись с местным населением,

обитавшим на Крайнем Севере, как можно судить по археологическим данным, издревле. Основными занятиями этих аборигенов Арктики были речное рыболовство, охота и промысел морского зверя. Некоторые сведения о культуре этого населения – обитателей побережья Баренцева моря, полуострова Ямал и островов Вайгач, Малая Земля и др. – оставили западноевропейские путешественники XVI-XVII веков: Стивен Бэрроу, Ян Г. ван Линсхотен, в особенности – Пьер-Мартин де Ламартиньер (сер. XVII века). Наиболее интересны в их сообщениях описания землянок с перекрытиями из китовых костей, сопоставимых с жилищами коряков, ительменов и эскимосов и с обнаруженными археологами остатками жилищ аборигенов п-ва Ямал, и каркасных обтянутых кожей лодок типа эскимосских каяков. В ненецком фольклоре аборигены Арктики называются *сихиртя* (нен. *šiyirtā*) и описываются как люди невысокого роста, говорящие на особом языке, но понимающие и по-ненецки, жившие в землянках, не имеющие оленей, с которыми ненцы вели меновую торговлю, вступали порою в брак, порою – сражались. В конце концов все *сихиртя* “ушли под землю”, хотя некоторые ненецкие семьи и роды вели от них свою родословную. Судя по археологическим находкам (прежде всего – раскопки В.Н.Чернецова на п-ве Ямал) и по данным ненецкого фольклора, ассимиляция *сихиртя* ненцами завершилась в некоторых районах (в частности – на Ямале) лишь в XIX веке.

Относительно этнической и языковой принадлежности *сихиртя* каких-либо надёжных данных нет (кроме указаний ненецкого фольклора на отличие их языка от ненецкого). В российской этнографии (В.Н.Чернецов, В.И.Васильев, Ю.Б.Симченко и др.) принято видеть в них остаток древнейшего населения арктической и субарктической зоны Евразии (или, по крайней мере, Западной и Средней Сибири), в языковом отношении принадлежащего к уральской языковой семье в широком смысле (“парауральцы”). Предполагается при этом участие арктических аборигенов в генезисе не только ненцев, но и северных самодийцев вообще.

В нижнем течении Печоры ненцы с конца XV века сталкиваются с коми, и русские документы XVI-XVIII веков отражают борьбу европейских ненцев за свои земельные угодья на Печоре. Уже в XVII веке нижнепечорские (ижемские) коми заимствовали у ненцев домашнее оленеводство. В XIX веке, после подавления воинственных выступлений ненцев и в связи со сложением капиталистического рынка начинается экспансия коми-ижемцев в тундру – сначала торговая, а затем и оленеводческая. В течение нескольких десятилетий к концу XIX века коми-ижемские оленеводы закрепились в Большеземельской тундре, при этом их оленеводство носило чётко выраженный товарный характер и превосходило ненецкое по экономической эффективности. Это, естественно, приводило к тому, что часто ненцы оказывались пастухами у ижемских богатых оленеводов, перенимали образ жизни и язык коми, возникали смешанные браки (обычай брать в жёны коми-ижемок был распространён даже у канинских ненцев, благодаря чему языком внутрисемейного общения у них в первой половине XX века стал язык коми).

В результате этого в середине XIX века здесь сложилась особая этнографическая группа *колвинских ненцев* (по названию реки Колвы и одноимённого села), которые говорят на особом диалекте коми языка, но ведут своё происхождение от ненцев, сохраняют в основном ненецкую традиционную культуру и называют себя *kólva jaran* – “колвинские ненцы” (на языке коми). Часть колвинских ненцев в конце XIX века перешла даже на оседлый образ жизни, полностью переняв коми-ижемские традиции материальной культуры и хозяйства.

В 1887 году четыре коми-ижемских семьи со своими стадами, спасаясь от эпизоотии, перешли по льду из Большеземельской тундры на Кольский полуостров. Затем, в 90-х годах XIX века к ним присоединились другие коми-ижемцы. Вместе с коми на Кольский полуостров переселились и их пастухи-ненцы.

Бурные события XVII-XIX веков, происходившие в тундре от полуострова Канина до Енисея, почти не коснулись лишь одной группы ненцев – *лесных ненцев* (нен. (Л) *rák?*, (Т) *rán xāsawa?* – см. выше), живущих в западносибирской тайге верховьев рек Пур, Надым, Полуй и Казым, на озере Нум-Тор. Вплоть до XX века они сохранили старый хозяйственный уклад, основой которого была охота, в том числе – и на дикого северного оленя, и заборное и неводное (последнее, очевидно, после знакомства с русскими фабричного производства сетями) рыболовство. Оленеводство не было крупнотабунным, в связи с чем были возможны, например, такие немислимые для тундровых ненцев способы выпаса как окуривание стада дымом от мошкеры; сезонные кочевья подчинялись скорее ритму охотничье-рыболовческой жизни, чем нуждам оленеводства. В целом хозяйство лесных ненцев носило вплоть до XX века в основном натуральный характер, что обусловило их значительную замкнутость, скрытность и изолированность от внешних воздействий, в отличие от их активных и подвижных тундровых соплеменников. Благодаря этому лесное наречие ненецкого языка значительно отличается от тундрового и сохраняет некоторые архаичные черты.

В русских документах лесные ненцы известны с XVII века под именем *кунных* (до начала XVIII века) или *казымских самоедов* (употреблялось до XX века). На протяжении XVII-XX веков ареал расселения лесных ненцев изменялся незначительно (они проникли в верховья реки Аган, отдельные группы, возможно, выходили в тундру, продвигались на восток, в бассейн Таза, к Енисею). Едва ли их численность когда-либо превышала 10% общей численности ненцев. В настоящее время она составляет оценочно около 2 тыс. человек.

Уже с XVI века, после покорения Западной Сибири Ермаком (см. разделы о коми, манси и хантах), русская колонизация охватывает и земли сибирских тундровых ненцев. Опорным её пунктом становится здесь Обдорск, основанный в конце XVI века, к которому приписывают для сбора ясака тундровых ненцев Полярного Урала, Нижней Оби, Ямала, а затем и

низовьев Надыма, Пура, Таза – *обдорских самоедов*. Отдельно учитывали ненцев, живших в бассейнах притоков Оби рек Сыня и Ляпин, и приписанных к Войкарскому городку, стоявшему на Оби в ста верстах выше Обдорска – *войкарских самоедов*.

Однако кочевое оленеводство обеспечивало экономическую самостоятельность, важную в военном и политическом отношении подвижность и высокий уровень самосознания тундровых ненцев, что даже после установления номинального русского владычества позволило им сохранять относительную самостоятельность. Это обстоятельство очень чётко обозначилось в начале XVIII века, когда началась массовая христианизация населения Западной Сибири: ненцы (вместе с обдорскими хантами-оленеводами) не только сами не принимали новую веру, но и жестоко преследовали новокрещённых хантов и манси на Нижней Оби, Ляпине, Куновате, Казыме. Независимость ненцев, их стремление полностью избавиться от иноземного господства безусловно нашли отражение и в повстанческом движении обдорских ненцев и хантов под руководством Ваули Пиеттомнина в 1839-1841 гг., хотя немаловажное значение здесь имели, видимо, и социальные, и личные мотивы.

К концу XIX века, как бы то ни было, между тундровыми ненцами и русскими властями установилось относительное равновесие, чему в немалой степени способствовало то обстоятельство, что национальная политика Российского государства по крайней мере не противоречила интересам социальной верхушки ненецкого общества, а постепенное развитие капиталистических товарных отношений делало своё дело и в тундре. Переписью 1897 года было зафиксировано более 6 тыс. европейских тундровых ненцев, около 5 тыс. сибирских тундровых и около 0,5 тыс. сибирских лесных. В.И.Васильев обоснованно считал эти цифры неполными. Общая численность ненцев в конце XIX века может, таким образом, быть оценена в не менее чем 12 тыс. человек. По советской переписи 1926 года их было 17 тысяч.

Установление советской власти и первые советские годы не сильно сказались на жизни ненцев. В 1929-1931 годах в ходе создания национально-территориальных административных единиц (национальных округов) ненецкие земли оказались разделёнными на три части: были образованы Ненецкий (с центром в Нарьян-Маре), Ямало-Ненецкий (Салехард) и Долгано-Ненецкий (Дудинка) национальные округа. Кроме того, часть европейских ненцев оказалась отнесённой к Коми республике, а часть сибирских лесных ненцев – к Ханты-Мансийскому национальному округу. Начавшиеся в тридцатых годах преобразования (коллективизация, “раскулачивание”, “культурная революция”, означавшая для туземцев Севера прежде всего насильственное отнятие детей от родителей и помещение их в интернаты) не могли не привести к протесту, наиболее яркими проявлениями которого стали восстание на Казыме в 1931-1934 годах, в котором вместе с хантами принимали участие и лесные ненцы (см. раздел о хантах), и восстание ненцев Ямала (“мандалада” –

нен. *māndālāḥa* “сборище, бунт”) в 1934 году. Открытые выступления ненцев продолжались на протяжении всех 30-х годов, последняя “мандалада” была спровоцирована органами ОГПУ в 1943 году. Несмотря на жестокое подавление выступлений, уничтожение наиболее активных представителей народа, советские “преобразования” имели в тундре лишь внешний успех, ненцам удавалось в достаточной степени сохранять традиционный уклад, культуру и язык. Сохранению языка, безусловно, способствовало и то обстоятельство, что с 1930-х годов была создана ненецкая письменность и постепенно введена единая языковая норма для тундрового наречия, что, в свою очередь, было обеспечено близостью ненецких говоров от Канина до Таймыра.

Только в 80-90-е годы XX века у ненцев начинает ощущаться нарастание негативных тенденций утери культурных традиций и языка – прежде всего, в связи с “успехами” организации интернатского образования (см. выше, также – в разделе о хантах) и с продвижением в ненецкие тундры нефте- и газодобычи. Тем не менее, сегодня ненцы остаются самым многочисленным из малых народов Сибири (в 1989 году в России их было 34,2 тыс. человек) с практически самым высоким уровнем знания своего языка (26,5 тысяч – около 78 % – ненцев назвали ненецкий язык родным в 1989 году).

## Энцы

Название *энцы* практически искусственно внедрено российским этнографом Г.Н.Прокофьевым в 30-е гг. XX века и образовано от второй части эн. (Т.) *onej eneŋʔ* – букв. “настоящие люди”, как тундровые энцы иногда называют себя и своих соседей – авамских нганасан, близких по культуре и нередко вступающих с ними в браки (данное энецкое выражение соответствует самоназваниям тундровых ненцев и нганасан – см.). Реальным самоназванием тундровых энцев служило слово *somatu*, с влиянием которого, возможно, связано распространение церк.-сл. *самоедь* “людоеды” на самодийское население европейского Северо-Востока и севера Западной Сибири (см. раздел о ненцах). По-видимому, наиболее надёжная этимология эн. *somatu* предложена Е.А.Хелимским: это слово является заимствованным из нганасанского языка: нган. *səmatu* – название тундровых энцев, которое представляет собой, в свою очередь, перевод на нганасанский язык названия энецкого рода *soeta* – букв. “имеющий шапку” (и эн. *soeta* и нган. *səmatu* происходят от ПСам. *\*səm(ə)ttā* “имеющий шапку” – деривата ПСам. *\*səmā* “шапка”). В русских источниках тундровые энцы были известны в основном как *хантайские самоеды*.

Вторая группа энцев – лесные называют себя (также называют их и тундровые энцы) *pe-baĕ* – “лесные *baĕ*”, по названию крупного рода *Бай*

(эн. *baē*), а своих тундровых родичей *Сомату* – *тади* “свойственники, родня по жене”. В литературе названия *Мад(д)у / Сомату* и *Бай* иногда применяются для обозначения соответственно тундровых и лесных энцев и их наречий. Родовое имя *baē* у энцев является заимствованным из эвенкийского языка: ещё в XVII веке в районе Тазовского и Мангазейского зимовий (см. ниже) обитал эвенкийский род *baja(gir)*, название которого и дало эн. *baē*. В русских источниках XVII-XIX веков лесных энцев называли *карасинскими* или *худосейскими самоедами*.

Первые контакты русских (и коми) с энцами имели место, вероятно, ещё с середины XVI века, когда русские промысловики и землепроходцы осваивали северный путь с Печоры на низовья Енисея. Форпостами их на энецких землях стали городки Мангазея в низовьях р. Таз (в 1600 г. здесь уже строятся деревянные укрепления) и Туруханск в устье р. Турухан (левый приток Нижнего Енисея, городок построен в 1609 г.). Название *Мангазея* происходит от нен. *monganzi* – ненецкого названия энецкого рода *Музгади*, эн. *mogađi* (< эн. *moga* “лес” – ср. нен. *monga* “низина в излучине реки”, откуда нен. *monganzi* < ПСам. *\*monkâ* “лесистая местность, лес”) – это свидетельствует о присутствии в низовьях Таза не только энцев, но и ненцев уже в середине XVI века. В первые десятилетия XVII века тундровые энцы вносили ясак в Мангазее и потому назывались в русских документах *мангазейской самоедью*, а лесные энцы – в Туруханске (*туруханская самоедь*). С 1620 года они фигурируют уже под употребляемыми выше названиями – *хантайские* и *худосейские самоеды* (встречается также название *тазовская самоедь* – для части лесных энцев и др.). Эти имена образованы от названий рек и/или зимовий, в которые вносила ясак та или иная группа.

Таким образом, территория расселения энцев в начале XVII века (данные Б.О.Долгих) была довольно обширна и охватывала бассейны рек Таза в его нижнем и среднем течении (включая хотя бы отчасти его правый приток реку Худосей) и Турухана на юге (лесные энцы). На севере тундровые энцы жили, по-видимому, вплоть до Енисейской губы, причём отчасти – и на правобережье Енисея (в районе устьев рек Курейки и Нижней Тунгуски). На юге их соседями были селькупы (*нарымские* и *сургутские остяки, остяко-самоеды*) и кеты (*инбацкие, енисейские остяки*), на востоке и юго-востоке – эвенки (*тунгусы*), на западе – лесные ненцы (*казымские самоеды*), на северо-западе – тундровые ненцы (*низовые, обдорские самоеды, юраки*), на северо-востоке – нганасаны (*пясидская самоедь, тавгийцы*).

Общая численность энцев в начале XVII века (оценка Б.О.Долгих) несколько превышала 3 тыс. человек, то есть это был довольно-таки крупный по масштабам севера Западной Сибири народ. В 1630-1631 годах вследствие эпидемии оспы численность энцев значительно сократилась, по-видимому, вымерли целые роды. Вторая половина XVII века и XVIII век были периодом непрерывных военных столкновений и вытеснения энцев с большей части их исконных территорий вследствие сдвигов населения, вызванных русской



колонизацией Западной Сибири (см. разделы о хантах, ненцах, селькупях). С юга в бассейны рек Таз и Турухан продвинулись селькупы, вытесненные хантами из Сургутского Приобья, с запада в зоне тундры освоившие кочевое крупнотабунное оленеводство ненцы (*юраки*) постепенно захватывают территории от Обской Губы до Енисея, с юго-востока энциам приходится сдерживать давление кетов и эвенков.

Несмотря на стойкое сопротивление, в большинстве случаев энци проигрывали в войнах: например, временный успех вождя энецкого рода *Муггади* по имени *Ледерей* в 1649-1653 годах в борьбе с селькупам на р.Таз закончился в 1654 году гибелью его и мужчин его стойбища и пленением женщин и детей; к концу XVII века селькупы уже закрепились в бассейне верхнего и среднего Таза. По-видимому, поражения энцев в этих столкновениях объяснялись помимо численного превосходства их соседей также тем, что последние обладали более прогрессивной военной организацией и техникой (прежде всего – селькупы, имевшие опыт войн с хантами и сибирскими татарами). Третьей причиной победы пришельцев были более прогрессивные экономические уклады, прежде всего – крупнотабунное кочевое оленеводство ненцев. У энцев же сохранялась старая система хозяйства (см. раздел о ненцах), основанная на охоте (главный объект – дикий северный олень) и рыболовстве при вспомогательном значении оленеводства – и связанные с ней формы социальной организации, более архаичные способы ведения войны и т.д..

В ходе столкновений второй половины XVII века – XVIII века часть энцев отступила на север и северо-восток, часть их вошла в состав нгансан (см.), селькупов (селькупы Чекурмины ещё в 1930-е годы помнили о своём происхождении от энцев-*Муггади*), часть – в состав восточных тундровых (тазовских) ненцев (роды *Салерта*, *Чор*, *Парабы* и *Нгаседа*, упоминающиеся в русских источниках с конца XVII века). Окончательное исчезновение термина *самоеды* в качестве названия ясачных плательщиков в нижнем течении Таза и замена его термином *юраки*, что означает, видимо, полную ассимиляцию и вытеснение энцев ненцами в тазовских тундрах, происходит в 1820-х годах. В сер. XVIII века на левобережье Нижнего Енисея сложилась группировка *береговых юраков*, состоявшая из осколков энецких родов, переселившихся на север и восток, в рамках которой эти группы постепенно ассимилировались ненцами (вероятно, ассимиляция происходила одновременно с усвоением кочевого оленеводства ненецкого типа в качестве основного занятия).

Продвижение ненцев на восток – несмотря на попытки русской администрации установить твёрдые границы между ненцами и энциами в 1822 году – не закончилось с покорением тазовских тундр. В 1830-40-х годах на левобережье Нижнего Енисея фиксируется приток *обдорских юраков* – ненцев с низовьев Оби (не исключено, что это связано с движением Ваули Пиеттомина и его подавлением – см. раздел о ненцах), и конфликты из-за контроля над енисейскими землями обостряются. Их высшей точкой стало сражение у озера Туручедо в лесотундре на правом берегу Енисея зимой 1849 /

1850 годов (по реконструкции В.И.Васильева). Энецкие и ненецкие предания, близкие в описании обстоятельств сражения, расходятся в оценке его исхода. Следует, однако, думать, что коалиции энцев, нганасан и эвенков удалось если не одержать победу над ненцами, то, по крайней мере, нанести им столь большой урон, что это остановило дальнейшее продвижение последних на восток. Таким образом, в середине XIX века сложилась близкая к современности территория расселения энцев в основном на правом берегу устья Енисея и Енисейского залива (примерно от реки Дудинки на юге до низовьев реки Пуры на севере). При этом консолидация различных энецких групп едва ли была более значительна, чем давно установившиеся связи (в том числе – брачные) энецких родов с нганасанами и ненцами, отражавшиеся, в частности, в знании и активном использовании энцами языков соседей. Такая ситуация, естественно, приводила к дальнейшей ассимиляции энцев.

По переписи 1926 года энцев было 376 человек. Малочисленность народа и сильные различия между тундровым и лесным наречиями обусловили отсутствие какой-либо работы по созданию письменности и внедрению энецкого языка в образование в советское время. С конца 20-х годов численность энцев даже не учитывалась при переписях населения. Медленная ассимиляция энцев продолжалась и в XX веке. По переписи 1989 года энцев было 198 человек, лишь 92 из них назвали энецкий язык в качестве родного.

## Нганасаны

Название *нганасаны* образовано от нган. *ɲanaʔsanəʔ* “люди” (мн.ч.), которое иногда употребляется в качестве самоназвания в форме *ɲano ɲanaʔsanəʔ* “настоящие люди”, этимологически соответствующей самоназваниям ненцев и энцев (см.). Важно при этом, что название *ɲano ɲanaʔsanəʔ* нганасаны употребляли не только в отношении самих себя, но и в отношении тундровых энцев-*Сомату* – точно так же, как последние применяли этимологически идентичное эн. (Т.) *onej enetʔ* “настоящие люди” по отношению к себе и к *авамским* (западным – см. ниже) нганасанам. Данное обстоятельство, безусловно, свидетельствует о близости этих двух групп. Б.О.Долгих не без основания полагал, что термин “настоящие люди” в нганасанско-энецкой среде применялся к группам, характерной особенностью одежды которых был особый “султан” на капюшоне сокуя. Не исключено, что энецко-нганасанская этимология для самоназвания энцев-*Сомату* “имеющий шапку” (см. раздел об энцах) связана с “шапкой” (капюшоном) особой формы, имеющей “султан” и служившей этнодифференцирующим элементом костюма самодийцев енисейско-таймырских тундр. Говоря по-русски авамские нганасаны называли себя и в особенности – тундровых энцев-*Сомату самоедами*, точнее – диалектными

вариантами этого слова: *самодин* (ед.ч.) и *самоди* (множ.ч.), от которых в 30-х годах XX века в русской научной литературе было образовано слово *самодийцы* (см. раздел о ненцах).

Чаще, однако, нганасаны (прежде всего – западные, авамские) называют себя *на* – букв. “товарищ” (ср. нен. *на* “брат”). Распространено также в качестве самоназвания территориально-племенных групп слово *тэи-цэра* “население (букв. – “наполнение, содержимое”) земли” с определениями типа *аватэ тэи-цэра* “авамские нганасаны”, *вадэи тэи-цэра* “вадеевские нганасаны”. *Вадеевские* (восточные) нганасаны называют себя также *аса*, что буквально означает по-нганасански “тунгус (эвенк), долганин” (ср. также эн. *оша* “тунгус”), в этом самоназвании отражено происхождение восточной группы нганасан (см. ниже). Авамские нганасаны называли вадеевских также *нйле-цэра* “низовые (букв. – “население низа”)", то есть – живущие на северо-востоке.

Ненцы называют нгансан *тауис?* (множ.ч.), энцы – *тауфу?* (множ.ч.). О возможном тунгусском происхождении этого названия см. ниже. От ненецкого прилагательного *тауји* “нганасанский” происходит старое русское название нганасан *тавги*, *тавгийцы*, попавшее в другие европейские языки (нем. *Tawgy-Samojeden* и т.д.). Название *тавги* встречается в русских документах впервые лишь в 1627 году. Русские, встретившиеся с нганасанами ещё в начале XVII века, первоначально называли их (с 1614 года) *пясидскими самоедами* – по названию реки Пясины.

К середине XVII века русская власть на Таймыре закрепляется и по данным документов устанавливается довольно ясная картина расселения предков нганасан (по Б.О.Долгих): на крайнем западе Таймыра, к северо-востоку от энецкой территории обитали *кураки*, южнее их, в районе оз.Пясино и в верховьях реки Авам – *тидирисы*, в центре Таймыра – *пясидские самоеды*, на востоке полуострова, к югу от оз. Таймыр, в бассейне Хеты и Хатанги – *хетские тавги*, ещё восточнее – от низовьев Хатанги до устья р.Анабар – *анабарские тавги*. Судя по некоторым данным документов (упоминание “самоедского языка” и т.д.), названиям родов и личным именам, все эти группы представляли собой к данному времени самоедоязычное население. Однако если в *кураках* и *пясидских самоедах* можно видеть старые самодийские родо-племенные группировки, близкие тундровым энцам, то *тидирисы* (возможно, от эн. (Т.) *tidero-oša* “родственники по матери – тунгусы”) и *тавги* (наиболее вероятна связь с тунгусским корнем *\*daw(a)*- “та (противоположная) сторона реки” – ср. эвен. *dawapkī* (направительный падеж) “на ту сторону реки”) скорее всего представляли собой лишь недавно перешедшие на самодийскую речь небольшие группы тунгусов (с этим согласуются и данные нганасанских генеалогических преданий). На основе перечисленных выше групп во второй половине XVII – XVIII веке сложилось племя западных, *авамских нганасан*, район кочевий которых в XIX веке охватывал территории от рек Агапы и Пуры на западе

Таймыра до истоков реки Дудыпты и устья реки Таймыры в центре полуострова.

В середине XVII века русскими документами зафиксировано присутствие по соседству с предками авамских нганасан – на юге от *тавгов*, в бассейне реки Катуй и в верховьях правых притоков Хеты тунгусского племени *ванядырей* (*ванядов*) (с 1625 года). В 1639-1661 годах они нередко упоминаются в связи с их войнами с обитавшими восточнее, в бассейне Оленёка, тунгусами; вместе с *ванядырями* в эти походы ходили и русские стрельцы Есейского зимовья (у оз.Есей в верховьях р.Катуй). Однако в 1683 году союз *ванядырей* с русскими стрельцами по причине лихоимства и издевательств последних был нарушен, и тунгусы перебили весь гарнизон зимовья (12 человек). Естественно, последовали ответные меры и новые столкновения, продолжавшиеся и в первые годы XVIII века. Спасаясь от преследования, часть *ванядырей* ушла на восток, на Оленёк, где слилась впоследствии с якутами (род *Маят*), а часть – в таймырские тундры, где смешалась с *тавгами* и перешла на нганасанский язык, позднее к ним, возможно, присоединялись и другие небольшие тунгусские группы. Так в течение XVIII века образовалось племя восточных, *вадеевских нганасан*. Территория их кочевий включала в себя восточный Таймыр, от оз.Таймыр на севере до правобережья рек Хеты и Хатанги на юге.

Вхождением в состав нганасан тунгусов-*ванядырей* не исчерпывается участие в их генезисе иноязычных компонентов: в середине XIX века к нганасанам присоединился богатый долган Око с семейством, по имени которого стал называться вновь образовавшийся нганасанский род, не входивший ни в одно из двух племён – род *Око* (фамилия Яроцкие).

В 1824 году енисейский губернатор А.П.Степанов провёл реформу учёта инородческого населения, которая официально закрепила сложившуюся к началу XIX века и сохраняющуюся практически по сегодняшней день структуру нганасанского этноса – его подразделение на два племени, авамских и вадеевских нганасан (соответственно – “*авамский самоедский*” и “*вадеевский самоедский*” “роды”). Предпринимавшиеся в течение XIX века не слишком интенсивные попытки крещения нганасан результата не имели: практически все они остались даже формально некрещёнными. Это обстоятельство способствовало хорошему сохранению у нганасан шаманизма и нешаманских комплексов традиционного мировоззрения.

В 30-е годы XIX века нганасан, равно как и другие народы Таймыра, постигло тяжкое бедствие – эпидемия оспы. По оценкам исследователей (Б.О.Долгих, Ю.Б.Симченко) численность их в это время уменьшилась в два раза. По переписи 1898 года численность нганасан несколько превышала 800 человек. Перепись 1926 года зафиксировала 867 нганасан. Советские преобразования в 20-40-х годах XX века задели нганасан достаточно слабо, не было предпринято и попыток создания письменности: Таймыр оставался слишком отдалённой окраиной советской империи. Благодаря этому обстоятельству у нганасан практически до 50-х годов XX века сохранилась

традиционная духовная и материальная культура и архаичный хозяйственный уклад, основанный прежде всего на охоте на дикого северного оленя при вспомогательном значении оленеводства. Лишь в начале 1960-х годов по их традиционному образу жизни был нанесён тяжёлый удар: в ходе кампании по переводу кочевого населения на оседлость большая часть нганасан (за исключением двух десятков семей, продолжавших жить в тундре) была сселена в посёлки, расположенные к тому же не на нганасанской, а на долганской этнической территории и, соответственно, многонациональные. Понятно, что сохранение традиционного образа жизни и культуры в этих условиях было невозможно. Уже в начале 70-х годов в связи с переменой образа жизни у этих нганасан исчезли домашние олени, а отсутствие транспорта окончательно отделило их от тундры, вело к росту иждивенчества, алкоголизма, к люмпенизации. Дети, с начала 60-х годов воспитывавшиеся в детских садах и интернатах в основном на русском языке, не говорили по-нганасански или говорили недостаточно хорошо, а в условиях культивировавшегося в нганасанской культуре языкового пуризма, характерного для старшего поколения, недостаточное знание языка практически приравнивалось к полному его незнанию. По переписи 1989 года нганасан зафиксировано 1262 человека, из которых 1052 назвали родным нганасанский язык. Хотя процент назвавших нганасанский язык родным довольно высок, следует иметь в виду, что реальное знание языка младшим поколением недостаточно, и за внешне благополучными цифрами скрывается кризисная ситуация.

## Селькупы

Внешнее название рус. *селькупы* (откуда и применяемые порой в научной литературе названия на западноевропейских языках типа нем. *Selkupan* или *Sölkupen*) применяется с 30-х годов XX века и восходит к самоназванию северных (тазовско-туруханских) селькупов *šōlqur, sōlqur*, представляющему собой сложное слово, в котором вторая часть – *qur* означает “человек”, а первая часть – *šōl-, sōl-*, согласно мнению Н.Г.Прокофьева, является результатом контаминации двух селькупских прилагательных: *sōl* “земляной” (от *sō* “земля, глина”) и *šōl* “лесной” (от *šōt* “тайга, лес вокруг стойбища”). Хотя общего самоназвания у селькупов разных диалектно-территориальных групп нет, все они называют себя аналогичными северноселькупскому именами, означающими “лесной человек”: (кетско-пумпокольские) *süssəqum* – от *sūt* “лес” и *qum* “человек”, (среднеобские, выше Нарыма) *šōšqum*, (южные или верхнеобские и чайские) *sūsōqə(j)qum* – от *\*šōt* “лес” и *\*qum* “человек”, – или “земляной человек”: (нарымские, тымские, васюганские, парабельские) *čūtəlqur*, (чулымские) *lujqum* – от *\*čū* “земля” и *\*qum* “человек”.

До 30-х годов XX века в русскоязычной литературе, а в западноевропейских странах и до сих пор известно другое название селькупов – *остяко-самоеды*, введённое в сер. XIX века финским путешественником и учёным М.А.Кастреном, изысканиями которого было показано, что селькупы в этническом и языковом отношении представляют собой особую общность, при этом по образу жизни и территориально они близки *остякам* (хантам), а язык их родственен не *остяцкому* (хантыйскому), а *самоедскому* (ненецкому) языку. Старое русское название селькупов – *остяки* (с различными определениями типа *нарымские, томские, тазовские* и др.) совпадает с названием хантов (а также – кетов) и восходит, по-видимому, к языку сибирских татар (см. этимологию в разделе о хантах).

Впервые на страницах русских документов селькупы попадают в конце XVI века – под именем *сургутских и нарымских остяков* – основного населения *Пегой Орды*, возглавляемой князем *Воней* и располагавшейся в Сургутском или Нарымском Приобье. По-видимому, Пегая Орда сложилась – как и хантыйские и мансийские княжества – в “богатырскую эпоху”, бурный период XIV-XVI веков, в ходе активной борьбы народов Западной Сибири (прежде всего – южнотаёжной зоны) с татарским Сибирским ханством и между собой, достигшей своего пика с началом русской колонизации Сибири. Пегая Орда и ряд подобных ей военно-политических образований (княжество Бардака в Сургуте, Парабельский союз) объединяла большую часть селькупов на основной территории их обитания, охватывавшей в XVI веке район в Среднем и Верхнем Приобье от рек Аган и Вах на севере до реки Чае и устья реки Томь на юге – и от верхнего течения Кети на востоке до бассейнов Агана и Васюгана на западе.

Исследовательнице этнической истории селькупов Г.И.Пелих на основании данных исторических документов, ономастики и селькупского фольклора удалось реконструировать для XVI века названия и ареалы основных территориально-племенных групп селькупов, которые сохранились – в виде сегодняшних территориальных групп или хотя бы в фольклорной памяти – до нашего времени. По крайней мере четыре из этих групп уже в XVI веке жили в общем на тех же землях, где жили их потомки-селькупы в XIX-XX веках (см. самоназвания разных групп селькупов выше): тымско-нарымские *чумьлькыты* (*чумьльгула* у Г.И.Пелих), кетские *сюсекумы* (*сюсигула*), южные группы – *шешгула*, локализуемые Г.И.Пелих на Оби у устья Чулыма, на Чае, Нюрольке и в верхнем течении Васюгана (ср. среднеобских *шешкумов*) и *тегула*, помещаемые в среднем течении Кети и между её устьем и устьем Чулыма (ср. *чуйкум* или *тойкум*).

Обитая на территории Нарымского Приобья с достаточно древнего времени (этот ареал частично совпадает с самодийской прародиной по Е.А.Хелимскому, а археологически есть все основания видеть предков селькупов в создателях культуры могильника Рёлка VI-VIII веков н.э. на Средней Оби, от которой прослеживается преемственность с кулайской археологической культурой V века до н.э. – V века н.э., очевидно, являющейся

археологическим аналогом самодийской прародине), селькупы находились в тесных контактах с обскими уграми (хантами) на западе, с лесными ненцами и энцами на севере, с сибирскими татарами на юге и с кетами (и другими енисейскими народами) и тунгусами (эвенками) на востоке.

В столкновении двигающихся с запада русских и сибирских татар хана Кучума селькупы Пегой Орды (у Г.И.Пелих – *соргула*, давшие своё имя городу *Сургуту*, *сельгула*, обитавшие в ваховско-васюганскм Приобье – ср. сельк. *sõl-gold* “Обь между Вахом и Васюганом”, – и *чумульгула*, см. выше) приняли сторону последних, и были разгромлены русскими и их союзниками, хантами в конце XVI – начале XVII века (см. раздел о хантах). Это обстоятельство, а также усиливающееся проникновение хантов в Сургутское Приобье после расчленения и фактического уничтожения *Сургутского княжества* (селькупы если и не были основным его населением, должны были составлять значительную его часть) в 1619 году, привели к тому, что селькупы начинают уходить со своих прежних земель по Агану, Ваху, Васюгану и Средней Оби и переселяются на север, в слабозаселённые районы верхнего и среднего течения реки Таз, на реку Турухан и их притоки. Ещё в XIX веке часть селькупского населения бассейна Таза называлась в русских документах “*сургутскими людьми*” или “*сургутскими остяками*” – Г.И.Пелих видит в них потомков селькупов-*соргула*, выходцев из Сургутского Приобья. По-видимому, однако, большую часть этих переселенцев составляли *сельгула*, давшие название северной (тазовско-туруханской) группе селькупов (см. выше).

Русскими документами *остяки* – выходцы из сургутско-нарымского Приобья – фиксируются на реке Таз, на землях *карасинских* и *худосейских самоедов* (лесные энцы) и *кунных самоедов* (лесные ненцы) с середины XVII века, когда селькупам удалось одержать ряд побед в столкновениях с лесными энцами (см. раздел об энцах). Помимо названных селькупских групп в миграции на север принимали участие – судя по ономастике и этнографическим данным – также селькупы с Кети, кеты и отчасти даже восточные ханты. В течение второй половины XVII - первой половины XVIII века селькупы продолжали освоение тазовско-туруханского региона, в ходе которого им пришлось в значительной мере модернизировать свой экономический и бытовой уклад в соответствии с более суровыми, чем на их прародине, природными условиями: прежде всего это связано с усилением значения оленеводства, как таёжного, эвенкийского типа, так и тундрового, заимствованного у энцев и ненцев, и с переходом на более подвижный образ жизни (основным типом жилища становится вместо прежней бревенчатой землянки переносной чум, основным транспортным средством – наряду с традиционной лодкой – нарты). Успех селькупов в военных столкновениях, в освоении нового жизненного уклада, постоянный приток населения с юга привели к тому, что во второй половине XVIII века они становятся доминирующей группой на Тазе и на Турухане, постепенно ассимилируя как прежних жителей этих мест – лесных энцев, так и пришельцев – хантов, кетов, эвенков. Так к началу XIX века формируется крупнейшая на

сегодняшний день диалектно-территориальная группа селькупов – северная или тазовско-туруханская, отделённая от южной группы (см. ниже) клином ваховских хантов, принадлежащая с начала XIX века к иным административным единицам и находившаяся в более тесных сношениях с соседними группами кетов, эвенков, хантов и лесных ненцев, чем со своими южными соплеменниками.

Что касается южной (правильнее – “южной в широком смысле”, так как среди них выделяется собственно южная диалектная общность) группы селькупов, то, как уже было отмечено выше, в её составе с XVI века выделяются тымско-нарымские селькупы (собственно – *чумьлькупы*), кетские (кетско-пумпокольские) селькупы (*сюссекумы*) и обские (сегодня – на Оби выше Нарыма, в районе города Колпашева) селькупы (*шёшкупы*). Такое деление в целом совпадает с диалектным членением селькупского языка, в котором сегодня помимо северного (тазовско-туруханского) диалекта выделяют (Е.А.Хелимский) центральный (тымский и нарымский говоры), кетский и южный (обский) диалекты. Крайне южные группы селькупов, жившие ещё в XVI-XIX веках на р. Чае, Чулыме, на Оби между устьями Чулыма и Томи, составляли, по данным Г.И.Пелих, территориально-племенное объединение *пайгула*, и были ассимилированы томскими татарами и русскими в XIX веке (ещё в 1960-е годы на Чулыме встречались старики, помнившие отдельные селькупские слова). Именно язык этих групп (“крайне южный” диалект селькупского языка, по Е.А.Хелимскому, объединяемый с южным, обским) отражён в первых селькупских книгах, созданных православными миссионерами в конце XIX века.

Хозяйство южных (в широком смысле) селькупов к моменту прихода русских носило охотничье-рыболовческий характер, однако данные археологии и фольклора свидетельствуют о былом знакомстве селькупов с домашним скотоводством и земледелием на юге (Чулым, Чая, Томское Приобье); у обских селькупов ещё в конце XIX века сохранялось оленеводство таёжного типа (близкое более эвенкийскому, чем северно-самодийскому, с использованием оленей как вьючных и верховых животных). С установлением русского господства в Западной Сибири происходит культурно-хозяйственная дифференциация разных групп южных (в широком смысле) селькупов: таёжное население на Тyme, Кети, Парабели, в Нарымском Приобье специализируется на пушной охоте и рыболовстве, а южные группы на Чае, Чулыме, в Томском Приобье осваивают (вероятно – вновь) скотоводство и земледелие, что, наряду с христианизацией, завершившейся в целом для селькупов к концу XVIII века, способствует их ассимиляции русскими и татарами.

Общую численность селькупов в конце XIX века определить трудно (в силу именованья “остяками” как их, так и хантов, значительной степени ассимилированности крайне южных групп и т.д.), по официальным данным (проанализированным Б.О.Долгих), по переписи 1897 года их было 5,8 тыс



человек, однако эта цифра может быть завышенной (при этом число северных селькупов едва ли превышало тысячу человек). Территориальная разобщённость народа и значительные расхождения между отдельными диалектами привели к тому, что говорить о консолидации селькупского народа к концу XIX - началу XX века не приходится – не было даже общего самоназвания для всех селькупских групп, да и внешнее название *остяко-самоеды*, как было отмечено выше, также имеет чисто научное, литературное происхождение. По переписи 1926 года численность селькупов была около 6 тыс. человек: 1,5 тыс. северных и 4,5 тыс. южных, причём на юге шли быстрые ассимиляционные процессы (около 2,5 тыс. южных селькупов считали родным русским языком).

Столь сложное положение селькупского народа даже формально не улучшилось в ходе советских преобразований: селькупы оказались одним из немногих народов СССР, существование которого не было учтено при национально-административном делении страны. Большая часть северных селькупов оказалась разделённой между Ямало-Ненецким автономным округом Тюменской области и Туруханским районом Красноярского края, территории южных селькупов в основном вошли в состав Томской области. Не лучше обстояло дело и с селькупским языком: с 1933 года печаталась литература для начальной школы на тазовском диалекте, однако широкого распространения письменный язык даже у северных селькупов не получил. В начале 1950-х годов довоенный латинский алфавит был заменён кириллическим, что, естественно, не способствовало укреплению письменных традиций, и вскоре выпуск селькупской литературы был прекращён, а преподавание языка свёрнуто. Только в конце 1980-х годов вновь предпринимается попытка внедрения письма (на кириллической основе) и преподавания языка в начальной школе – как для северных, так и для южных (нарымских) селькупов.

По переписи 1989 года численность селькупов была 3,6 тыс. человек, из которых лишь 1,7 тыс. считали родным селькупский язык. При этом в Ямало-Ненецком округе жило 1,5 тыс. селькупов (эта цифра, очевидно, приблизительно отражает численность северных селькупов), из них 1,3 тыс. назвали родным селькупский язык, что даёт основания считать тазовский диалект селькупского языка ещё жизнеспособным. На долю же носителей южных селькупских диалектов сегодня, согласно этим данным, приходится не более четырёх сотен говорящих, и, видимо, ассимиляция южных селькупов зашла уже необратимо далеко.

## Саянские самодийцы

Под этим собирательным названием имеются в виду несколько племён, населявших горную тайгу Саян (в основном – в пределах южной части современного Красноярского края) и говоривших на диалектах двух особых (не обнаруживающих более тесных генетических связей ни между собой, ни с другими самодийскими языками, согласно Е.А.Хелимскому) самодийских языков, которые сегодня полностью исчезли (саянские самодийцы были ассимилированы в основном хакасами, отчасти – тувинцами и западными бурятами, в позднейшее время – русскими):

– *камасинского*, распространённого южнее и юго-восточнее современного г. Красноярска, на северных склонах Саян, в бассейнах правых притоков Енисея, рек Кан и Мана. Говорившие на диалекте камасинского языка *койбалы* образовывали отдельный островок южнее основной массы *камасинцев*, в Саянах, в бассейнах рек Кебеж, Абакан, Туба, Оя, Амыл, Кандат, Шадат. В 1963 году экспедиция Уральского университета под руководством А.К.Матвеева обнаружила в дер. Абалаково стариков, ещё помнивших камасинский язык, последняя из них – Клавдия Захаровна Плотникова умерла в возрасте 94 лет в 1989 году;

– *маторского (маторско-тайгийско-карагасского)*, распространённого от правобережья Енисея в районе современного г. Абакан на западе до верховьев рек Бирюса и Уда на западе современной Иркутской области, в бассейнах рек Тубы, Кизира, Амыла, Ои и др.. На западе очерченной территории обитали *маторы* и *тайгийцы*, на востоке – *карагасы*. По данным М.А.Кастрена, последний человек, говоривший по-маторски, умер в 1839 году.

Сведения о саянских самодийцах имеются в русских документах с XVII века, их языки зафиксированы путешественниками XVIII (П.С.Паллас, Г.Ф.Миллер) и первой половины XIX века (Гр.Спасский, М.А.Кастрен), в начале XX века наиболее значительные материалы по камасинскому языку (в том числе и фольклорные тексты) собрал финский лингвист К.Доннер, в 1960-1970 годах с последними носителями камасинского языка работал эстонский лингвист А.Кюннап.



## Часть II

# Предыстория уральских народов: введение в проблематику уральской прародины

### I. О методологии

Данная работа основана в общем на тех же методологических принципах, что лежат в основе многих других исследований в области уральской<sup>1</sup> *предыстории* (см., напр.: [Hajdú 1964b; Sebestyén 1951; Toivonen 1952] и др.). Представляется, однако, необходимым изложить здесь вкратце хотя бы некоторые из этих принципов – и потому, что в большинстве работ по данному предмету они заложены лишь имплицитно, и для того, чтобы ознакомить читателя с общей проблематикой нашего предмета и с используемой терминологией.

Под *предысторией* в целом здесь понимается период истории человечества, не освещённый письменными источниками. Для многих уральских народов верхняя граница *предыстории* (= начало письменной *истории*) может быть обозначена как I – начало II тыс. н.э.: именно в это время появляются первые упоминания о большинстве из них в письменных источниках (см. Часть I). Однако, поскольку целью данного очерка является освещение *общей* истории уральских народов, раскрытие причин и механизмов исторических процессов, приведших к тому, что мы сегодня можем говорить об уральской *общности*. (см. ниже), постольку верхние временные границы уральской *предыстории* должны быть сдвинуты в древность, примерно к рубежу эр, когда уже сформировались основы современных групп уральских языков: прибалтийско-финских, саамских, мордовских, марийского, пермских,

---

<sup>1</sup> Здесь и далее слова *уральский*, *уральцы* используются вместо более корректного, но громоздкого понятия *народы, говорящие на языках уральской языковой семьи* (аналогично: *финно-угры, самодийцы, индоевропейцы* и т.д.).

обско-угорских, венгерского, самодийских (см. о членении уральской общности и хронологии древних языковых процессов ниже), и началось, таким образом, их обособленное развитие. Нижние хронологические пределы уральской предыстории ограничены лишь возможностями нашего проникновения в глубину прошлого: допускаю, что в некоторых своих аспектах она может быть прослежена вплоть до верхнего палеолита.

Группировка уральских народов выделена по единственному признаку: принадлежности языков, на которых они говорят, к уральской языковой семье. Следовательно, ведя речь о предыстории *уральских народов*, следует иметь в виду, что за этим стоит прежде всего (а в первом приближении – и только) предыстория *уральских языков*, то есть основной задачей исследования является реконструкция тех древних исторических процессов, вследствие которых уральские языки сложились и распространились на известных территориях, процессов, определивших взаимосвязи уральских языков друг с другом и с неродственными языками. При этом следует помнить о том, что языковая преемственность совершенно не обязательно влечёт за собой преемственность культурную или генетическую. Более того, можно с достаточной степенью уверенности утверждать, что на всём протяжении истории наиболее частым и действенным языковым процессом была ассимиляция, приводившая как к “победе” одного языка и исчезновению другого с возникновением в первом субстратных (суперстратных, адстратных) явлений, так и к распаду языка-“победителя” вследствие воздействия на него разных субстратов в разных ареалах его бытования. К тому же совершенное знание языков соседей, характерное для активной части аборигенного населения регионов, в которых до недавнего времени сохранялся достаточно архаичный социально-экономический уклад (тайга и тундра Западной Сибири, северо-восток Сибири, Австралия и т.д.), позволяет полагать, что одноязычность большинства населения современного “цивилизованного” мира – явление отнюдь не универсальное в человеческой истории, и в отдалённое прошлое можно смело проецировать ситуацию размытости языковых границ, постоянного столкновения и взаимовлияния языков в условиях всеобщей полиглотии.

Сказанное выше, однако, вовсе не означает, что исследование предыстории должно исчерпываться только историей языка. Как раз наоборот: обрисованная выше неоднозначность и сложность языковых процессов приводит к тому, что чисто лингвистические штудии, во-первых, ограничиваются лишь констатацией того или иного языкового развития, но не могут объяснить его исторические причины (точнее – не ставят своей целью их объяснить) и, во-вторых, – и это главное – сами эти штудии полностью зависят от имеющегося в распоряжении исследователя исторического материала: например, даже отнесение той или иной этимологии к “исконной” лексике или заимствованиям, направление поиска источника этого заимствования определяются представлениями этимолога об исторических связях и контактах носителей данного языка, о принципиальной исторической возможности

или невозможности контакта и, следовательно, заимствования из того или иного источника, в тот или иной период<sup>2</sup>. Лингвистические построения, таким образом, требуют исторического наполнения<sup>3</sup>.

Базой, позволяющей говорить о возможности такого “наполнения” в принципе, является законное предположение о том, что общая лингвистическая история определённой группы народов должна так или иначе отразиться на истории их материальной и духовной культуры и физического типа. Другими словами: исторические процессы, приведшие к сложению комплекса общих черт в языках определённой группы, позволяющих считать эти языки генетически родственными, должны были в той или иной мере повлиять на развитие культуры и физического типа данной группы народов, и следы этого влияния могут быть выявлены и использованы в исторических построениях вместе с данными языкознания. Речь при этом идёт отнюдь не непременно о комплексе общих черт в культуре и антропологическом типе, присущем именно и только данной группе народов: развитие культуры и физического типа шло под влиянием тех же факторов, но не одновременно и даже не параллельно с языковым развитием, поэтому следует ожидать, что реконструируемые культурные комплексы или расовые “прототипы” будут скорее всего характерны для совсем иного набора народов, и лишь в исключительных случаях их распространение будет совпадать с языковыми группами и семьями.

Исследование предыстории носит, таким образом, принципиально комплексный характер: помимо данных языкознания оно по необходимости базируется на данных археологии, физической антропологии, этнографии, палеобиогеографии и т.д.. Эти данные должны быть связаны друг с другом в рамках исторической модели, объясняющей генетические и логические взаимосвязи фактов, установленных с помощью методов названных выше наук. Создание такой внутренне непротиворечивой, учитывающей и объясняющей максимальное количество исторических фактов модели является целью любого

<sup>2</sup> См., например, поиск источника для названия ржи в пермских и мордовских языках (удм. *žeg*, коми *ružeg* (< ППерм \**ružžg* “рожь”), морд. (М, Э) *roz* “тж”) в иранских (точнее – во фракийском –?) [Raasonen 1906] и в балтских (точнее – в латышском!) [КЭСК:245] языках, в то время как корень \**ruž-* имеет явно славянский облик (ср. ПСлав. \**rŭžŭ* < и.-е. \**rogħio* “рожь” [Фасмер III:493-494]), на что указывалось давно (ещё в начале века – см.: [Raasonen 1906:1]), но видеть здесь славянское заимствование не считалось возможным, так как не предполагалась возможность праславянско-прапермских контактов (о возможности такого контакта и, в частности, о данной этимологии см. [Напольских 1996]). Впрочем, примеров такого рода можно приводить бесчётное количество.

<sup>3</sup> Думается, что именно отсутствие такого “исторического наполнения” является реальной причиной неприятия многими лингвистами гипотез отдалённого языкового родства типа ностратической, хотя они, естественно, предпочитают облекать свой скепсис в чисто лингвистические термины.

исследования в области предистории. Таким образом, “наполнить” лингвистические построения историческим содержанием – значит ответить не только на вопросы “где?”, “когда?”, “кто?”, но и на вопрос “почему?”. Поэтому, например, констатация миграции по археологическим материалам сама по себе для исследователя предистории малоценна: необходимо установить её причины, ход и последствия, создать модель взаимодействия пришлых на данной территории групп и аборигенов на разных стадиях контакта, определивших историю их языков, культуры и физического типа и т.д. Постулируя при этом смену языка на данной территории необходимо подтвердить её наличием субстратных явлений в языке-“победителе” или объяснить отсутствие таковых.

Ключевыми для предистории являются понятия *праязык*, *пранарод*, *прародина*.

Термин *праязык* (реже, в особенности в лингвистике – *язык-основа*) имеет несколько отличный смысл в собственно лингвистических и в исторических исследованиях. Для лингвиста-компаративиста цель его работы – реконструкция *праязыка* – условной модели, строгой системы лексических, фонетических, грамматических и, возможно, синтаксических соответствий, общих для всех родственных языков, системы, которая позволяет сравнивать эти языки друг с другом и с другими языками, демонстрируя в первом случае общность, единство (система “работает”), а во втором – либо отсутствие сходства вообще, либо иной его характер, например контактный (“работают” другие соответствия, охватывающие другой набор языков, при этом уровень развёрнутости их системы на порядок ниже уровня развёрнутости системы *праязыковых* параллелей – естественно, при сопоставимой степени близости сравниваемых языков).

Для исследователя же предистории термин *праязык* выражает собой понятие о *реально существовавшем некогда языковом организме* (относительно единый язык, или массив родственных диалектов, или несколько тесно контактировавших близкородственных языков, – суждение о реальном характере этого организма является одной из задач исторического исследования), который в ходе своего развития (расхождение диалектов, ассимиляция родственных и неродственных языков, различные влияния со стороны этих языков, миграции носителей языка, консолидация родственных языков или диалектов, образование пиджинов, койне, *lingua franca* и т.д.) послужил, в конечном счёте, основным (*системообразующим*) компонентом для сложения исторически известных языков данной группы. Для исследователя предистории *праязык* является, таким образом, не конечным продуктом научных изысканий, а одним из элементов создаваемой в ходе исследовательской работы исторической модели (см. выше). При этом предполагается, что лингвистическая реконструкция позволяет с достаточной достоверностью восстановить основной лексический фонд *праязыка*, судить

об особенностях его диалектного членения, об ареальных и генетических связях его с другими языками.

Термины *пранарод* – общность людей, для которых *праязык* (во всём возможном многообразии стоящих за этим термином реалий – см. выше) являлся основным средством общения, инструментом сохранения и развития культуры, фактором самосознания и социальной интеграции, и *пранодина* – территория, где обитал *пранарод*, где функционировала и развивалась его культура, отражённая в *праязыке*, – принадлежат уже исключительно предьстории. Понятие *пранарод*, означающее, на первый взгляд, не более чем “сообщество носителей праязыка”, может быть существенно расширено с этноисторических позиций через обнаружение фактов, свидетельствующих об общности, единстве данной группы народов не только по языку, но и по культуре и антропологическому типу (см., впрочем, о сложностях такой работы выше). Важно, чтобы эти факты образовывали системные комплексы, отражающие “пракультуру” и антропологический “прототип” подобно тому, как система языковых фактов, выявляемых в отдельных уральских языках, отражает праязыковое состояние. Необходимо подчеркнуть, что, как и всякое историческое понятие, *пранарод* и *пранодина* должны рассматриваться в пространственной и временной динамике, учитывая как возможную размытость границ между “материнским” и “дочерним” праязыками в диахронии (например, переход от прауральского к прафинно-угорскому не как некий единовременный акт, “скачок”, а как постепенное “перетекание” из одного состояния в другое), так и возможный аморфный характер иных праязыковых единиц, для которых уместнее употребление термина *праязыковая общность*, а не *праязык* (например, такими скорее всего были финно-пермская и финно-волжская общности<sup>4</sup>, представлявшие собою, очевидно, обширные массивы

<sup>4</sup> Характерно, что попытки продемонстрировать реальность былого существования так называемого “финно-волжского праязыка” (общего языка-предка прибалтийско-финских, саамского, мордовских, марийского языков) приводят, вопреки желанию их авторов, к обратному результату: из 22 “специфических [грамматических] изоглосс”, приводимых в качестве обихих для всех четырёх ветвей этого “праязыка” [Серебrenников 1989:10-17] лишь две (латив на \*-s и причастие на \*-n) с известными оговорками могут рассматриваться как реальные общие инновации финно-волжского уровня, – основание явно недостаточное для постулирования былого существования единого праязыка, особенно на фоне наличия значительного пласта сепаратных прибалтийско-финско-саамско-мордовских лексических параллелей и очевидной общности происхождения ряда морфологических показателей в прибалтийско-финских и мордовских языках (см. хотя бы часть их там же: [Серебrenников 1989:20-21]), с одной стороны, и наличия грамматических параллелей, подкрепляемых значительным пластом общей лексики, в марийских и пермских языках [Bereczki 1963], с другой. Попытка Г.Берецки объяснить особые пермско-марийские лексические отношения исключительно заимствованиями (см.: [Bereczki 1963:272; 1992:97-129]) выглядит не слишком убедительно, более основательным кажется подход Е.А.Хелимского, рассматривающего мордовско-прибалтийско-финско-саамские, мордовско-марийские и марийско-пермские попарные взаимосвязи как результат ареально-генетических контактов между соответствующими диалектами и праязыками, существовавших в конце финно-пермского времени и

родственных языков и диалектов, связанных друг с другом многообразными *ареально-генетическими связями* [Хелимский 1982:24-25] – см. также ниже). Нельзя, однако, полностью исключать и существования в прошлом относительно монолитных праязыков (как, например, пермский или самодийский праязыки, по крайней мере на определённых стадиях их развития) и возможности скачкообразных процессов их распада. Необходимо учитывать и ещё одно важное обстоятельство: сравнительный анализ уральских языков позволяет восстанавливать основные особенности уральского праязыка лишь на последней стадии его развития, непосредственно предшествовавшей его распаду. Поэтому, оставаясь в рамках собственно *уральской* предыстории (не проникая глубже в предысторию Северной Евразии в целом), под уральской *прародиной* следует понимать район, где уральский пранарод обитал незадолго до или непосредственно в период распада уральского праязыкового единства [Hajdú 1969:256]<sup>5</sup>.

Согласно господствующим в языкознании воззрениям, основным процессом в формировании современных языков была языковая дивергенция, представляемая обычно в виде цепочки следующих друг за другом праязыков, каждый из которых распадался на два (чаще всего) или более дочерних праязыка, наглядно предстающая в виде схемы *родословного древа* (нем. *Stammbaum*) языков той или иной языковой семьи. Для более чёткого понимания того, что кроется под словами *распад праязыка* (в том смысле, какой вкладывается в это понятие в предыстории), я предлагаю рассматривать этот процесс в виде следующей принципиальной модели (см. рис. 1).

В любом живом языке постоянно и спонтанно возникают разного рода инновации, но любое живое сообщество (пранарод), а значит – и язык (праязык), стремится сохранить свою целостность с помощью специальных механизмов консервации старого и интеграции вновь появляющихся элементов в уже существующую систему, – своего рода культурной и языковой “памяти”. В обычных условиях ареалы отдельных языковых (и культурных !) инноваций перекрывают друг друга, взаимопересекаются, образуя своего рода равномерную “сеть”, покрывающую всё пространство функционирования языка, и силы интеграции благодаря этому доминируют (рис. 1, а). В определённый момент начинает действовать некий дезинтеграционный фактор (доминирующее влияние чужого языка и культуры, изменения экологической обстановки, внедрение новых прогрессивных отраслей экономики, возникновение

---

непосредственно после распада финно-пермской праязыковой общности [Хелимский 1982:15-19] (см. там же и анализ прибалтийско-финско-мордовских и марийско-пермских параллелей), которому я и следую в данной работе.

<sup>5</sup> “Nach der bisherigen Praxis wird als Urheimat der uralischen Völker das Gebiet betrachtet, wo sich die gesellschaftliche und Sprachliche Einheit der Uralier auflöste. Als uralische Urheimat bezeichnen wir auch im besten Fall nur die Wohnsitze ein- bis zweitausend Jahre vor Auflösung der Einheit” [Hajdú 1969:256].



политических центров и т.д.), чьё влияние, особо осязаемое лишь в определённой части праязыкового ареала, начинает “стягивать” инновации к одному району. Таким образом складываются один или несколько центров концентрации инноваций (рис. 1, б). Важно, что эти центры не охватывают весь праязыковой массив целиком: сохраняются зоны с “нормальным” консервативным развитием. В силу преимущественной концентрации инноваций в названных центрах в них складываются свои, особые, более плотные “сети” инноваций и начинают, таким образом, действовать внутренние локальные интеграционные силы, противостоящие силам интеграции всего “материнского” праязыкового массива, — начинается процесс его распада, на первом этапе которого всё более возрастает концентрация инноваций в указанных центрах, и всё меньшее число инноваций охватывает весь “материнский” массив. Складывающиеся таким образом новые, “дочерние” языковые массивы шаг за шагом обособляются от “материнского”, хотя и продолжают сохраняться междиалектные связи в его пределах — в основном между соседними группами (*ареально-генетические связи* в терминологии Е.А.Хелимского). Данную стадию распада праязыка можно назвать “почкованием” дочерних групп (рис. 1, в). Эта стадия может завершиться окончательным обособлением “дочерней” группы (групп) и возникновением двух (или более) новых языков, один из которых, по сути дела, будет представлять собой остаток “материнского” праязыка.

Однако реальный ход дел, в большинстве случаев, по-видимому, этим не ограничивался: в конце фазы “почкования” носители “дочерних” языков должны были бы адаптироваться к факторам, положившим начало дезинтеграционных процессов (освоить новые виды экономики, новое природное окружение, включиться в состав возникающих политических образований и т.д.), благодаря чему сами начинали оказывать давление на группы “материнского” массива, не попавшие ранее под влияние дезинтеграционного фактора (сохранявшие более архаичный уклад и т.п.). В языковом плане (равно как и, собственно говоря, в социально-культурном) это давление облегчалось тем, что сохранялись ареально-генетические связи между “дочерними” и “материнскими” группами. Таким образом начиналась вторая фаза распада праязыка — фаза “поглощения” (рис. 1, г). Основное отличие её от предшествующей (если в качестве дезинтеграционного фактора рассматривать влияние чуждых в этноязыковом плане групп) состояло в том, что результатом первой фазы (в силу гетерогенности взаимодействующих языков) могло стать либо появление массива заимствований в “дочерних” языках, либо исчезновение “материнского” языка вследствие ассимиляции его, тогда как влияние не до конца обособившихся “дочерних” групп, благодаря сохраняющимся ареально-генетическим связям их с “материнским” массивом, могло приводить к постепенному распространению волн инноваций, возникающих в пределах “дочерних” ареалов, вглубь “материнского” массива (рис. 1, д), что, при продолжающемся действии дезинтеграционного фактора.

могло в конце концов приводить к полному охвату всего “материнского” праязыкового ареала этими волнами, к вовлечению сохранявшихся ранее нетронутыми новым развитием диалектов праязыка в сферы влияния формирующихся “дочерних” языков (рис. 1, е). Таким образом процесс праязыкового распада находит своё завершение<sup>6</sup>.

Важнейший вывод, который вытекает из изложенной здесь модели, состоит в том, что, поскольку в любом живом языке постоянно действуют центробежные силы (возникают ареально ограниченные инновации), сдерживаемые “в норме” центростремительными, и противоборство этих двух тенденций носит волнообразный характер, в том числе – и на разных стадиях распада языка, – постольку точно установить ту грань, когда в “материнском” языке возобладали центробежные силы (начался распад) или когда произошло замыкание кругов центростремительных сил в “дочерних” языках (распад закончился), практически невозможно даже при наличии письменных источников, документирующих этот процесс (см., например, “распад” древнерусского (= протовосточнославянского) языка или образование романских языков на базе позднелатинских диалектов). По-видимому, факт языкового распада (а следовательно – и его датировка) определяется не собственно внутриязыковыми причинами (лингвисты и сегодня не имеют инструмента для точного определения статуса той или иной языковой единицы как диалекта или отдельного языка, тем более ничего подобного не могло иметь места в прошлом), а исключительно социальными обстоятельствами, историческими причинами, которые приводят к тому, что в сознании людей, причисляющих себя к той или иной общности, закрепляется представление об обособленности, самостоятельности этой общности и её особом имени и, соответственно, – о самостоятельности их языка, язык получает имя<sup>7</sup>. Такими

<sup>6</sup> Здесь был рассмотрен только один случай праязыкового распада: разделение “материнского” праязыка на два “дочерних”, замечательный тем, что именно он традиционно имеется в виду в большинстве палеолингвистических построений (фигура типа **Г** на схемах “родословного древа” языков). Описать все теоретически мыслимые ситуации распада не представляется возможным – принимая во внимание разнообразие дезинтеграционных факторов, неограниченное в принципе количество возникающих “дочерних” массивов, различные пути развития по линии “почкования” – “поглощения” на любой стадии процесса и т.д.. Изложенные здесь наблюдения должны рассматриваться как модель, иллюстрирующая процесс распада праязыка, в отличие от “родословного древа” – схемы, отражающей результат исторического развития языков данной группы.

<sup>7</sup> Смотрите, например, ситуацию с коми языками, когда самый, с точки зрения лингвистики, обособленный из них – коми-язвинский рассматривается как коми-пермяцкий диалект, а северные коми-пермяцкие говоры, в лингвистическом смысле гораздо сильнее отличающиеся от южных коми-пермяцких диалектов, чем от соседних коми-зырянских (верхневыхгодского), считаются принадлежащими к коми-пермяцкому языку (см. [Баталова 1975:210-220; Баталова 1993:238-239]). Примерно аналогичная ситуация – с прибалтийско-финскими диалектами; в литературе постоянно упоминается о том, что так называемые диалекты обско-угорских языков представляют собой, по сути дела, самостоятельные языки [Хонти 1993а:300; Хонти 1993б:302], равно как и саамские “диалекты” [Хайду1985:117], и т.д., и т.п..

обстоятельствами могли быть миграции, приводившие к прекращению ареально-генетических контактов, вмешательство иноязычных групп (субстратные, адстратные или суперстратные влияния, приход иноязычнонаселения и образование территориального “клина” между диалектами праязыка), образование социально-экономических и политических организмов. Исследователь предыстории должен видеть за распадом праязыка социальные процессы.

Из сказанного выше следует, что многие, если не большинство, из групп носителей диалектов того или иного праязыка или языков, составлявших ту или иную праязыковую общность (“материнский” массив в целом на рис. 1, а), не оставили прямых языковых потомков, будучи ассимилированы иными – родственными по языку или неродственными – группами. Применительно к уральской предыстории было предложено именовать эти (ассимилированные впоследствии и не оставившие прямых потомков-уральцев, особенности языка и культуры которых восходили бы к особенностям диалектов и культуры этих групп) праязыковые группы парауральскими, в отличие от непосредственных языковых предков сегодняшних уральцев – эндоуральцев (носителей праязыковых диалектов, составивших впоследствии системообразующие компоненты в сложении исторических уральских языков, особенности которых восходят к особенностям эндоуральских диалектов = диалектов зарождающихся “дочерних” массивов на рис. 1,а) [Напольских 1991:22-23]. Исторически парауральцы не только продуцировали различные субстратные явления в языках и культурах групп, ассимилировавших их, но и должны были сыграть важную роль в обеспечении ареально-генетических связей между отдельными прауральскими группами и ареальных связей уральцев с неуральскими группами. По-видимому, механизм таких связей не сводился исключительно к взаимодействию соседних прауральских групп друг с другом, а был более сложным, организованным в пределах обширных пересекающихся ареалов, образуемых как эндо-, так и парауральскими группами, а также – соседними группами неуральской языковой принадлежности, некоторые из которых могли переходить на уральскую речь, пользоваться ею как *lingua franca* и т.д., оказывая, таким образом, существенное влияние на развитие уральских языков, – они составляли третью категорию прауральцев – экзоуральцев.

## II. Генетическая классификация уральских языков

Учитывая всю сложность уральской предьстории, лишь в самых общих её возможностях обрисованную выше, необходимо, тем не менее, представить прежде всего общую картину пройденного уральскими языками исторического пути – с тем, чтобы определить опорные, узловые точки их эволюции, а также – основные тенденции этой эволюции и основные определяющие её на том или ином этапе факторы. Отбор таких “узловых точек” и определение основных тенденций и факторов языковой эволюции необходимы как база для построения этноисторической модели.

Традиционно историю языков уральской семьи принято представлять в виде схемы родословного древа (см. выше). За долгую историю уралистики таких “древ” нарисовано множество (см. сводку их у [Szij 1990:21-57], их историю в общих чертах в [Хелимский 1982:9-10]). В силу того, что данная схема имеет корни в научных представлениях эволюционистов XIX века и, естественно, не может отражать адекватно и полно реальную историю уральских языков, во-первых, и часто понимается специалистами, работающими в смежных дисциплинах (прежде всего – в археологии), слишком буквально, продуцируя таким образом ложные стереотипы (см. [Larsson 1990]), во-вторых, – она систематически подвергается достаточно суровой и аргументированной критике, в том числе – и в лингвистской уралистике (см., например: [Häkkinen 1984]). Отнюдь не выступая здесь её твердолобым сторонником, не могу не согласиться с Е.А.Хелимским, который считает, что схема родословного древа языков “остаётся надёжным и наглядным (хотя и не вполне точным) средством представления взаимоотношений родственных языков” [Хелимский 1982:9] (но не реальных процессов их генезиса!), а неполнота отражения картины реальных взаимоотношений между финно-угорскими (resp. – уральскими) языками на этой схеме “связана с уже упоминавшейся сложностью реальных процессов языковой дифференциации, которые в родословном древе представлены схематично, упрощённо” [Хелимский 1982:11].

Схему родословного древа следует рассматривать не как отражение процесса языковой дивергенции, а как отражение исторически сложившегося (именно так !) результата этого процесса – в отличие от лингвистически фиксируемого состояния развития языков и диалектов в тот или иной момент времени, отражающего как раз процесс их развития (= “перманентного распада” – см. выше о распаде праязыка, а также примечание 6). Такое понимание обеспечивает принципиальную возможность использования схемы родословного древа языков в качестве опорной для установления упомянутых выше “узловых точек” уральской языковой предьстории: на ней могут быть отражены промежуточные результаты эволюции древних языков в виде тех или иных праязыковых “ступенек”. Признание этой возможности и учёт всего сказанного выше о сложности процессов языковой дивергенции и разнообразии исторических форм существования праязыка придают смысл и

попыткам усовершенствования самой схемы родословного древа. Наиболее удачными из сделанных до сих пор такого рода попыток можно признать схемы П.Хайду [Hajdú 1976:39] (рис. 2) и Е.А.Хелимского [Хелимский 1982:25] (рис. 3).

Предлагаемая ниже схема (рис. 5) отличается от вышеупомянутых тем, что на ней я попытался показать, во-первых, характер тех или иных праязыковых общностей, особо выделяя надёжно реконструируемые *праязыки*, во-вторых, оценочно показать относительное время существования этих праязыков как относительно единых (сплошные линии) и как более аморфных общностей разных языков и диалектов, объединённых ареально-генетическими связями (прерывистые линии); в-третьих, на предлагаемой схеме различаются два вида языкового развития: “скачок”, когда можно предполагать относительно быстрое выделение “дочернего” праязыка из “материнского” массива, связанный с какими-то резкими социальными сдвигами, с разрывом связей между выделяющейся и “материнской” общностью, – и перетекание (*языковой дрейф* в терминологии Э.Сэпира), постепенный переход из одного языкового состояния в другое, когда нет оснований предполагать имевшее место в прошлом резкое прерывание языкового развития, разрыв преемственности. Возможно, мои оценки характера того или иного развития являются в достаточной мере субъективными: сложность состоит в том, что такого рода попытки до сих пор не предпринимались. Более того, традиционно прауральская реконструкция строилась на базе прафинно-угорской, последняя, в свою очередь, – на базе праприбалтийско-финской (следуя традиции Э.Н.Сетяля и Э.Итконена), что, в конце концов, естественно приводило к превратному представлению об особой архаичности фонетического строя и лексического состава финского (суоми) языка и к невозможности реально оценить уровень расхождения между, например, прауральским и прафинно-угорским состоянием.

Поскольку реальной альтернативы у этого подхода нет (героическая и оставшаяся незавершённой попытка В.Штейница создать финно-угорскую реконструкцию, учитывающую факты не только прибалтийско-финских, но и других, в особенности – обско-угорских языков, к сожалению, не была поддержана и продолжена), в своих оценках я вынужден следовать в целом этой традиционной точке зрения. Впрочем, сделанные в последнее время шаги в реконструкции прауральской фонетической системы на базе равного учёта не только прибалтийско-финско-саамских данных, но и угорских и самодийских с отслеживанием возможной выводимости фонетических систем каждой группы уральских языков из реконструируемой праязыковой системы [Janhunen 1981; Sammallahti 1988] позволяют надеяться на будущую возможность более близкого к реальному положению дел рассмотрения отношений между уральскими праязыками и оценки характера распада того или иного праязыка, хотя сегодня приходится пока оставаться в рамках традиционного подхода.

Основное содержательное отличие предлагаемой здесь схемы от предшествующих состоит в предположении о разделении финно-волжской общности на три дочерних праязыка: прибалтийско-финско-саамский, прамордовский и прамарийский без постулирования существования особой "волжской" (прамордовско-марийской) общности, – и в оценке характера финно-волжской общности как весьма аморфной и недолго существовавшей. Не вдаваясь здесь в подробный анализ предлагаемых разными авторами аргументов в пользу былого существования финно-волжского и волжского праязыков (см. выше) – эта тема нуждается в отдельном специальном рассмотрении – укажу лишь, что в большинстве своём эти аргументы весьма малоубедительны, либо представляют собой явные недоразумения (по поводу финно-волжской общности см. примечание 4; ещё более слабыми являются попытки обоснования особой генетической близости мордовских и марийского языков – см., например, таковую в [Казанцев 1980:95-100], обзор и критику см. [Erdélyi 1969; Хелимский 1982:17-18]). Возможно, имело бы смысл обсудить вопрос о более тесных связях прамордовского и праприбалтийско-финско-саамского в рамках финно-пермской общности: именно эти языки обнаруживают некоторые существенные структурные схождения, служащие обычно базой для постулирования былого существования "финно-волжского праязыка" (транслатив на \*-ksz; суффикс желательного / условного наклонения \*-ks-; суффикс наречий \*-stz; деепричастие (старый партитив) на \*-ta и др. – см. обзор [Хелимский 1982:15-16]). В принципе, однако, попарные связи языков в цепочке *саамские – прибалтийско-финские – мордовские – марийский – пермские* следует, по-видимому, всё-таки в основном объяснять ареально-генетическими связями между парами соседствующих диалектов / языков финно-пермской общности и последующим развитием этих языков в контакте друг с другом в рамках балтийско-скандинавского (с участием – в хронологической последовательности "включения" – балтских, германских и славянских языков) и поволжско-приуральского (иранские, балтские (?), тюркские, славянские языки) языковых ареалов.

В рассмотрении членения самодийской языковой общности я следую за Е.А.Хелимским, в работах которого чётко обосновано отсутствие оснований для выделения особых "южносамодийской" (праселькупско-камасинско-маторской) и "саянско-самодийской" (пракамасинско-маторской) общностей [Хелимский 1982:39-45].

Предварительный анализ схемы на рис. 5, равно как и схем на рис. 2,3,4 позволяет наметить некоторые узловые моменты уральской предыстории. Ими, по-видимому, являются распад уральского праязыкового единства (= отрыв раннего самодийского праязыка от прауральского массива – ?), распад прафинно-угорского единства (= начало самостоятельного развития праугорского), период существования финно-пермской и финно-волжской общностей, связанный, очевидно, с расширением праязыкового ареала и сдвигами в социальном и экономическом развитии, приведшими к почти единовременному (с разрывом, возможно, не более 500-800 лет) началу

самостоятельного развития прапермской, прамарийской, прамордовской, раннеприбалтийско-финской (прибалтийско-финско-саамской) общностей. Примечательно, что на этот же период, возможно, приходится и распад праургорской общности (= начало самостоятельного развития правенгерского).

Я сознательно отказался от проставления на схеме датировок распада праязыков (о проблемах абсолютного датирования древних языковых процессов см. ниже), хотя и попытался отразить на ней (оценочно) относительное время существования того или иного праязыкового организма.

### III. Хронология уральской предыстории

Опорным пунктом исследования уральской предыстории является вопрос о месте и времени уральской прародины: отсюда можно как восстанавливать последующую историю уральцев вплоть до времени формирования отдельных групп уральских языков (см. выше), так и продолжать историческую ретроспективу в поисках более древних корней, в плане установления более древних ареальных и генетических связей уральских языков.

Говоря о времени распада уральского и финно-угорского праязыков (то есть – о времени, для которого можно в первую очередь попытаться определить уральскую или финно-угорскую прародину – см. выше), необходимо иметь в виду, что речь здесь едва ли может идти о некоей временной точке, о более или менее коротком периоде. Как следует из сказанного выше, развитие любого языка состоит, в частности, в постоянном противоборстве консолидирующих и дезинтегративных тенденций, а “окончательный распад праязыка” должен был быть связан с какими-то социальными процессами, восстановить (моделировать) которые можно лишь в ходе комплексного исторического исследования. Анализ лингвистического материала должен, таким образом, дать некоторые хронологические пределы, вынесение за рамки которых распада праязыковой общности противоречит языковым фактам. Дальнейшее же уточнение датировок древних этноязыковых процессов должно осуществляться в ходе синтеза данных языкознания и других дисциплин, прежде всего тех, которые позволяют реконструировать такие процессы и относительно точно локализовать их во времени и пространстве и прежде всего – археологии и палеоантропологии<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> Следует, впрочем, подчеркнуть, что реальным образом вопрос о времени распада уральского, финно-угорского и т.д. праязыков критически не рассматривался, пожалуй, с начала века – за исключением некоторых частных, хотя и интересных, но не получивших общего признания попыток (как, например [Korhonen 1976]) – и мне остаётся только процитировать высказывание двадцатилетней давности: “...хронологию, приведённую в схеме ..., следует считать лишь ориентировочной... По мере развёртывания дальнейших исследований даже в эти приблизительные данные могут быть внесены поправки... По соображениям, основывающимся на праисторических (историко-экономических, исторических), а также на общелингвистических исторических разысканиях, уже в наше

В сравнительно-историческом языкознании время распада того или иного праязыка определяется несколькими методами. Во-первых – это общая оценка времени, необходимого, по мнению того или иного исследователя, для возникновения и закрепления предполагаемых для последующих стадий праязыкового развития инноваций. Несмотря на субъективный характер таких оценок, они довольно часто применяются на практике, прежде всего потому, что нередко это – единственный возможный способ хотя бы приблизительно датировать древние языковые процессы.

Во-вторых, для построения относительной, а в случае наличия древних письменных памятников на каком-либо из привлекаемых языков – и абсолютной хронологии решающее значение имеют выявляемые в исследуемых языках пласты заимствованной лексики, свидетельствующей о синхронности определённой стадии развития языков одной группы с определённой стадией развития языков другой группы. В уральстике определяющими в этом смысле являются данные об индоевропейских (прежде всего – индоиранских и иранских, а также – тохарских, балтских, германских, славянских) заимствованиях в уральских языках: их облик и распространение позволяют, в принципе, судить о том, из какого конкретно индоевропейского языка-источника те или иные слова заимствовались в уральские языки в тот или иной период их предьстории. При этом предполагается, что время существования индоевропейского языка-источника можно определить с достаточной достоверностью, так как индоевропейская языковая история прослеживается по письменным памятникам в среднем на 2-3 тысячи лет глубже, чем уральская. Впрочем, проблемы остаются и здесь, особенно когда речь идёт о древнейших этапах предьстории; показателен в этом плане пассаж из классической работы Д.Дечи: “в финно-угорском языке-основе обнаружены заимствования, которые можно объяснить лишь как праиндоиранские. Из этого следует, что распад финно-угорского языка-основы мог иметь место уже только после распада праиндоевропейского и после начала самостоятельного развития праиндоиранского. С известной осторожностью принимается, что индоевропейский праязык относится приблизительно к 3-му, в крайнем случае – к концу 4-го тыс. до н.э.; тогда распад прафинно-угорского (судя по индоиранским заимствованиям в нём) следует относить как минимум на 500 лет позже, то есть – примерно ко времени около 2500 г. до н. э.” [Décsy 1965:154]<sup>9</sup>.

---

время кажется вероятным, что упомянутые периоды нужно относить к более отдалённым временам, чем те, которые указаны выше. Однако до завершения новейших научных разысканий мы считаем более целесообразным придерживаться точки зрения наиболее принятой в наше время и достаточно обоснованной” [Гуя 1974:38- 39].

<sup>9</sup> “Für die finnisch-ugrische Grundsprache wurden nämlich Lehnwörter nachgewiesen, die sich nur als Entlehnungen aus dem Indoiranischen erklären lassen. Daraus folgert, dass die Auflösung der finnisch-ugrischen Grundsprache sich erst nach der Auflösung des Indogermanischen und nach dem Beginn des Sonderlebens des Indoiranischen vollzogen haben kann. Nimmt man mit Thieme an, die indogermanische Grundsprache gehöre schätzungsweise ins 3., höchstens ins Ende des 4. Jahrtausends v.Chr., dann muss man die Aufspaltung der finnisch-ugrischen Grundsprache (eben wegen ihrer indoiranischen Lehnwörter) umwenigstens (!)



Поскольку время предполагаемого распада праиндоевропейского здесь – сугубо оценочное, равно как и срок в 500 лет, потребный для сложения специально индоиранских форм и их заимствования в прафинно-угорский, приведённая дата распада прафинно-угорского может быть безболезненно приближена к нашему времени по крайней мере ещё на полтысячелетия или отодвинута в древность по крайней мере на тот же срок. Естественно, чем ближе к современности, тем возможностей для датирования праязыковых процессов больше, однако проблемы остаются те же, к тому же дело осложняется упомянутой выше зависимостью выводов лингвистов от их представлений о древней этноязыковой ситуации в том или ином регионе. Характерна, например, предпринятая М. Корхоненом попытка удревить время распада так называемых “финно-пермского” и “финно-волжского” праязыков по крайней мере на полтысячелетия, основанная, во-первых, на том обстоятельстве, что древнейшие следы земледелия в районах предполагаемого обитания носителей финно-пермского “праязыка” по современным археологическим данным можно датировать рубежом III-II тыс. до н.э., и, во-вторых, на весьма правдоподобном предположении о том, что источником древнейших балтских (*балтоидных*) заимствований в финно-волжских языках могли быть языки создателей археологических культур боевых топоров и шнуровой керамики первой половины II тыс. до н.э. [Korhonen 1976:6,11-14]<sup>10</sup>.

500 Jahre später, also etwa in die Zeit um 2500 v. Chr. ansetzen” [Décsy 1965:153-155]. Нельзя, впрочем, не отметить, что в финно-угорском праязыке фиксируются заимствования, которые могут рассматриваться как отражающие уже не ранний праиндоиранский, а поздний праиндоиранский, а возможно – просто собственно индоарийский язык-источник (см., например, прежде всего: ПФУ \**śata* “сто” – ср. др.-инд. *śata*- “сто” при ав. *satəm* “тж” < ПИЕ \**k̑tóm* “сто” [Rédei 1986:47]), а отражение арийского \**a* < ПИЕ \**e* / \**o* как \**e* / \**o* в финно-угорских языках, рассматриваемое обычно как свидетельство архаичности арийских (“ранних индоиранских”) заимствований прафинно-угорской эпохи, характерно и для некоторых заимствований финно-пермского и финно-волжского времени (при этом – явно поздних, например, для обозначений некоторых скотоводческих и земледельческих реалий: ф.-волж. \**oraše* “боров” – ср. др.-инд. *varaha*- “кабан”; ф.-перм. \**jewā* “хлеб, зерно” – ср. др.-инд. *yava*- “тж” и др. [Rédei 1986:50-51,54-55]), – см. также удачное объяснение значительной части соответствий ПФУ \**o*- ~ ин.-ир. \**a*- и ПФУ \**e*(*r*)- ~ ин.-ир. \**ʔ* как позиционных [Лушникова 1990] и комментариев по его поводу [Хелимский 1991]. Таким образом, одни лишь данные об индоиранских заимствованиях в финно-угорских языках не могут служить безусловным основанием для однозначных датировок праязыковых процессов.

<sup>10</sup> Думается, попытка М. Корхонена удревить датировку первых контактов финно-угорских и балтских языков вполне обоснована, однако, он едва ли прав, развивая свои идеи в русле традиционной точки зрения о привязке этих контактов исключительно к районам Прибалтики: *прибалтийская культура боевых топоров* была не единственной и не самой первой из комплекса близкородственных культур *шнуровой керамики*, для носителей которых можно предполагать ранние контакты с финно-угорским населением лесной зоны Восточной Европы. Древнейшие балтские (или протобалтские, балто-славянские) заимствования в европейских финно-угорских языках могут и, скорее всего, должны восходить и к языкам создателей *фатьяновской* и *балановской* культур со

Ещё один способ абсолютного датирования древних языковых процессов – *глоттохронология*, предложенная М.Сводешем (см.: [Сводеш 1960]) и довольно давно применяемая в уралистике (см., например: [Raun 1956; Хелимский 1982:11-14]). Несмотря на уже солидный “возраст” этого метода и энтузиазм его сторонников, для большинства лингвистов и историков существование некоей “мистической силы”, заставляющей определённый процент базовой лексики языка в течение определённого периода систематически заменяться новыми словами, остаётся весьма проблематичным<sup>11</sup>. По-видимому, глоттохронология всё-таки не может быть признана надёжным методом абсолютного датирования (особенно – событий древнейшей истории): попытки её усовершенствования приводят к выводу о необходимости устранения заимствований из диагностических списков слов [Старостин 1989:10]. Тем самым *de facto* ненадёжность метода признаётся самими его разработчиками: заведомо нельзя быть уверенным в том, что все заимствования из списка устранены, устранить можно лишь заимствования из известных нам языков (да и то лишь в том случае, когда эти заимствования обнаружены!), но этого практически нельзя сделать с заимствованиями из неизвестных мёртвых языков, каковых в каждом отдельном случае может быть сколь угодно много. В то же время, глоттохронологические подсчёты нередко дают дату, совпадающую с теми, которые предполагаются на основании других методов. В этом случае они могут рассматриваться как допустимый способ дополнительной аргументации той или иной точки зрения, не более того, – кажется, именно такой подход характерен для недавней интересной попытки применения глоттохронологии в уралистике, результаты которой с моими комментариями см. на рис. 4 [Таагерера 1994:162-165]. С другой стороны, результаты лексикостатистических подсчётов могут быть весьма полезны для демонстрации степени расхождения языков (*лингвистических дистанций* между языками по терминологии Р.Таагерера), причём не обязательно на схеме типа *родословного древа* – дабы избежать иллюзии историзма, иллюзии диахронической значимости этих результатов (см. весьма удачные схемы: [Таагерера 1994:166]).

---

шнуровой керамикой и “боевыми топорами” (новейший обзор хронологии и происхождения см. [Kraïnov 1992]), и эти контакты следует, таким образом, локализовать в районах Верхнего и Среднего Поволжья.

<sup>11</sup> Здесь я почти процитировал слова А.Б.Долгопольского, сказанные во время оживлённой дискуссии по поводу надёжности глоттохронологии на конференции “Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока – 2” в Москве в 1989 году после выступления С.А.Старостина.

Наконец, восстанавливаемая праязыковая лексика позволяет представить в общих чертах облик материальной культуры носителей праязыка. При соотнесении этих данных с данными археологии относительно района, где в самом общем смысле можно предполагать локализацию уральской прародины (для времени распада уральского и финно-угорского праязыка таким районом следует считать субарктическую и лесную зоны Евразии – такая формулировка может, по-видимому, считаться общепринятой), можно сделать самые общие выводы о принадлежности реконструируемой по языковым данным материальной культуры уральского пранарода к той или иной археологической эпохе (см. ниже).

Наиболее показательно здесь отсутствие в прауральском и даже прафинно-угорском лексиконе терминов, свидетельствующих о знакомстве с земледелием и скотоводством (попытки доказать наличие таковых были характерны для работ начала века, см., например [Setälä 1926:132-135]): ф.-перм. \**jewä* “хлеб (в зерне), зерно” и ПСам. \**jâš* “мука” являются независимыми заимствованиями из иранских языков [Rédei 1986:50-51]; ПФУ \**šāntz* “вид злака” [UEW:496-497] обозначало любое (дикорастущее) зерновое растение и – скорее – его зёрна, используемые в пищу древними собирателями [Хайду 1985:184-185]<sup>12</sup>. Параллель венг. *kenyér* “хлеб (Brot)” – удм. *keñir* “крупа” указывает, по-видимому, не на прафинно-угорский корень, а на заимствование из пермского в древневенгерский [MSzFE:351-352]; термины для “муки” (ПФУ \**pušnz* / \**pučnz* [UEW:408-409]<sup>13</sup>) и “каши” (ПФУ \**rekkz* /

<sup>12</sup> П.Хайду абсолютно прав, подчёркивая, что ПФУ \**šāntz* обозначало именно крупу – или зерно как вид пищи, а не служило специальным названием какого-то злака (хотя бы и дикорастущего): от слов, служивших основой для реконструкции данного ПФУ корня (мар. (Г) *šādānyə*, (ЛВ) *šādaŋ* “пшеница” – коми *šobdi*, (язьв.) *šugdi* “пшеница” – хант. (Вах) *lant*, (Вас.) *jānt*, (Дем.) *tānt*, (Обд.) *lānt* “хлеб в зерне (рожь, яч-мень, овёс); крупа” – венг. *ed* “хлеб в зерне”) нельзя отделять пермское слово для “супа”: удм. *šid* “суп”, коми *šid* “тж”, ср. также коми *šidgs* “крупа” < \* “то, чем заправляют суп” [КЭСК:325]. Для данных пермских слов восстанавливается ППерм. праформа \**šūd* < \**šūnt-*, которая без каких-либо существенных проблем возводится к ПФУ \**šāntz* “зерно, крупа, блюдо из крупы (суп)” (соответствие ППерм. \**ū* – ПФУ \**ā* может объясняться различным развитием инляутного вокализма в прапермском в суффикзированной и бессуффиксной формах слова). К.Редей ошибается, считая данное сравнение неправомерным: его ссылка на то, что коми *šid* и т.д. будто бы связано с фин. *huttu* “заваруха (кашица из муки)” и восходит к ф.-перм. \**šuntz* “густая похлёбка, суп” (с заднеязычным вокализмом – как в финском, что, видимо, и не даёт возможности связать этот корень с ПФУ \**šāntz*) – не может быть принята как аргумент, так как фонетически пермские слова несопоставимы с фин. *huttu* (ППерм. \**-d* < \**-nt-*), а собственно пермский материал не исключает возможности возводить ППерм. \**šūd* “суп” к финно-угорскому корню с переднеязычным вокализмом.

<sup>13</sup> Думается, однако, наличие дериватов этого корня лишь в столь территориально близких и исторически тесно контактировавших языках как пермские и мансийский

\*rokka [UEW:421,425]) не указывают не только на земледелие, но и вообще на использование в пищу именно зерна (возможно: сушёные ягоды, икра, специально переработанные мясо, рыба и т.д.) [Хайду1985:185].

Некоторую загадку представляет собой прафинно-угорское слово, обозначающее “овцу” (ПФУ \**uče*) – однако на фоне полного отсутствия каких-либо других терминов, свидетельствующих о скотоводстве, в реконструируемой лексике финно-угорского праязыка его обычно считают скорее свидетельством о знакомстве прафинно-угров “с каким-то похожим на овцу (диким ? – В.Н.) животным” [UEW:541]. Подобное предположение, впрочем, выглядит весьма надуманным: в ареале предполагаемой прародины финно-угров (пусть даже от Балтики до Енисея) не встречается и, по-видимому, в древности не встречалось подобных животных, ближайший кандидат на эту роль – путоранский снежный баран (плато Путорана, восточнее Енисея, южнее Таймыра). В то же время соответствие фин. *uahi* (варианты – *u(u)tti*, *u(u)ttu* etc.) – морд. (М, Э) *uša* – удм., коми *iž*, коми-язьв. *äž* – манс. (С) *šs*, (Пел.) *oš*, (НКон.) *ōš* – хант. (Вах) *ač*, (Дем.) *oš*, (С) *as* “овца”, – позволяет с равной степенью надёжности реконструировать ПФУ форму \**oča* (вместо традиционной \**uče*) “овца”<sup>14</sup>. ПФУ \**oča* может быть сопоставлено с рефлексам ПИЕ \**aǵ(a)*- “козёл, коза” (др.-инд. *ajāḥ* “козёл”, *ajā* “коза”, лит. *ožỹs* “козёл”, *ožkà* “коза” и др.) и рассматриваться, таким образом, как индоевропейское (индоиранское, или индоарийское, или протобалтское) заимствование. Отражение анлаутного \**a*-индоевропейского языка-источника как ПФУ \**o*- является совершенно закономерным [Лушникова 1990]; некоторую проблему представляет собой отражение звука типа \**-ǵ*- языка-источника как ПФУ \**-č*- (а не \**-ć*-), хотя принципиальную допустимость такого развития (учитывая возможность различных индоевропейских языков-источников и практическое отсутствие примеров на отражение индоиранского \**-ǵ*- в прафинно-угорском) нельзя исключить. Развитие значения “козёл, коза” > “овца” достаточно тривиально: присутствие животных обоих видов в одном стаде, во главе которого часто может стоять козёл – дело обычное, и при первых контактах незнакомых со

---

(точнее – северные и западные мансийские диалекты), – при том, что речь идёт о культурном термине (см. возможные арийские параллели [Mayrhofer 1963:281]) – даёт основания сомневаться в древнем, прафинно-угорском его происхождении. Во всяком случае, его не стоит использовать как самостоятельный аргумент в палеоисторических построениях.

<sup>14</sup> Впрочем, реконструкция \**oča* возможна даже для прибалтийско-финско-мордовского: по правилу А.Генеца о закономерном развитии \**CoCa* > \**CuCo* в прамордовском [Genetz 1895:15], – но для этого нужно отойти от стереотипа о заведомой арханчности прибалтийско-финской формы (см. выше), что особенно правомерно в данном случае, учитывая разнообразие фонетических рефлексов праформы в прибалтийско-финских языках и диалектах.

скотоводством предков финно-угров с индоевропейцами, имевшими такие смешанные стада, могло иметь место обобщение значения слова и перенос его на основное (самое многочисленное) животное в стаде. Таким образом, наличие ПФУ \**oša* “овца” может, скорее всего, указывать на контакты предков финно-угров с индоевропейцами, разводившими мелкий рогатый скот.

Реконструированная прауральская и прафинно-угорская лексика также не даёт оснований предполагать знакомства носителей этих праязыков с металлургией, а скорее всего – и знакомства с металлами вообще. Некоторые названия металлов в финно-угорских языках близки: слова для “золота” (морд. (Э) *šir̄ne*, (М) *šir̄nā*, мар. (Г) *šört̄ni*, (Л, В) *šört̄nō*, удм., коми *zar̄ni* “золото”, манс. (Тав., Пел.) *tar̄ñi* “олово, медь”, хант. (Вах) *lor̄nā* и т.д. “медь”, венг. *arany* “золото”) и “железа” (морд. (Э, М) *k̄ñi*, мар. (Г) *k̄art̄ni*, (Л, В) *kürt̄nō*, удм. *kort*, коми *ker̄t* и т.д.) – но они представляют собой независимые заимствования из иранских языков, произошедшие уже после распада финно-угорского единства [Rédei 1986:71,82]. По-видимому, таково же происхождение слов (фин. *vaski* “медь, латунь”, саам. (Н.) *væike* “медь, латунь”, морд. (Э) *uške*, (М) *uškā* “провода”, удм. *-veš* в *uzveš* “олово, свинец”, коми *-jš* в *ozjš* “олово, свинец”, манс. (С) *atwās* и др. “свинец”, хант. (Вах) *wāy* и др. “железо, металл”, венг. *vas* “железо”, нен. (Т.) *ješe* “железо, металл, деньги”, энец. *bese* “тж”, нган. *basā* “тж”, сельк. (Таз) *kez̄i* “железо, металл”, камас. *baza* “железо”, мат. *baze* “тж”), привлекаемых обычно для прауральской реконструкции \**waške* “металл; медь” [UEW: 560-561]: они, видимо, были заимствованы как название металла вообще, в особенности – как предмета обмена, уже после распада уральской и финно-угорской общностей в отдельно существовавшие прибалтийско-финско-саамско-мордовский, пермский, угорский, самодийский праязыки из тохарского (пратохарского) – ср. тох. А *wās*, В *yasa* “золото” (< ПИЕ \**H₂es-* “золото”) [Janhunen 1983; Напольских 1989; Напольских 1994] (см. также раздел V). Относительно ещё одного “прафинно-угорского” названия металла – \**wolnz* “олово” (марийско-угорская параллель) [UEW:581] следует, во-первых, заметить, что этимология эта непротиворечива с фонетической точки зрения: по полному отсутствию рефлексов праязыкового \**w-* (особенно в позиции перед \**-o-*) в хантыйском, венгерском и диалектах мансийского (Пелым, Конда) языка она не имеет аналогов, при этом трудно отделить данный корень от названия того же металла в балто-славянских языках: др.-ц.-сл. *олово* “олово”, лит. *álvas* “свинец” [Фасмер III: 135], точнее – с возможным производным от того же индоевропейского корня \**al-bho-* “белый”, но с расширением на \**-n* (\**al-n-*)<sup>15</sup>. Учитывая указанную выше неточность марийско-угорского

<sup>15</sup> Идея предложена Ю.В.Откупщиковым (устное сообщение).

сопоставления, логичнее допустить самостоятельное происхождение (балто-славянское или иное индоевропейское заимствование) марийского (Г) *fulna*, (Л, В) *fulno* “олово” и угорского *\*olm* “олово” – тем более, что не исключено, что мы имеем здесь дело с очень древним миграционным культурным термином (см. [Moór 1952:78–79]). О заимствованном происхождении этого корня в угорских языках свидетельствует и то, что в них имеется и иной его вариант, с начальным *\*w-*: манс. (Тав.) *wõlém* “свинец” [UEW:899], – очевидно, результат повторного заимствования.

Большое значение в культурно-историческом плане может иметь этимология ПФУ *\*pata* “сосуд, глиняный горшок” [UEW:358]: наличие такого термина как будто указывает на знакомство носителей финно-угорского праязыка с керамикой и, следовательно, позволяет привязать существование праязыка (по крайней мере – на его заключительной стадии) ко времени после начала археологического неолита в лесной зоне Евразии, наступившего не ранее рубежа V–IV тыс. до н.э.. С другой стороны, знакомство с керамикой едва ли возможно предполагать для прауральской эпохи: ПФУ *\*pata* соответствует ПСам. *\*pat-*, для которого восстанавливается значение “класть в сосуд”, возможно “варить” [Janhunen 1977:118], эта параллель – наряду с юкагирской: юкаг. (Кол.) *pat* “варю (я)”, *padum* “варит (он)” – даёт возможность восстанавливать для прауральского и праюкагино-уральского только глагольную основу *\*pat-* “класть в сосуд, варить”, но варка пищи возможна не только в керамических, а и в деревянных, плетёных и т.п. сосудах, следовательно, чёткого свидетельства о знакомстве с керамикой в прауральскую эпоху, и, следовательно, о неолитической датировке этой эпохи у нас нет (см. ещё [Hajdú 1953:72]). Важно, однако, то, что исконное значение “сосуд для варки пищи” можно, таким образом, предполагать и для ПФУ *\*pata*, если выводить его из ПЮУ *\*pat-* “варить” (> “сосуд для варки пищи”)<sup>16</sup>, – что в принципе лишает определённости вывод о неолитическом времени существования даже прафинно-угорской общности [Напольских 1989]. Дело осложняется ещё и тем, что и в данном случае – наряду с предложенной выше урало-юкагирской этимологией для ПФУ *\*pata* – можно предполагать, что мы имеем дело с древнейшим миграционным культурным термином: ср. ПДрав. *\*pata-(la)* “(глиняный) широкогорлый горшок” [Burrow, Emeneau 1984:349; Tyler 1968:809] (см. также ниже), ПИЕ *\*ped / \*pod* “сосуд, (глиняный) горшок” (балто-германское слово с сомнительной параллелью в древнеиндийском

<sup>16</sup> Замечательно, что ваховско-васюганские ханты и сегодня словом *put* (< ПФУ *\*pata*) называют не только чайник, котёл, но и, в частности, берестяной ковшик для варки клея [Лукина 1985:241–242]. Не является ли дериватом рассматриваемого прауральского корня и сельк. *патчжа* “берестяная коробка, употребляемая в качестве посуды” (в записи Г.И.Пелих) [Пелих 1972:36] ?

[IEW:790; UEW:358], ПТю. (очень сомнительно) \*hādil < \*patz-lz “тж” [Терентьев 1983:69].

Таким образом, реконструированный праязыковой лексический фонд не даёт оснований для того, чтобы разделять энтузиазм некоторых авторов относительно неолитического<sup>17</sup> характера культуры уральского пранарода (см., например [Моог 1963]), – если подобное предположение ещё можно сделать, говоря о прафинно-угорском периоде, то время существования уральского праязыка может быть, по-видимому, отнесено полностью в мезолитическую эпоху. Данный вывод в принципе согласуется с традиционной точкой зрения, согласно которой распад уральского праязыка завершился в VI – начале IV тысячелетия до н.э. [Хайду 1985:172-175; Гуя 1974:38-39; Décsy 1965:153-155] – эту дату следует только несколько удревнить, ограничив VI – концом V тыс. до н.э..

С учётом всего сказанного выше можно привести здесь традиционно принятые в уралистике – хотя и по-прежнему достаточно дискуссионные (см. также примечания 8, 10) – абсолютные даты: распад уральского праязыка можно датировать VI – концом V тыс. до н.э., финно-угорского – серединой III – рубежом III / II тыс. до н.э., угорский праязык, по оценкам разных исследователей, распался в конце II – во второй половине I тыс. до н.э., распад самодийского праязыка произошёл около рубежа эр, прибалтийско-финского – в первые века нашей эры, пермского – в конце I – начале II тыс. н.э.. Период существования финно-пермской и финно-волжской общностей можно, таким образом, относить ко времени с рубежа III / II тыс. до н.э. до первой половины I тыс. до н.э. [Хайду 1985:172-175; Хелимский 1982:8-10,45; Гуя 1974:38-39; Décsy 1965:153-155; Korhonen 1976; Taagepera 1994].

#### IV. Уральский, финно-угорский, самодийский праязыковой экологический ареал

Район уральской прародины традиционно принято определять методом лингвистической палеонтологии, использование которого в уралистике восходит ещё к работам второй половины XIX века [Кёппен 1886; Donner 1936], и который состоит в том, что в реконструированном праязыковом словаре выделяется комплекс понятий (названия растений, животных, термины для особенностей климата, ландшафта и т.д.), позволяющих представить экологическую среду, в которой обитал пранарод; затем эта картина сопоставляется с имеющимися выводами палеобиогеографии

<sup>17</sup> Следует оговориться, что здесь и выше под словом “неолит” понимается период, выделяемый в археологии Северной Евразии – то есть, не время “неолитической революции”, начала земледелия и скотоводства, как на юге, а последний период каменного века, характеризующийся наличием керамики и отсутствием металла (конец V – конец III тыс. до н.э.).

относительно эпохи, к которой относится время существования праязыка (данные о климате, границах природных зон, ареалах распространения деревьев, обитания животных и т.д.), что позволяет определить район, в котором в данную эпоху мог сформироваться данный комплекс понятий.

Здесь следует подчеркнуть, что применение этого метода, во-первых, должно учитывать временную изменчивость ареалов биологических видов. Когда речь идёт конкретно об уральской прародине необходимо соотносить лингвистические данные с картиной, реконструируемой палеобиогеографией для *атлантикума* (VI-IV тыс. до н.э.), точнее – для начальной и средней его фазы, последний же период существования финно-угорского единства соотносим с началом *суббореала* (III – последние века I тыс. до н.э.).

Во-вторых, речь идёт о системном сравнении экологической картины, реконструируемой по праязыковой лексике, и полеобиогеографической реконструкции: наличие, например, в праславянском словаре слова со значением “верблюд” входит в противоречие с картиной жизни средневропейских земледельцев и скотоводов, которая системно отражена в реконструируемой лексике праславянского языка, – необходимо иметь в виду возможность наличия и в прауральском словаре подобных экзотических терминов.

В-третьих, важнейшим является то обстоятельство, что с помощью метода *лингвистической палеонтологии* выявляется не собственно территория *прародины*, а район, который можно назвать *праязыковым экологическим ареалом* – территорией, где одновременно обитали все, известные носителям праязыка виды растений и животных, и которая отнюдь не обязательно совпадает с территорией *прародины* (см. рис. 6). Разрешение проблемы локализации *прародины*, таким образом, не исчерпывается определением *праязыкового экологического ареала*, а требует дальнейшего исследования с привлечением данных как лингвистики (внешние контакты праязыка, топонимика), так и археологии и физической антропологии.

История попыток локализации прародины финно-угорских и уральских народов с помощью научных методов (о “донаучных” попытках см. [Stipa 1990]) насчитывает уже почти полтора века. С самого начала наметились в общих чертах две противоположные точки зрения: согласно одной, истоки уральских языков следует искать в Азии, в Западной и Южной Сибири, рядом с древнейшими местами расселения народов алтайского круга (тюрки, монголы, тунгусо-маньчжуры) [Castrén 1862], согласно другой – родина финно-угорских народов – Восточная Европа от Балтики до Урала, но не восточнее Уральских гор [Aminoff 1873]. Вторая точка зрения получила развитие в трудах финских исследователей начала века [Setälä 1926] и долгое время превалировала в науке, став “классической”: финно-угорская (проблема генезиса самодийцев сторонниками этой точки зрения либо игнорировалась, либо (Э.Н.Сетьяля и др.) предполагалась изначальная принадлежность их языков к неизвестной группе с последующей ассимиляцией их финно-уграми = “настоящими уральцами”; основным (точнее – единственным) аргументом в пользу подобного



подхода служило то обстоятельство, что численность самодийских народов весьма невелика) прародина помещалась её сторонниками в Восточной Европе, преимущественно в районе среднего течения Волги и её притоков.

После второй мировой войны в работах ряда венгерских [Sebestyén 1951; Hajdú 1952; Hajdú 1953; Décsy 1965] и финских [Toivonen 1952] лингвистов была обоснована более восточная в целом локализация финно-угорской прародины: на крайнем востоке лесной зоны Восточной Европы, между Средней Волгой и Уралом. Работы И.Н.Шебештьен по названиям деревьев [Sebestyén 1943] и рыб [Sebestyén 1935] в уральских языках остаются, несмотря на их многочисленные недостатки, и сегодня наиболее полными и ценными сводками этих материалов. Следует, однако, заметить, что в работах этих авторов, равно как и в предшествующих метод *лингвистической палеонтологии* применялся почти без учёта временной изменчивости границ ареалов биологических видов, реконструированная по языковым данным праязыковая экологическая модель накладывалась на современную карту природных зон. Данные палеобиогеографических реконструкций были, вероятно, впервые использованы в уралоистике в работах Дь.Ласло [László 1961] (правда, в данном случае – совершенно некорректно, что привело автора к абсолютно ошибочным выводам: подробную критику этой работы см. в [Hajdú 1964a; Хайду 1985:151-155]) и П.Хайду [Hajdú 1964b]. В работах последнего был сделан новый шаг в развитии наших взглядов на уральскую и финно-угорскую прародину: подчеркивая наличие в прауральском и прафинно-угорском словаре названий таёжных хвойных деревьев (“ель”, “пихта”, “кедр”, “лиственница” – см. ниже) и появление в прафинно-угорском словаре слова для самого холодостойкого широколиственного дерева, “вяза” и слов со значениями “пчела” и “мёд”, он, используя новейшие для того времени результаты *палеонтологических* анализов (изучение древнего распространения растений по ископаемым остаткам пыльцы) (в основном – по работе М.И.Нейштадта [Нейштадт 1957]), пришёл к выводу о необходимости локализовать уральскую прародину в зоне сибирской тёмнохвойной тайги, что для VI-IV тыс. до н.э. означало бы территорию в основном восточнее Урала: между бассейном Нижней и Средней Оби и верхним течением Печоры (по П.Хайду). Для прафинно-угорского времени предполагался сдвиг в юго-западном направлении, в район Прикамья, где предки финно-угров могли познакомиться с вязом и медоносной пчелой (с последней – через посредство южных соседей, индоиранцев, из языка которых, согласно традиционным взглядам, заимствованы слова “пчела” и “мёд” в прафинно-угорский) [Hajdú 1964b; Хайду 1985:155-160].

Схема П.Хайду хорошо согласовывалась с выводами, сделанными российскими археологами как до [Третьяков 1961; Чернецов 1963], так и после её появления [Халиков 1967; Бадер 1972] – о связи древнейших этапов уральской предьстории с археологическими культурами камско-уральского и урало-западносибирского круга. В дальнейшем эта схема была существенно дополнена в работах венгерского этнолога П.Вереша, который, используя

новейшие работы российских палинологов (см., напр. [Хотинский 1977], показывающие наличие липы и вяза в западносибирских лесах в атлантикуме (VI-III тыс. до н.э.), сделал вывод о возможности знакомства прафинно-угров с широколиственными породами деревьев и с медоносной пчелой непосредственно на территории сегодняшней Западной Сибири – без необходимости предполагать выход носителей финно-угорского праязыка в Европу [Veres 1971; Veres 1991]. Вопросы предыстории и прародины самодийцев впервые были детально разработаны на хорошем научном уровне лишь в последние десятилетия в работах Е.А.Хелимского [Хелимский 1983; Хелимский 1989] (ранняя работа [Hajdú 1952] уже в своё время не выглядела удачной, а сегодня явно устарела).

Ниже я в основном опираюсь на работы упомянутых здесь исследователей, хотя следует отметить, что время от времени разными авторами высказываются и иные точки зрения относительно локализации уральской и финно-угорской прародины (см., например, [László 1961; Мейнандер 1982; Nunez 1987; Makkaу 1990; Sammalahiti 1995]), как правило имеющие весьма слабое обоснование (чаще всего – чисто умозрительное или одностороннее, с особым акцентом на данные археологии, при этом археологический кругозор сочинителей этих гипотез, за исключением Дь.Ласло и К.Ф.Мейнандера, ограничен пределами Фенноскандии. Показательно, что К.Ф.Мейнандер вынужден был в значительной мере пересмотреть свою точку зрения уже после минимального знакомства с восточноевропейскими археологическими материалами [Meinander 1984]. См. вполне достаточную и трезвую критику схем М.Нуньеса, например, в [Welinder 1989:88]; см. также ниже в V разделе о проблеме внешних связей уральского и индоевропейского праязыков и примечание 20). Вследствие этого не представляется целесообразным заниматься здесь их подробной критикой: достаточно сказать, что любая из этих гипотез оказывается абсолютно неспособной как-либо объяснить генезис самодийцев, обских угров (да и, в общем-то, пермян) и факт генетического родства финно-угорских и самодийских языков – этот вопрос чаще всего просто игнорируется их авторами; подобное было простительно для работ конца прошлого и начала нашего века (см. выше), но едва ли такой подход может рассматриваться всерьёз сегодня.

При определении прауральского экологического ареала с помощью метода *лингвистической палеонтологии* существенное значение имеют следующие реконструируемые для уральского праязыка названия деревьев:

– ПУ \**kōse* “ель, *Picea*” – дериваты корня представлены практически во всех уральских языках (удм. *kiz* “ель”) [UEW:222], о древности корня свидетельствуют параллели в тунгусо-маньчжурских языках: ПТМ \**k'asi* “ель”, которое можно считать уральским (ранне-прасамодийским) заимствованием; в монгольских: мо. *χusi* “кедр”, возможно – того же происхождения, и в тюркских: ПТю \**kaδy* “ель”, являющиеся, очевидно,

заимствованием из прасамодийского [UEW:222; Хелимский 1983:8-9; Collinder 1965:142]. Ареал распространения ели в атлантикуме, как и в историческое время, был весьма широк, однако следует отметить, что в бореале (середина VIII – VII тыс. до н.э.) и в начале атлантикума отмечается значительное угнетение и даже исчезновение ели на территории центра европейской России (южная граница распространения в VIII – начале VI тыс. до н.э., по М.И.Нейштадту – линия, идущая от истоков Волги по водоразделу бассейнов Волги и Северной Двины [Нейштадт 1957:230-231]); на пыльцевых диаграммах болот Восточной Прибалтики и центра европейской России ель начинает играть заметную роль только во второй половине атлантикума – то есть, в период когда уральская праязыковая общность уже перестала существовать, в то время, как на Урале и в Западной Сибири пыльца ели присутствует в большом количестве и в отложениях раннего атлантикума [Хотинский 1977]. См. также ниже и рис.7.

– ПУ \**nulks* “пихта, Abies” – дериваты имеются в марийском, пермских (удм. *n̄il-pu*), обско-угорских, селькупском, камасинском языках. О значимости пихты как одного из основных деревьев, издревле известных уральцам, свидетельствует, возможно, удм. *n̄ules* “лес”, образованное от этого же уральского корня [UEW:327]; на древность корня указывает юкагирская параллель: юкаг. (Кол.) *nolut* “вид дерева” [Николаева 1988b:84]. По данным М.И.Нейштадта, вплоть до начала VI тыс. до н.э. сибирская пихта полностью отсутствовала западнее Урала, её постепенное продвижение в Европу началось лишь с VI тыс. до н.э., одновременно с максимальным расцветом её на Урале и в Западной Сибири; при этом в Восточной Европе ареал сибирской пихты достиг максимума (примерно до 42° вост. долг. на западе), по-видимому, лишь в позднейшее время; для эпохи же уральской и финно-угорской прародины вряд ли можно говорить о её распространении западнее верховьев Камы и Печоры [Нейштадт 1957:222-223].

– ПУ \**seks* “кедр” (точнее – “сибирская кедровая сосна, Pinus sembra Sibirica” – дериваты сохранились в пермских (удм. *susi* “можжевельник”, с переносом значения, в коми *sos* – “кедр”), обско-угорских, самодийских языках. На древность слова в уральской среде и исконное значение “кедр” указывают сдвиг значения в удмуртском (на территории проживания удмуртов встречаются лишь искусственные посадки кедра) и то обстоятельство, что это слово было, по-видимому, дважды заимствовано в тунгусо-маньчжурские языки (сибирская кедровая сосна неизвестна в Восточной Сибири, где в самом общем плане следует искать прародину тунгусо-маньчжурских народов): из раннего прасамодийского языка ПТМ \**suktu* “кедр” и из прасамодийского или праугорского – ПТМ \**takti* “гж”, а также – в тюркские: ПТю \**tyt* “лиственница” [UEW:445; Хелимский 1983:8-9]. На протяжении всего атлантического периода кедр практически отсутствовал не только на северо-востоке Восточной Европы (за исключением незначительных следов пыльцы в верховьях Печоры), но и на Урале: основной областью его распространения

была Западная Сибирь (включая бассейн Енисея и Алтай), а реально проникновение его на Урал и в Предуралье следует относить – самое раннее – к середине суббореала [Нейштадт 1957:251-252] (см. также пыльцевые диаграммы в [Хотинский 1977:68-87]). Находки неолитических (?) изделий из сибирского кедра на территории Финляндии [Eugoreus 1929] могут свидетельствовать лишь о контактах между сибирскими и скандинавскими племенами в неолите (впрочем, такая датировка не гарантирована), но никак не о широком распространении кедра в Восточной Европе.

Данный комплекс слов однозначно свидетельствует о проживании носителей уральского и финно-угорского праязыков в зоне *темнохвойной тайги западносибирского типа*. Следует при этом заметить, что в реконструируемом прауральском словаре практически нет слов, обозначающих понятия, которые были бы совершенно нехарактерны для этой природной зоны.

На относительно северную локализацию прауральского экологического ареала в пределах зоны темнохвойной тайги указывает наличие в прауральском словаре ряда терминов для обозначения северного оленя:

– ПУ / ПФУ *\*kunta* “(дикий) северный олень” – саамско-мансийско(-самодийское ?) соответствие, имеющее параллели в монгольских (монг. *qanda-yai* “лось”) и тунгусских языках (эвк. *kandaga* “лось”, эвен. *kanda* “домашний северный олень чукотской или корякской породы”) [UEW:206-207; Collinder 1965:146];

– ПУ *\*poča* “северный олень” / “телёнок северного оленя” – саамско-марийско - удмуртско (*pužej* “олень”) - обско-угорская параллель с нетривиальными соответствиями в финском и камасинском языках. С данным корнем сопоставимы юкаг. (Кол.) *pieže* “лось” и ПТМ *\*bučen* “косуля” [UEW:387-388];

– ПУ / ПФУ *\*šarta* “олень, (молодой) северный олень” – дериваты имеются в мордовских, марийском, обско-угорских, весьма сомнительные параллели – в ненецком и селькупском языках. Опять-таки примечательны тюркские (шор. *sartak* “олень” и др. [Räsänen 1969:405]) и монгольские (хотя и гораздо более сомнительные как в фонетическом, так и в семантическом плане: ср. монг. *sarlay* “як”) параллели [UEW:464];

– ПУ *\*tewā* “лось или олень” – прибалтийско-финско - самодийская параллель, корень реконструируется не без проблем [UEW:522-523], однако ПСам *\*teā* / *\*ceā* “(домашний) северный олень” реконструируется абсолютно надёжно [Janhunen 1977:155]. Если в ПСам всё-таки *\*teā*, на что указывает и прибалтийско-финская параллель, то не следует отбрасывать старое сопоставление этого корня со словами тюркских и монгольских языков: ПТю *\*täbā*, мо. *temegen* “верблюд” [Collinder 1965:148; Räsänen 1969:468]. Возможно,

это древнее слово для обозначения копытного животного вообще. Не исключено, что к этому же корню имеет отношение и юкаг. (Кол.) *tolow*, (Т.) *talawj* “дикий олень”.

Показательно также наличие в прауральском словаре названия для специфически северной (средне-севернотаёжной и тундровой) ягоды:

– ПУ *\*mura* “морозика, *Rubus chamaemorus*” с сохранившимися рефлексам корня в прибалтийско-финских, коми, обско-угорских и северно-самодийских языках. Любопытно наличие параллели в индоевропейских языках: др.-гр. *μоров* “ежевика”, арм. *mor* “тж” [UEW:287; Collinder 1965:120]. Возможно, данные слова восходят к древнему ностратическому или миграционному евразийскому корню, но для нас важно, что для прауральского надёжно реконструируется значение “морозика”. Возможно, из самодийских языков (праязыка ?) заимствовано эвк. *morogo* “морозика” [UEW:287].

С другой стороны, следующие реконструируемые прауральские зоонимы указывают скорее на области южной и средней тайги (а не северной тайги и лесотундры):

– ПУ *\*nukse* “соболь, *Martes zibellina*” – корень сохранился в прибалтийско-финских, пермских (удм. *niz* “соболь”), угорских языках, причём, в эстонском и венгерском – в значении “куница”, что естественно, так как на территориях проживания этих народов соболь неизвестен, самодийская параллель не очень надёжна: нен. (Т.) *noxo* “песец”, (Л) *noha* “куница” [UEW:326], однако проблемы снимаются наличием прекрасного соответствия в юкагирском языке: юкаг. (Кол.) *noqšə*, (Т.) *noqšon* “соболь” [Николаева 1988b:84]; соболь ещё в позднем плейстоцене распространился из Сибири на Урал [Кузьмина 1971:108-111], в историческое время соболь был известен и в лесах Восточной Европы, куда, очевидно, проник с востока относительно поздно, так как является типичным обитателем сибирской тайги, особенно – кедровых лесов (примечателен сдвиг значения на севере, в ненецком), что ещё раз подкрепляет сделанный выше вывод о локализации прауральского и прафинно-угорского экологического ареалов в пределах зоны темнохвойной сибирской тайги;

– ПУ *\*rije* “рябчик” – с дериватами в прибалтийско-финских, саамских, мордовских, угорских, селькупском и камасинском языках. И вновь имеется параллель в тунгусо-маньчжурских языках: ПТМ *\*rijz(-kz)* “рябчик” [UEW:383; Collinder 1965:151];

– ПУ *\*kūje* “змея” – дериваты имеются в прибалтийско-финских, мордовских, марийском, удмуртском (*kij* “змея”), венгерском, ненецком (в значении “водное насекомое” < \* “червь”), селькупском языках [UEW:154-155]; и вновь сдвиг значения в ненецком не случаен: змеи не живут далеко на севере (по А.Брэму – не севернее 67° с.ш.).

Таким образом, прауральский экологический ареал охватывал области средней и южной темнохвойной тайги западносибирского типа. Именно с этой экологической нишей следует связывать древнейшие этапы уральской предьстории. Поэтому принципиально важное значение имеет установленный по данным палинологических анализов факт эпохального сдвига области темнохвойной еловой тайги в Северной Евразии в голоцене: с центрально-западносибирского преимущественно района в бореале (в VII-VIII тыс. до н.э.) на Урал и север и центр Восточной Европы во второй половине суббореала (во второй половине II – первой половине I тыс. до н.э.) – см. рис.7.

Исходя из приведённых выше данных о распространении отдельных пород деревьев и видов животных и принимая во внимание общую картину распространения темнохвойной тайги в голоцене (рис. 7, см. также [Хотинский 1977:159-164]), можно сделать вывод о том, что в первой половине и середине атлантикума, в эпоху, непосредственно предшествовавшую распаду уральского праязыка, западные границы прауральского экологического ареала проходили в основном по Уралу с возможным включением в него северного Приуралья (район верхнего течения Печоры, в какой-то мере, возможно – левые притоки верхней Камы). На востоке пределом этого ареала был район оз. Байкал, верхнего течения Лены и Витима. Северная граница, вероятно, проходила по линии 65–68° с.ш. (учитывая сдвиг на север границы лес / тундра в условиях более тёплого климата в атлантикуме). Южную границу можно провести примерно по линии, соединяющей исток Ангары, Новосибирское Приобье, нижнее течение Ишима и Тобола, Средний Урал.

Дополнительную и очень важную информацию о прауральском экологическом ареале может принести анализ названий рыб в уральских языках: в отличие от растений и животных ареалы обитания отдельных видов рыб на протяжении голоцена практически не изменялись, либо изменялись очень мало, преимущественно в позднейшее время, под влиянием антропогенного фактора [Цепкин 1966; Цепкин 1981]. Кроме того, если ареалы распространения животных и растений связаны принадлежностью к определённой природной зоне, то ареалы обитания рыб более независимы от колебаний границ природных зон.

Для уральского праязыка восстанавливаются следующие названия рыб:

– ПУ \**ončz* “нельма, белорыбица, *Stenodus leucichthys*” – саамско - коми (*už* “нельма”) - обско-угорско - самодийская параллель с повсеместно сохранившимся исконным значением [UEW:339]. Данная весьма ценная промысловая рыба распространена в бассейнах рек Северного Ледовитого океана от Кольского полуострова до Восточной Сибири включительно (сибирское и северное русское название – *нельма*) и в бассейне Волги и р. Урал (*белорыбица*), причём в древности она достигала и верхних течений этих рек [Рыбы 1969:111; Цепкин 1981: 67] – см. рис. 8,3.

– ПУ *\*tolke* “линь, *Tinca tinca*” – прибалтийско-финско - мордовско - марийско - угорско - селькупская параллель (в селькупском значение “карась, *Carassius carassius*”, во всех остальных “линь”) [UEW:532]. Ареал обитания см. на рис. 8,4. В Сибири ареал обитания линия ограничен на востоке нижним течением Ангары, вообще, будучи теплолюбивой рыбой, он в северных районах обозначенного ареала и в Сибири относительно редок в наши дни, но для тёплого атлантикума следует предполагать его более широкое распространение на севере и на востоке (возможно, с этим связан сдвиг значения в селькупском).

– ПФУ *\*šampe* “осётр, *Acipenser baeri* / *guldenstadtii* / *sturio*” – прибалтийско-финско - мансийская параллель [UEW:462]. Данный корень трудно отделять от ПСам *\*šūmpā* / *\*šūmpā* “обух; спинка рыбы, ножа и т.д.” с производным энецко-ненецким ихтионимом *\*šūmpā-ŋkā* “муksун, *Coregonus muksun*” / “шокур, чир, *Coregonus nasus*” (буквально: “\*спиной, широкоспинный”). По-видимому, в прафинно-угорском возник аналогичный описательный термин для осетра: ПФУ *\*šampe-ŋ*-γ букв. “с (широкой) спиной, спиной”. Наличие ПСам *\*wekānā* “осётр” [Janhunen 1977:174] и параллели хант. (Дем., Вах, Вас.) *soχ* ,(Низ.) *suχ* “осётр” – койб. (Паллас) *sigge-wulla* “осётр” [Sebestyén 1935:27] вкпе с предложенной этимологией прафинно-угорского названия осетра как описательного термина позволяют предполагать, что эта рыба была известна носителям не только финно-угорского и самодийского, но и уральского праязыков.– с последующей заменой исконого термина описательными вследствие табуизации, связанной, возможно, с особым отношением к осетру (см. также [Napolskikh 1993:46–49]). Осётр до сих пор в изобилии имеется во всех сибирских реках, будучи, правда, редок в верховьях малых их притоков, текущих с гор, в частности – с Урала (*сибирский осётр, Acipenser baeri*), до недавнего прошлого был характернейшей рыбой бассейна Волги, встречаясь в её бассейне вплоть до верховий крупных рек (*волжский осётр, Acipenser guldenstadtii*), а также обитал (и обитает) и в реках Центральной и Западной Европы бассейна Атлантического океана и, в частности, Балтики (*Acipenser sturio*). По-видимому, он никогда не встречался в Печоре, Северной Двине и других восточноевропейских реках бассейна Северного Ледовитого океана (см. рис. 8,1).

– ПУ *\*kārš* “стерлядь, *Acipenser ruthenus*” – дериваты корня сохранны в обско-угорских и ненецком языках, имеется и удмуртская параллель (*karej* “стерлядь”), но только в словаре Палласа (в современном удмуртском языке это слово неизвестно), что даёт основания сомневаться в её реальности [UEW:139]. “Аргумент стерляди” позволяет исключить из прауральского экологического ареала бассейны рек Балтийского моря, Печоры, Мезени и сибирских рек восточнее Енисея (см. рис. 8,2). Наличие в прауральском ихтионимическом фонде названий двух осетровых рыб указывает на то, что

этот фонд должен был сформироваться либо в бассейне Волги, либо в бассейнах Оби-Иртыша и Енисея.

– ПУ \**korz* – прибалтийско-финско - саамско - коми - самодийская параллель, для которой традиционно принято восстанавливать значение “какой-то вид мелкой рыбы” [UEW:187], следует, однако, заметить, что в саамском языке дериват этого корня (К. *kuor*<sup>а</sup>) обозначает “ сига (*Coregonus lavaretus*) небольших размеров”, а в самодийских языках – также разные виды сиговых (*Coregonidae*): сельк. (Таз) *qōr* “муксун, *Coregonus muksun*”; койб. *churru* – сиговая рыба ( сиг –? ): “*Salmo coregonides*” у Палласа). Можно, по-видимому, предположить, что и в праязыке данным словом обозначали какую-то рыбу из семейства сиговых (см. рис. 8,5).

– ПУ \**key-* ( / \**kew-*) > фин. (Лённрот) *kiunki* “лосось-самец, заходящий осенью в реки”, *kiunki* “толстый лосось, наиболее вкусный осенью, когда он имеет блестяще-белый цвет” (из прибалтийско-финских, возможно, заимствовано латыш. *kenkis* “вид лосося, Hakenlachs”) – саам. (Нуор.) *kejG* “маленький сиг, *Coregonus lavaretus*” – хант. (С) (Паллас) *kegchull*, (Альквист) *keŋ-xul* “*Salmo nasutus*” у Палласа и “*Coregonus albula / nasutus*” у Альквиста, скорее всего – “чир, шокур, *Coregonus nasus*” – нен. (Паллас) *chy-challe* “тж” [Sebestyén 1935:18]. Сопоставление не слишком надёжное: ненецкое слово зафиксировано только у Палласа, обычное ненецкое название чира – *iðurca* (вероятно – по крайней мере прасеверносамодийское новообразование от ПСам \**wil* (> нен. *iŷ*) “вода” – ср. нган. *beŋaŋa* “чир” при *biŷ* “вода”); хантыйское слово может оказаться простым описательным термином “камень-рыба” (хотя и не обязательно [DEWOS:600]), смысл которого, впрочем, совершенно непонятен. Для палеоисторических построений данная этимология, в случае её принятия, может иметь решающее значение: ареал обитания чира включает в себя помимо сибирских рек только бассейн Печоры (см. рис. 8,6) – в связи с этим дериваты данного корня должны были бы приобрести новые значения в прибалтийско-финских и саамском языках, но могли сохраниться в хантыйском и (?) ненецком. Важно также то, что в бассейне Енисея и восточнее чир проникает преимущественно только в нижнее течение крупных рек (см. рис. 8,6), – этим может быть объяснено исчезновение прауральского слова в большинстве диалектов прасамодийского, так как прасамодийский экологический ареал следует локализовать в южнотаёжной части Обско-Енисейского междуречья (см. ниже).

Возможность реконструкции для прауральского / прафино-угорского словаря названия хотя бы для одной из сиговых рыб (выше приведены две возможные этимологии, см. также ниже о ПФУ \**corz(-k3l-ŋk3)* “пелядь, *Coregonus peled*”) весьма важна, так как позволяет исключить из праязыкового экологического ареала бассейн Волги, где сиговые рыбы отсутствуют, а также – бассейны верхнего Енисея, Ангары и рек Восточной



Сибири (см. область распространения сиговых на рис. 8,5-7). Это же обстоятельство, с другой стороны, делает весьма маловероятной возможность сохранения следов древних названий сиговых рыб в большинстве финно-пермских языков.

Следует отметить, что не удаётся реконструировать прауральские / прафинно-угорские название для европейских рыб, неизвестных в Сибири, как, например, *сома*, *Siluris glanis* (ПФУ \**sākā* [UEW:469] могло равным образом обозначать *налима*, *Lota lota*, широко распространённого в Сибири) или *благородного лосося*, *сёмги*, *Salmo salar* (см. об этом подробнее [Napolskikh 1993:41-45; Hajdú 1988:68-69]). С другой стороны, названия по крайней мере двух основных, самых заметных и специфичных рыб бассейна Балтики – той же *сёмги*, *Salmo salar* (см. рис. 8,8) и *угря*, *Anguilla anguilla* в прибалтийско-финских (фин. *lohi* “лосось”, *ankerias* “угорь”) и саамском (Н. *huossâ* “лосось”) языках заимствованы из балтских (ср. лит. *lāšis* “лосось”, *ungurys* “угорь”), что должно рассматриваться как однозначное свидетельство позднего появления носителей финно-угорской речи на берегах рек бассейна Балтийского моря (см. ещё у [Ravila 1949:11], подробнее и со ссылкой на других авторов – [Napolskikh 1993:41-44]). Возможные реконструкции прауральских / прафинно-угорских названий для *налима*, *язя*, *плотвы* и некоторых других рыб малозначимы для палеоисторических построений, так как названные виды обитают практически повсеместно в Восточной Европе и Западной и Центральной Сибири.

Таким образом, реконструируемый для уральского прайзыка набор названий рыб мог сформироваться у населения, обитавшего по берегам Оби, Иртыша, среднего Енисея и их притоков, за исключением крайне северных частей их бассейнов и горных районов, где эти реки и их притоки берут начало (см. также о возможностях древнего рыболовства в этом регионе [Napolskikh 1993:52-56]).

Можно, таким образом, сделать вывод о том, что метод лингвистической палеонтологии позволяет определить прауральский экологический ареал как территорию, ограниченную на западе Уральским хребтом, на севере – примерно Полярным кругом, на востоке – районом нижнего течения Ангары и Подкаменной Тунгуски и среднего течения Енисея, на юге – примерно современной южной границей западносибирской тайги от северных предгорий Саян и Алтая до нижнего течения Тобола и Среднего Урала включительно (см. рис. 7).

Прафинно-угорский экологический ареал должен быть определён для III тыс. до н.э. (см. выше), то есть для начала и первой трети *суббореала*, бывшей в палеобиогеографическом плане весьма сложной эпохой; в самом начале суббореала (примерно в начале III тыс. до н.э.) начинается сильное похолодание, сопровождавшееся общей деградацией лесов Сибири и Восточной Европы у их северных пределов и, в частности, угнетением широколиственных пород (липа, вяз) на севере Восточной Европы, на Урале и в юго-западной части

Западной Сибири, где они распространились в предшествующую эпоху во время господства тёплого атлантического климата; происходит сдвиг границ тундры / леса и тёмнохвойной тайги / широколиственных лесов на юг и начинается вытеснение широколиственных деревьев из Сибири и, по-видимому, наступление тёмнохвойной тайги в Восточной Европе, хотя максимум его имел место позднее – в последней трети суббореала (начиная с середины II тыс. до н.э. – см. рис. 7,2). Второй подпериод суббореала, включающий в себя последние века III – первую половину II тыс. до н.э., характеризуется новым потеплением и повторным расцветом широколиственных лесов, правда, достаточно кратковременным [Хотинский 1977:163-164].

Для прафинно-угорского словаря представляется возможным предполагать сохранение упомянутых выше старых (прауральских) названий деревьев (ели, пихты, кедра). К ним, по-видимому, следует присоединить ещё две этимологии:

– ПФУ *nakrz* “кедровый орех, шишка” – прибалтийско-финско - обско-угорская параллель, причём, в прибалтийско-финских языках дериваты этого корня имеют значение “репа” (в финском, эстонском) и “картофель” (в ливском *mā-na'grāz* – буквально “земляной *na'grāz*”) – семантический переход вполне естественный [UEW:298]. Данная этимология важна в том смысле, что она указывает на знакомство носителей финно-угорского праязыка именно с живым деревом, а не просто с древесной шишкой кедра как материалом (см. выше о неолитических изделиях из Финляндии).

– ПФУ *\*nānz* “лиственница, *Larix Sibirica*” – коми (*nia* “лиственница”) - обско-угорская параллель [UEW: 302]. Имеется и прасамодийское название для лиственницы: *\*tojmā* [Janhunen 1977:164]. В атлантикуме и суббореале лиственницы почти не было западнее Урала, на Урале и в Зауралье она встречалась (при этом в послеледниковое время и в бореале, примерно в IX-VII тыс. до н.э., именно Урал был основным центром её распространения), на севере и востоке Западной Сибири её было больше и ещё больше – в Восточной Сибири [Нейштадт 1957:240; Хотинский 1977]. Возможно, именно отмечаемое палеоботаниками тяготение лиственницы в голоцене, с одной стороны – к Уралу (в более раннее время), а с другой – к Восточной Сибири и объясняет различные названия этого дерева в финно-угорском и самодийском праязыках.

Помимо названий хвойных деревьев, известных ещё носителям уральского праязыка, для прафинно-угорского уровня можно предполагать знакомство с широколиственными породами, на что указывают этимологии:

– ПФУ *\*śala* “вяз, *Ulmus*” с производными в прибалтийско-финских, мордовских, марийском, венгерском языках [UEW:458]. В атлантикуме вяз (наряду с липой – см. ниже) был, видимо, достаточно широко распространён в Западной Сибири [Волкова, Левина 1982:189] и тем более – на Урале, и даже в период раннего суббореального похолодания наиболее холодостойкие формы вяза сохранялись, по крайней мере, на Среднем Урале [Хотинский 1977:164].

Любопытно, что ПФУ \**sala* “вяз” имеет достаточно надёжную параллель в юкагирском языке: (К.) *šāl*, (Т.) *sāl* “дерево” [Николаева 1988b:84]; указывает ли это на наличие именно вяза на территории юкагиро-уральской прародины – сказать трудно, однако древность данного корня в уральских языках очевидна (см. также ниже), что снимает возможные допущения об индоевропейском его происхождении (ср. лат. *salix* “ива” и т.д. [UEW:458]).

– ф.-перм. \**nine* “лыко” > \**nine-puwz* “(молодая) липа, *Tilia*” – прибалтийско-финско - марийско - пермская параллель (удм. *nin* “лыко”) [UEW:707]. Хотя в угорских языках дериватов этого корня не сохранилось, надо полагать, что носителям финно-угорского праязыка липа должна была быть известна, поскольку она вместе с вязом образовывала в атлантикуме западносибирскую периферию европейских широколиственных лесов [Волкова, Левина 1982:189], и сохраняется на юге Западной Сибири (в бассейне Иртыша) и по сей день [Древесные породы мира:194]. Возможно, впрочем, учитывая введённую выше юкагирскую параллель прафинно-угорскому названию вяза, имеющую значение “дерево вообще”, что для носителей финно-угорского праязыка – исконных обитателей темнохвойной тайги – различие между отдельными видами широколиственных деревьев не имело принципиального значения, и древним словом \**sala* они обозначали и вяз, и липу: ср. манс. (Тав.) *sēlt* “лыко”, *sēlt-pa* “липа”, (Пел.) *sēlt* “лыко”, (НКон.) *sālt* “тж”, (С.) *sālt* “тж”, обычно, правда, не сравниваемое с ПФУ \**sala* [UEW:462].

Таким образом, прафинно-угорский экологический ареал должен быть включать в себя территории распространения вяза и липы, которые в первой трети суббореала сходили на нет в Западной Сибири, но сохранялись на Среднем Урале. Надо полагать, что данные деревья должны были быть известны и носителям уральского праязыка во времена атлантического максимума широколиственных в Западной Сибири, но в самодийских языках их названия не сохранились вследствие того, что предки самодийцев с очень древнего времени не встречались в природе с этими деревьями (см. ниже).

Иновацией прафинно-угорского времени должны быть признаны названия для пчелы и мёда, заимствованные в финно-угорский праязык из какого-то индоевропейского языка:

– ПФУ \**mekše* “пчела” с дериватами во всех финно-угорских языках, кроме саамского и обско-угорских (удм. *muš* “пчела” [UEW:273], – следует, впрочем, сказать, что манс. (С) *maʔ* (*may-*) “мёд”, хант. (Дем.) *māx* “мёд”, (Каз.) *taw* “тж” и др. являются скорее всего остатками сложных слов типа хант. (*Вах*) *māy-woj* (где *woj* – “жир”), означавших изначально буквально “пчелиный жир”, и восходят, таким образом, к ПФУ \**mekše* “пчела”, а не к фантастическому ПФУ \**mākz* “мёд” как в [UEW:266]. Данное слово заимствовано, вероятно, из какого-то раннего индоиранского диалекта – ср. др.-инд. *makṣā* “муха, пчела”,

ав. *maḡṣī* “тж”, дард. *mecek* “пчела” (< ПИЕ \**meks-* “муха”) [UEW:273; Rédei 1986:45].

– ПФУ \**met(e)* “мёд” с сохранившимися производными во всех финно-пермских языках и в венгерском (удм. *mi* “мёд”) [UEW:273]. Данное слово может быть заимствованием из того же, раннего индоиранского языка-источника: ср. др.-инд. *madhu* “сладкий напиток, сома, мёд”, ав. *maḡi* “вино” (< ПИЕ \**medhu-* “мёд, медовуха”) [UEW:273; Rédei 1986:45], возможно, однако, (прежде всего исходя из различий в семантике финно-угорских и индоиранских слов, учитывая также и фонетические трудности), что источником заимствования был тохарский, точнее – прототохарский язык: тох. В *mit* “мёд” [Rédei 1986:45; Напольских 1994:37] (см. ниже, раздел V).

По-видимому, данные этимологии можно рассматривать как свидетельства о расширении финно-угорского праязыкового экологического ареала по сравнению с прауральским в южном и / или западном направлении: если бы пчела и мёд были известны ещё носителям уральского праязыка, непонятны были бы причины заимствования этих слов в прафинно-угорский. Подчеркну, что в данном случае принципиальное значение имеет не территориальный фактор – распространение в наши дни пчелы только западнее Урала (как было показано в работах П.Вереша [Veres 1971; Veres 1991], в древности, особенно в атлантикуме, да и в первой половине суббореала, когда ещё сохранялись на Урале и на юго-западе Западной Сибири широколиственные леса с таким медоносом, как липа, вполне возможно предполагать наличие на данных территориях и дикой пчелы), – а то обстоятельство, что данные термины заимствованы финно-уграми из индоевропейских языков, контакты с которыми в любом случае могли иметь место только в более южных и западных районах (см. также ниже).

По-видимому, в прафинно-угорское время сохранялись приведённые выше старые термины для северного оленя, соболя, рябчика, змеи, морошки. Почти так же обстоит дело с сохранностью прауральских названий рыб: с уверенностью можно предполагать сохранение в прафинно-угорском приведённых выше прауральских названий для нельмы, линя, осетра, стерляди, хуже обстоит дело с сиговыми (реконструкция семантики не столь очевидна для прафинно-угорского), однако набор сибирских рыб для прафинно-угорского уровня может быть дополнен следующим сравнением:

– ПФУ \**ćorз(-кз l-пкз)* > саам. (Н.) *čoarran* “лосось, зимующий в реке, мигрирующий весной в море и возвращающийся осенью в реку”, (Кар.) *šoarran* “лосось с бледной кожей, без икры и молок” – ППерм. \**ćerзг* “рыба” (коми *ćeri* “рыба”, удм. *ćorig* “тж”) – манс. (Со., Кон.) *sorëχ* “сырок, *Coregonus peled*” – хант. (Дем.) *sarəχ*, (Вах) *sarək*, (Каз.) *sorəχ* “сырок, *Coregonus peled*” [Sebestyén 1935:13-14,43]. Кажущееся несоответствие вокализма пермских слов саамскому и обско-угорскому может объясняться особенностями развития пермского вокализма в словах со старой суффиксацией (“пермский *улялут*” –

см.: [Напольских 1995]). Сдвиг значения в пермских языках напоминает развитие ПИЕ \*lak-so- “лосось” > тох. В *laks* “рыба” [UEW:653], на что указывала ещё И.Н.Шебештьен [Sebestyén 1935:44]. *Сырок*, будучи одной из важнейших промысловых рыб Обско-Иртышского бассейна, своего рода “рыбным хлебом” для обских угров, рыбой, открывающей *вошь* – весенний ход проходных рыб вверх по рекам Западной Сибири, полностью отсутствовал в бассейне Волги (в настоящее время *пелядь* искусственно акклиматизирована в Волге) [Борисов 1923:180-190; Рыбы 1969] (см. рис. 8,7), и переход значения \**“сырок”* = \**“основная рыба”* > *“рыба (вообще)”* представляется вполне естественным, если предполагать продвижение носителей языка из Западной Сибири в бассейн Волги-Камы, которое должно было произойти ещё в прафинно-угорское или в непосредственно пост-прафинно-угорское время.

Следующие прафинно-угорские зоонимы, не имеющие, как будто, параллелей в самодийских языках, также могут быть полезны при определении прафинно-угорского экологического ареала:

– ПФУ \**tokta* “гагара, *Gavia*” – финско - саамско - марийско - коми - обско-угорская параллель [UEW:530]. Из всех видов гагар только *чернозобая* (*Gavia arctica*) достаточно распространена в Восточной Европе: встречается севернее линии, соединяющей истоки Волги и Камы, с островными вкраплениями южнее, при этом в лесной зоне она достаточно редка, тяготея к крупным озёрам, устьям больших рек и морскому побережью, хотя в прошлом её ареал на юге мог быть значительно шире [Птицы 1982:259-264]. Прасамодийское название гагары \**hūñnā* [Janhunen 1977:112] могло первоначально (в прауральском) служить для обозначения какого-либо другого вида гагары.

– ПФУ \**maj*- “бобр, *Castor fiber*” – данный корень, по-видимому, ещё в праязыке подвергся суффиксации и отражён в разных языках по-разному: формы прибалтийско-финских (ф. *majava*, эст. *majaja* “бобр”) и, возможно, мордовских языков (Э *mijav* “тж”) соответствуют ПФУ \**maja*- с суффиксацией на \**-va* / \**-ja*, а формы саамских (Н. *maggjek* “бобр”), пермских (удм. *mij* “тж”), хантыйского (Вах *may* “тж”) языков возводимы к ПФУ \**maj(a)ka*. Думается, такое объяснение позволяет снять проблемы, приведшие автора UEW к отделению хантыйского слова от остальных финно-угорских: на самом деле несколько отдельно стоят только прибалтийско-финские формы, содержащие особую суффиксацию [UEW:264,697]. Бобр проник на Средний Урал и в южнотаёжную зону Западной Сибири с запада ещё в позднем плейстоцене [Алексеева 1971:22-24; Кузьмина 1971:108-111], но вряд ли когда-либо был распространён далеко на севере – по крайней мере, не только в Сибири, но и в Европе в историческое время северная граница его обитания проходила по линии 62-64° с.ш., и значимость этого обстоятельства учитывалась в исследованиях по уральской предьстории [Déscy 1965: 214-216;

Hajdú 1953:17-20]. Необходимо учитывать и возможность реконструкции прасамодийского названия для бобра – \**ruscā* [Janhunen 1977:129], хотя значение “бобр” сохранилось только в селькупском.

– ПФУ \**šije-le* “ёж, *Eginaceus europaeus*” с сохранившимися дериватами в прибалтийско-финских, мордовских, марийском, мансийском, венгерском языках [UEW:478]. В уралистике ещё с довоенного времени было принято использовать “аргумент ежа” для доказательства европейской локализации финно-угорской прародины. Между тем, ёж известен как реликтовое животное в Западной Сибири (например, в бассейне р. Васюган) и в наши дни [Кирюшин, Малолетко 1979:118] – тем более следует предполагать его распространение там в эпоху господства более тёплого климата в атлантикуме. Следовательно, “аргумент ежа”, как и “аргумент бобра” могут быть полезны лишь как указания на южно- или, по крайней мере, среднетаёжную или несколько более западную относительно прауральского локализацию прафинно-угорского экологического ареала, но не указывают однозначно на районы западнее Урала.

Таким образом, прафинно-угорский экологический ареал в III тыс. до н.э., по данным лингвистической палеонтологии, должен быть определён как в значительной мере совпадающий с западной и южной (юго-западной) частями прауральского экологического ареала (Средний Урал, Среднее и Южное Зауралье, юго-западный сектор Западной Сибири) с возможным включением в него районов к западу от Уральских гор – прежде всего, бассейнов Камы, верхней Вычегды и верховьев Печоры (см. рис.7,4).

Как уже было указано выше, проблема прародины самодийцев по данным языка была в последние десятилетия разработана Е.А.Хелимским, на основных положениях работ которого [Хелимский 1983; Хелимский 1989] основано дальнейшее изложение. Говоря о прасамодийском экологическом ареале, нужно иметь в виду, что время обособленного развития самодийского праязыка было очень длительным: с конца V тыс. до н.э. до конца I тыс. до н.э.. Следует, однако, заметить, что в течение этого периода, когда в Северной Евразии происходили значительные климатические и биогеографические сдвиги, носители самодийского праязыка, по всей вероятности, не покидали своего исконного экологического окружения – зоны темнохвойной западносибирской тайги, на что указывает, во-первых, хорошая сохранность прауральских названий таёжных деревьев практически во всех самодийских языках (ПСам \**kāšī* “ель”, ПСам \**iūā(-jēŋ)* “кедр”, ПСам \**śulka* “пихта” [Janhunen 1977:61,112,160] – см. соответствующие прауральские формы выше), во-вторых, то обстоятельство, что именно из прасамодийского могли быть заимствованы названия этих деревьев в тюркские и тунгусо-маньчжурские языки (см. там же), в-третьих, наконец, появление в прасамодийском словаре “новых” слов для обозначения таёжных деревьев (ПСам \**tojmā* “лиственница”

[Janhunen 1977:164]) и животных: (ПСам \**ki(j)* “соболь” [Janhunen 1977:69] – ср., впрочем, ПФУ \**keḍe* “шкура, мех” [UEW:142], таким образом, прасамодийское название соболя восходит, вероятно, к ПУ \**keḍ(e)* “мех, шкурка, пушной зверёк”, из ранней ПСам формы \**kił* (< \**keḍ*) заимствовано ПТю \**kił* / \**kiš* “соболь” [Хелимский 1989:7]; ПСам \**senkä* “глухарь” [Janhunen 1977:140]; ПСам \**wiŋkänca* “росомаха” [Janhunen 1977:176]). Особо значимы здесь прасамодийские названия для таких специфически западносибирских таёжных животных как *белка-летяга* (ПСам \**pensāj*) [Janhunen 1977:121]; *кедровка* (ПСам \**kāsā*) [Janhunen 1977:65,121], а также ПСам \**rajtā* “косуля” и ПСам \**mutā* “горный козёл”, указывающие скорее на южные, предгорные (Алтай, Саяны) области Западной и Средней Сибири [Хелимский 1986:131; Хелимский 1989:5,18], хотя, поскольку две последние реконструкции базируются на данных саяно-самодийских языков, они могут иметь отношение не к общесамодийской эпохе, а к более поздним ареально-генетическим контактам южных самодийских групп.

Для определения экологического ареала для поздне-прасамодийской эпохи (конец I тыс. до н.э. – начало I тыс. н.э.) важное значение имеют прасамодийские этимологии, свидетельствующие о наличии оленеводства (помимо названий для оленей разного возраста и пола, которые, в принципе, могли существовать и в языке охотников):

– ПСам \**kāncā* “нарты” [Janhunen 1977:52] – скорее всего, именно оленьи нарты, так как это значение имеют производные данного слова во всех языках, а использование собачьих упряжек по крайней мере в историческое время было нехарактерно для самодийцев;

– ПСам \**kāptā* “кастрированный олень” [Janhunen 1977:60];

– сюда же может быть отнесено и ПСам \**teā* “(домашний) северный олень” [Janhunen 1977:155] – хотя, естественно, остаётся неясным, с каких пор это слово начало применяться именно к домашнему оленю.

В то же время для самодийского праязыка реконструируется также слово, обозначавшее *лошадь*: ПСам \**juntā* [Janhunen 1977:49], заимствованное, вероятно, из тюркских языков – ср. др.-тюр. \**jund* “лошадь” (см. [Sinor 1967]). Это едва ли позволяет предполагать, что самодийское оленеводство развивалось далеко на севере, в тундре. О позднем выходе самодийцев в полярные районы свидетельствует отсутствие в общесамодийском лексиконе таких понятий, как *тундра* и *северное сияние* – при том, что прасеверно-самодийские (ненецко-энецко-нганасанские) \**jaŋor* “тундра” и \**karḗ* “северное сияние” являются, скорее всего, тунгусскими или тунгусо-маньчжурскими заимствованиями (ср. соответственно ПТМ \**jaŋ-ur* “ровное, мшистое место (на горе), горная тундра” и \**garpa-* “стрелять; излучать свет, сиять”) [Хелимский 1989:13].

Важно, что ПСам \**jām* “море” могло значить также “большая река”, а в ненецком языке его дериват (*jām*) означает конкретно “Обь” [Janhunen 1977:40], и в то же время ПСам \**jentāsa* “Енисей”, дериват которого в тазовском диалекте селькупского языка также означает “море” [Janhunen 1977:43], может быть заимствованием из тунгусского языка: эвк. *jendeyi* (в записи XVIII в. –*Ioandesī*) “Енисей” < (?) ПТМ \**jene* / \**jeje* “большая река” [Хелимский 1989:8]: это означает, во-первых, что в поздне-прасамодийскую эпоху носители самодийского праязыка обитали вблизи Енисея, во-вторых – что выход прасамодийцев к Енисею имел место в относительно позднее время, роль “большой реки” на более ранних этапах их предыстории могла играть Обь.

Изложенный здесь материал позволяет поместить прасамодийский экологический ареал в конце I тыс. до н.э. – начале I тыс. н.э. в зоне южной и / или средней западносибирской тайги, в междуречье Средней и Верхней Оби и Енисея.

## V. Внешние связи уральского, самодийского и финно-угорского праязыков

Помимо метода лингвистической палеонтологии для определения прародины важное значение могут иметь другие языковые данные, прежде всего в этой связи принято упоминать данные топонимики. Следует, однако, с сожалением констатировать, что анализ топонимических материалов приносит надёжные результаты лишь для достаточно поздних периодов. В частности, в уральстике разработаны вопросы происхождения дорусского пласта в топонимике севера Европейской России: можно говорить о примерных границах бывшего расселения пермян, марийцев, мордвы, мери, прибалтийских финнов и саамов [Vasmer 1934-1936; Матвеев 1964а; Матвеев 1979; Матвеев 1996; Муллонен 1994; и др.], однако хронологически эти разработки (если оставаться в рамках науки, о попытках выхода за эти рамки см. примечание 18) не ведут нас глубже одного-двух тысячелетий и, следовательно, не могут быть использованы при рассмотрении проблемы уральской прародины. Пожалуй, единственным ценным для нашей темы результатом этих блестящих исследований является отрицательный, а именно – вывод о том, что топонимические данные не дают оснований говорить о былом присутствии в Восточной Европе (пра-)самодийского и (пра-) угорского населения [Матвеев 1964б; Матвеев 1968] – за исключением былого присутствия западных групп манси в Приуралье (не далее Средней и Верхней Камы на западе),



что, впрочем, известно и по данным письменных источников [Матвеев 1982]<sup>18</sup>.

Более полезны в нашем случае данные о внешних генетических и контактных (ареальных) связях уральского праязыка с другими языками.

Вопрос о возможных генетических связях между финно-угорскими (resp. – уральскими) и *индоевропейскими* языками поднимался ещё в конце XIX века (см., напр. [Anderson 1879]), а в начале XX века уже имели место попытки его последовательно-позитивного решения [Pedersen 1933]. Позже эта проблема получила развитие в трудах Б.Коллиндера (прежде всего – [Collinder 1954a; 1965]), который, однако, оценивал перспективы гипотезы об урало-индоевропейском родстве весьма осторожно. Предпринятые в 1970–80-е гг. Б.Чопом попытки обосновать родство языков этих двух семей на материале морфологии и даже продемонстрировать выводимость индоевропейской флективной системы склонения из “индо-уральской” агглютинативной [Сор 1975 и др.] были не всегда достаточно надёжно аргументированы. Показателен, однако, вывод, к которому он пришёл – если действительно индоевропейская морфология развилась на базе “индо-уральской”, то следует постулировать былое существование по крайней мере двух стадий развития индоевропейского праязыка: ПИЕ I, ещё сохранявший древний агглютинативный строй и ПИЕ II (собственно индоевропейский), где уже установился флективный строй. Надо полагать, что такой вывод (сделанный, подчеркну, пожалуй самым большим в последние годы энтузиастом гипотезы урало-индоевропейского родства) приводит к необходимости предполагать, что между весьма гипотетическим “индо-уральским” и собственно индоевропейским праязыком должен был лежать длительный (в несколько тысяч лет) период обособленного развития протоиндоевропейского и протоуральского.

Весьма популярна в последние десятилетия у зарубежных исследователей гипотеза А.-М.Уессона [Uesson 1970]. Суть её в том, что для

---

<sup>18</sup> Мнение о былом широком расселении угров в лесах Восточной Европы (до р. Мезень на западе) восходит – если не считать абсолютно ненаучного даже для своего времени сочинения Д.П.Европеуса [Europeus 1874] – к работам А.Каннисто [Kannisto 1927a; Kannisto 1927b], которые представляют собой, по сути дела, (в отношении крайнего северо-востока Восточной Европы) простую подборку субстратных дорусских, а также и русских, казавшихся ему значимыми, топонимов, большинство из которых не имеет даже гадательной (обско-)угорской этимологии. Ещё менее обоснованы попытки разных авторов этимологизировать некоторые гидронимы лесной зоны Восточной Европы из самодийских языков (чаще всего – из современных селькупских диалектов!) – см., напр. [Дульзон 1961; Беккер 1970; Атаманов 1988:93-95]. Достаточный критический разбор этих построений см. в указанных в тексте работах А.К.Матвеева. Жаль, что его взвешенная, научно выверенная аргументация остаётся для специалистов смежных дисциплин (чаще всего – археологов) известной менее, чем с чрезвычайным энтузиазмом преподносимые, но практически совершенно беспомощные домыслы его заочных оппонентов.

древнейших эпох предполагается широкое распространение явлений смешивания, “скрещивания” языков, и известные общие черты в индоевропейских и уральских языках объявляются наследием “общих” компонентов, принявших участие в “синтезе”, с одной стороны, индоевропейского, а с другой – уральского праязыка, в то время как различия их обусловлены преимущественным участием в их сложении разнородных компонентов. Не стану заниматься здесь разбором сих сомнительных построений, отмечу лишь, что данная схема основана преимущественно не на конкретном анализе лингвистического материала, а на умозрительных наблюдениях автора. Как бы то ни было, для нас важно, что схема А.-М. Уссона ведёт примерно к тем же историческим импликациям, что и приведённые выше выводы Б.Чопа и согласуется с осторожной позицией Б.Коллиндера: общие черты в индоевропейских и уральских языках на фоне их принципиальных системных различий выглядят явно недостаточными, чтобы можно было предполагать особую генетическую близость этих семей; если же они всё-таки имеют в конечном счёте “общий корень”, то он находится в столь глубокой древности, что для занимающего нас здесь вопроса о локализации поздней (см. выше раздел I, примечание 5) уральской (равно как и индоевропейской) прародины эта проблема абсолютно иррелевантна (см. также ниже о ностратической теории).

Едва ли как-то реально меняет картину предложенная недавно [Janhunen 1981; Sammalahti 1988] гипотеза о существовании в прауральском “ларингала” (некоего, обозначаемого как \**x* звука, повсеместно исчезнувшего впоследствии, но оставившего следы в виде долготы предшествовавшего гласного и т.п.), поскольку на самом деле речь идёт о наличии в прауральских словах некоего *глайда* (отнюдь не обязательно звука типа \**h* ! – см. альтернативные возможности типа \**w*, \**ŋ*, \**ɣ*, \**j* и др., указанные в [Хелимский 1995:29]), что отнюдь не даёт оснований говорить о сходстве между праиндоевропейской и прауральской фонетическими системами.

Итак, истоки уральского и индоевропейского праязыков (по крайней мере, на поздних этапах их существования) непосредственно не связаны друг с другом, их формирование проходило, по-видимому, в географически несмежных областях. Поэтому принципиальное значение имеет решение вопроса о том, когда, где и какие индоевропейские и уральские группы впервые вступили между собой в контакт. В последние десятилетия широкую известность на Западе приобрели труды финского германиста Ё.Койвулехто о древнейших заимствованиях в прибалтийско-финских (преимущественно) и других финно-угорских языках из индоевропейского языка очень архаичного облика (сохранявшего *ларингалы*), возможно – ранне-прото-германского, при этом – сатемного (!) (см. [Koivulehto 1991] и др. работы этого автора), имеющего сегодня уже изрядное количество продолжателей. Хотя работы этих авторов обычно преподносятся как принадлежащие к новейшим достижениям науки, с точки зрения трезвой методики историко-лингвистического анализа, они представляют собой нагромождения невероятных домыслов, явно

ошибочных или чрезвычайно надуманных построений, в принципе совершенно не учитывающих опыт не только лингвистической уралоистики, но и индоевропеистики, да и базовые принципы сравнительно-исторического языкознания вообще, вследствие чего, оценивая их, приходится делать вывод о “несостоятельности материала в целом (что, впрочем, может сочетаться с правомерностью некоторых этимологических решений)” и о полном отсутствии “историко-языковой и культурно-исторической значимости у выводов, построенных на таком материале” [Хелимский 1995:7] (см. также обстоятельную убедительную критику данных сочинений в [Ritter 1993]).

Таким образом, результаты новейших поисков следов древнейших индоевропейско-уральских контактов не вызывают, мягко говоря, доверия. Поэтому имеет смысл предметно рассматривать здесь не их, а более “традиционную” (во всяком случае, базирующуюся на гораздо более строгой научной аргументации, чем рассмотренная выше) точку зрения, отстаиваемую К.Редеи, согласно которой в прауральском лексиконе имеются-таки индоевропейские заимствования, отражающие язык-источник, близкий индоевропейскому праязыку или, по терминологии К.Редеи, к доарийскому диалекту этого праязыка [Rédei 1986:40-43]. Поскольку обычно для доказательства этого положения приводятся всего семь этимологий, имеет смысл рассмотреть их все:

– ПУ *\*mūye-* “давать; торговать, платить” < ПИЕ *\*mei-* “менять, обменивать”. В прауральском надо предполагать первичное значение “давать” (> “платить” etc.), что несколько затрудняет предположение о заимствовании индоевропейского корня с сугубо “обменно-торговой” семантикой. Кроме того, в случае такого предположения следовало бы реконструировать ПУ *\*mije-*, чего, однако, К.Редеи не делает, возможно, потому, что такой реконструкции препятствует саамская форма (Кильд. *mikke-* и др.), – приводимая К.Редеи ПИЕ форма с расширением *\*mei-g<sup>h</sup>-* здесь не может помочь, так как, во-первых, её дериваты имеются только в древнегреческом и латыни и, во-вторых, означают не столько собственно “менять”, но специально “менять место жительства, мигрировать” [IEW:713]. В принципе, в данном случае нельзя исключать влияния слова какого-то индоевропейского языка (арийского ?) на развитие семантики (а, возможно, и фонетического облика дериватов данного корня в некоторых уральских языках, но говорить о заимствовании ПИЕ > ПУ нет оснований.

– ПУ *\*muške- / \*moške-* “мыть” < ПИЕ *\*mezge- / ? \*mozge-* “тонуть, погружаться в воду, нырять, мыть(ся)”. Помимо того, что ожидаемая для уральского *\*moške-* праформа ПИЕ *\*mozge-* в реальных дериватах ни в одном индоевропейском языке не зафиксирована, а также – того, что замена ПИЕ *\*z* > ПУ *\*š* выглядит, мягко говоря, странной, плохо согласуется и семантика (значение “мыть” в индоевропейском зафиксировано только в балтских языках). Возможно – онома-topонимический корень ?

– ПУ *\*ñim* “имя” (“классическая” реконструкция *\*nime* неверна: в анлауте, безусловно, мягкий *\*ñ*, ауслат консонантный, как показано в [Хелимский 1979]) < ПИЕ *\*en(o)mn̥* / *\*(o)nom̥* / *\*nōm̥* “имя”. Фонетическое несходство ПИЕ и ПУ основ бросается в глаза, приводимые К.Реден “ларингалистские” праформы ПИЕ *\*h<sub>1</sub>net̥*, *\*h<sub>1</sub>neh<sub>3</sub>men-*, *\*h<sub>1</sub>nēh<sub>3</sub>-men-* только ещё более затрудняют сравнение. Либо перед нами – древнейшее трансевразийское культурное слово (К.Реден в связи с этим указывает на юкаг. *nīw* и чукот. *nīnn* “имя”), либо, что более вероятно, праиндоевропейский и прауральский корни просто не связаны друг с другом. В индоевропейских языках только тохарский (тох. А *ñom*, В *ñem* “имя”) даёт формы, которые фонетически можно связывать с ПУ *\*ñim* (о тохаро-уральских контактах см. ниже).

– ПУ *\*sen* “жила” (опять-таки, реконструировать вокальный ауслат нет оснований, на консонантный же указывает чередование в венгерском: *ín* ~ *inat* (Асс.) и, возможно, появление долгого в приб.-ф. *\*sōne* вследствие компенсаторного удлинения корневого гласного – см. [Хелимский 1979]) < ПИЕ *\*snēy-(e)r-* “жила, лента, шнур”. Поскольку придуманная К.Реден ПИЕ форма *\*sen-* никогда не существовала, а фонетические различия реально реконструируемых ПИЕ и ПУ корней настолько очевидны, даже К.Реден вынужден был попытаться как-то это объяснить: по его мнению ПУ *\*sen* возникло вследствие переразложения носителями уральского праязыка ПИЕ *\*snēyer-*, которое они понимали как “кровеносный сосуд” (?), на *\*sen* (новое слово, приобретшее значение “жила”) + ПУ (на самом деле – прафинно-угорское, так как самодийских параллелей нет) *\*wir(e)* “кровь” (почему бы и это слово, таким образом, не объявить индоевропейским заимствованием?). Замечу, что такое переразложение противоречит законам уральского синтаксиса (определение должно стоять перед определяемым словом), хотя, в принципе, само объяснение настолько надумано, что вполне укладывается в “методику” рассмотренных выше работ “школы” Ё.Койвулехто, и вряд ли вообще нуждается в комментариях. Кстати, ПИЕ *\*snēy-(e)r-* является производным от основы *\*(s)nē-* “плести, скручивать” [IEW:971,977] с “беглым” *\*s-*!

– ПУ *\*toye-* “нести, приносить, давать” < ПИЕ *\*dō-* “давать”. Фонетически сравнение возможно, однако непонятны культурно-исторические причины подобного заимствования (см. ниже).

– ПУ *\*wāske* “какой-то металл; ? медь” < ПИЕ *\*H<sub>2</sub>es-* “золото”. Впрочем, К.Реден не приводит индоевропейской праформы, а прямо указывает тох. А *wās*, В *yasa* “золото” в качестве источника уральского корня (предполагая, правда, возможность и обратного направления заимствования), и здесь он, как я постараюсь показать ниже, полностью прав.

– ПУ \*wet “вода” < ПИЕ \*wed- “вода”. Вновь перед нами – слово из базовой лексики, причины заимствования которого совершенно непонятны.

Итак, из семи сравнений по крайней мере два (“имя” и “жила”) не проходят по фонетическим причинам, одно (“металл”) является тохарским заимствованием, одно (“мыть”) скорее всего – ономастическим словом, одно (“давать, менять”) может объясняться как результат поздней контаминации, оставшиеся (“нести, давать” и “вода”) являются словами базовой лексики, которые очень редко заимствуются, – из семи слов вообще только одно является явно культурным термином (“металл”), что резко контрастирует, например, со списком арийских заимствований в прафинно-угорском [Rédei 1986:43-49], где из 18 слов (считая и весьма сомнительные этимологии) как минимум 9 являются культурными терминами (“цена”, “господин”, “пчела”, “мёд”, “сверло”, “сирота”, “тысяча”, “сто”, “товар” – причём ни одна этимология из этого списка в разряд сомнительных не попадает). К.Реден абсолютно прав, когда пишет о принципиальной возможности заимствования слов базовой лексики типа “вода” (иллюстрируя это, правда, примерами не *заимствований*, а *замены слов*) [Rédei 1986:21-22], но возражение здесь вызывает не возможность такого заимствования в принципе, а возможность заимствования *только* нескольких слов базовой лексики при отсутствии в числе заимствований культурных терминов и минимальном числе заимствований вообще.

Следует также отметить и ещё одно обстоятельство: в случае со словами базовой лексики нельзя с уверенностью говорить о направлении заимствования. Кроме того, нельзя не считаться с оставленной выше возможностью общего, в конечном счёте, происхождения уральского и индоевропейского праязыков от древнейшего праязыка, наследием которого могут быть данные (и некоторые другие, по непонятным причинам не учтённые К.Реден) корни – ср., например, соответствия приводимым К.Реден уральским словам в дравидийских языках: драв. \*tis- “мыть”, \*iā-r- “давать, нести”, \*tiu- “подарок, приданое” [Tyler 1968]. Речь идёт о *ностратической* гипотезе, с начала 1960-х годов разрабатывавшейся российским лингвистом В.М.Илличем-Свитычем (см. [Иллич-Свитыч 1971] и др.), а затем – его последователями в разных странах мира. Гипотеза о древнейшем родстве нескольких языковых семей Евразии (в классическом варианте: афразийская, картвельская, индоевропейская, дравидийская, уральская, алтайская), в рамках которой уральская и индоевропейская ветви рассматриваются как принадлежащие к разным (восточному и западному) стволам *ностратической* макросемьи (см. также [Иванов 1985]), практически снимает все трудности, связанные с интерпретацией имеющегося материала: общие элементы в базовой лексике, а также – в морфологии (см. выше), реконструируемые для уральского и индоевропейского праязыков, могут объясняться не контактами этих праязыков на поздней стадии их существования и не общностью происхождения этих языков непосредственно их одного источника, а древнейшей общей

ностратической основой, на которой сложились эти и некоторые другие языковые системы Северной Евразии<sup>19</sup>.

Из всего сказанного выше, таким образом, следует, что проделанная на сегодня различными авторами работа по поискам следов контактов между индоевропейским и уральским праязыками приводит к отрицательному результату: реальных данных, свидетельствующих о таких контактах, нет.

Впрочем, следует заметить, что даже обнаружение следов такого рода контактов не могло бы непосредственно способствовать решению вопроса о локализации уральской прародины, поскольку проблема индоевропейской прародины не менее сложна и равным образом (даже, вероятно, и более) далека от своего решения. Несмотря на широкую популярность, которую приобрела в последние десятилетия гипотеза “степной” (в степях от р. Урал до Днестра и Дуная) прародины индоевропейцев (так называемая “курганная” гипотеза М.Гимбутас – см. [Gimbutas 1970] и др.), её явное противоречие с некоторыми данными индоевропейской *лингвистической палеонтологии*, недостаточное и не всегда корректное археологическое обоснование (по крайней мере, в “авторском” варианте – см., например, указания на многие его несообразности [Häusler 1963:363-366; Мерперт 1976:108-109]) и другие проблемы мешают безоговорочному принятию этой точки зрения. Притом существуют и иные гипотезы, имеющие часто не меньше сильных сторон, чем “степная”: индоевропейскую прародину локализуют на Армянском нагорье [Гамкрелидзе, Иванов 1984], в Анатолии [Renfrew 1987], на Балканах [Дьяконов 1982], в циркумпонтийской зоне [Черных 1988], сильнейшей аргументацией оперируют сторонники старой гипотезы о центрально-европейской прародине индоевропейцев [Devoto 1962; Bosch-Gimpera 1960; Krahe 1957] (краткий обзор см. [Mallory 1989:143-185]). Это обстоятельство вкупе со сделанным выше выводом о ненадёжности и / или ошибочности имеющихся на сегодня построений о праиндоевропейско-прауральских контактах лишают последних оснований новейшие попытки локализации уральской прародины в Восточной Европе по соседству с индоевропейской (см., напр., [Makkaу 1990])<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Я намеренно не углубляюсь здесь в рассмотрение проблем границ и членения ностратической макросемьи и проблем исторической интерпретации данных и выводов ностратики. Более того, не разделяя чрезмерного энтузиазма некоторых сторонников этой гипотезы, я предпочитаю говорить не о *ностратическом праязыке*, а о *ностратической основе*, но считаю, что не учитывать имеющихся достижений и интереснейших эвристических возможностей ностратической гипотезы нельзя.

<sup>20</sup> Правильнее было бы сказать “лишают единственного основания”, так как построения Й.Маккаи, например, базируются практически лишь на одном конкретном факте – на кажущемся их автору бесспорным положении о древнейших праиндоевропейско-прауральских связях. Кроме того, в данном случае надо бы говорить не об уральской, а о фин(но-угор)ской (*sic* !) прародине, поскольку, как уже отмечалось выше (раздел IV), проблемы генезиса (обских) угров и самодийцев, а в значительной мере – и пермян, в этих построениях не рассматриваются и разрешены в их рамках быть не могут.

Таким образом, следует признать, что и сегодня остаётся верной старая традиционная точка зрения, согласно которой первым контактом между уральскими и индоевропейскими языками был контакт между финно-угорским праязыком и какими-то праиндоиранскими диалектами, имевший место уже после распада как уральского, так и индоевропейского праязыков [Joki 1973:362-364]. Самодийский праязык не был вовлечён в этот контакт: древних индоиранских заимствований в прасамодийском, видимо, вообще или почти нет, имеются лишь несколько заимствований из языка собственно иранского типа [Janhunen 1983], что указывает на то, что “на всех этапах своей истории прасамодийцы находились в стороне от расселения иранских племён” [Хелимский 1983:8]. Краткий список значений значимых в культурно-историческом смысле заимствований этого периода см. выше на стр. 147 [Rédei 1986:43-49].

Археологически ранние этапы предистории индоиранцев были, по-видимому, связаны с формированием (середина III тыс. до н.э.) и расцветом древнеямной культурно-исторической общности, в особенности – памятников *полтавкинского* типа, оформившихся на базе волго-уральского варианта древнеямной общности на рубеже III-II тыс. до н.э., который некоторые исследователи склонны рассматривать как особую культурно-историческую общность [Васильев И.Б. 1979]. Взаимодействие *полтавкинских* и южноуральских *абашевских* (*абашевская* культурно-историческая общность, существовавшая во второй-третьей четверти II тыс. до н.э. и охватывавшая преимущественно лесостепные территории от Дона на западе до верховьев р. Урал на востоке, заходя на север в массовом порядке до Ветлужско-Вятского междуречья, видимо, представляет собой археологический аналог какой-то ранней индоевропейской, возможно – также арийской, группировки, см. о ней [Пряхин, Халиков 1987]) племён во второй четверти II тыс. до н.э. привело к сложению в степях от Средней Волги и Дона и до Тобола и Ишима памятников *потаповско-новокумакско-синташинско-петровского* круга, к которым следует возводить *срубную* и *андроновскую* культуры [Васильев, Кузнецов, Семёнова 1994:82-93; Смирнов, Кузьмина 1977:26-39], арийская этноязыковая атрибуция которых не вызывает сомнения.

Распространение древнеямных племён на Южном Урале уже во второй половине III тыс. до н.э. [Моргунова, Кравцов 1994:69-79] и последующее развитие в этом регионе с выходом в зауральско-казахстанские степи полтавкинской и вырастающей из неё культур в конце III – первой половине II тыс. до н.э., с одной стороны, и проникновение на Южный Урал и в Вятско-Ветлужское междуречье абашевских племён во второй четверти II тыс. до н.э. (на севере отдельные абашевские памятники достигают Вычегды), с другой, указывают на возможность контактов лесного населения Южного Зауралья и юго-запада Западной Сибири (в первом случае) и Волго-Камского региона (во втором) с индоевропейцами, говорившими на языках индоиранской (арийской) группы. Поскольку уже в XIV веке до н.э. арии, говорившие на языке, принадлежащем, судя по всему, к индоарийской группе, жили, как

свидетельствуют письменные памятники, на территории государства Митани [Hauschild 1962:35-37; Абаев 1972:31-33], следует полагать, что распад индоиранского единства должен был завершиться никак не позднее второй четверти II тыс. до н.э., следовательно, если (см. ниже), как это принято считать, в прафинно-угорский были заимствованы слова, отражающие раннюю стадию праиндоиранского (до общеарийского перехода ПИЕ \*e, \*o > ПАр \*a) [Rédei 1986:26, 43-64], то интересующий нас контакт должен был иметь место едва ли позже рубежа III-II тыс. до н.э.. Следовательно, наиболее вероятно предположение о соотношении его с проникновением древнеямных племён на Южный Урал и сложением полтавкинской общности. Впрочем, при такой трактовке фактов нельзя не отметить некоторое несоответствие между, мягко говоря, не слишком интенсивными, судя по археологическим данным, контактами полтавкинцев с лесным населением и достаточно представительным списком ранне-индоиранских заимствований в прафинно-угорском.

Есть, однако, серьёзные основания сомневаться в трактовке рассматриваемой группы арийских заимствований в прафинно-угорском как *ранне-протоиндоиранских*: практически единственным основанием для этого служит упомянутое выше отражение в части из них ПИЕ \*e и \*o, перешедших в праиндоиранском в \*a, как ПФУ \*e и \*o. Как уже было отмечено выше (см. примечание 9), есть основания хотя бы для ряда случаев объяснять такие соответствия как позиционные и рассматривать соответствующие арийские заимствования в прафинно-угорском не как *ранне-протоиндоиранские*, с сохранением ПИЕ \*o и \*e в языке-источнике, а как нормальные *поздне-праиндоиранские* с нормальным арийским \*a- или \*ɤ соответственно ([Лушникова 1990], см. примечание 9). Следовательно, говорить о слишком интенсивных контактах между прафинно-угорским и ранне-протоиндоиранским не приходится.

Существует ещё одна проблема, не рассмотреть которую, хотя бы вкратце, невозможно. Большинство “праиндоиранских” заимствований в финно-угорских языках указывают на форму языка-источника, соответствующую формам индоарийских, а не иранских языков (см., например, ПФУ \*asgrz “господин, богач” ~ др.-инд. *āsura*- “божество” при ав. *ahurō* “господин”, ПФУ \*śata “сто” ~ др.-инд. *śatá*- при ав. *satəm* “тж”, ф.-волж. \*oŋke “угол, крюк” ~ др.-инд. *āṅka*- при ав. *aka*- “искривление, крюк” и др.). Традиционно это объясняется тем, что древнеиндийский лучше сохранил общеарийский фонетический строй, тогда как в праиранском произошли известные изменения (ПАр \*ś > ПИр \*s, ПАр \*s > ПИр \*h и т.п.). Между тем, такое объяснение проходит не всегда: заимствование части таких слов (финско-саамское \*terne “молозиво” ~ др.-инд. *tarna*- “телёнок” при ав. *tauruna*- “дитёныш”; ф.-перм. \*śuka “зерно, мякина” ~ др.-инд. *śūka*- “зерно” при ав. *sūkā*- “игла”; ППерм \*sur “пиво” ~ др.-инд. *sūrā* “алкогольный напиток” при ав. *hurā* “тж”) – терминов земледелия и скотоводства – не может



быть датировано временем ранее первой четверти II тыс. до н.э., когда эти занятия начинают распространяться у населения лесной зоны, — то есть, его следует относить ко времени, когда общеарийский праязык уже должен был распасться (см. выше). По-видимому, есть необходимость поставить вопрос о возможности интерпретации по крайней мере части арийских заимствований в финно-угорских языках как специально индоарийских. Чисто лингвистические соображения никак не препятствуют такой возможности. Между тем, со времени пионерских работ Б.Мункачи [Munkácsi 1903] и последующего отрицательного заключения Г.Якобсона [Jakobsohn 1922:184-222], которое, по сути, базируется на экстралингвистических посылках и может быть выражено в виде тезиса о том, что любое индоарийское слово могло в принципе иметь иранскую параллель и, следовательно, всё можно объяснить через обращение к индоиранской реконструкции или путём конструирования потребной иранской формы, — этот вопрос в финно-угроведении практически не рассматривался: в своей монографии К.Реден попросту не упоминает о подобной возможности, а в гораздо более объёмной книге А.Йоки мне удалось отыскать лишь одно предложение, гласящее, буквально, что индоарийских заимствований в финно-угорских языках нет [Joki 1973:364] (не считая, разумеется, обзора упомянутой выше работы Г.Якобсона [Joki 1973:146-147]). С “индоевропейской” стороны дело, однако, обстоит лучше: в связи с дискуссионными вопросами о месте и времени распада индоиранской общности (который, вероятно, произошёл в черноморско-каспийских степях — см., например, обзор [Грантовский 1970:15-63], о возможном времени см. выше) довольно давно было высказано и аргументировано предположение об индоарийском происхождении значительной части арийских заимствований в финно-угорских языках [Абаев 1972:28-29]. С известной осторожностью эта идея поддержана в диссертации А.В.Лушниковой [Лушникова 1990:9]. Мне эта позиция представляется достаточно перспективной. Естественно, что её принятие и развитие должно повлечь за собой новые попытки интерпретации изложенных выше археологических данных. Пока делать их кажется преждевременным, однако, имея в виду такую перспективу, могу сказать, что данным археологии гипотеза В.И.Абаева не противоречит, и, более того, следует ожидать дальнейшего успешного развития в этом направлении.

По-видимому, из всего сказанного выше безусловно следует, что, во-первых, проблема древнейших арийско-финно-угорских контактов нуждается в дальнейшем рассмотрении прежде всего с учётом принципиальной возможности атгестации некоторой части арийских заимствований как индоарийских; во-вторых, что реконструируемая по данным языка картина ранних индоевропейско-уральских взаимоотношений (нет контакта в прауральскую эпоху — первый контакт с праиндоиранцами в прафинно-угорское время) согласуется с или, по меньшей мере, не противоречит данным археологии и гипотезе об урало-западно-сибирской локализации уральской прародины.

Наконец, в-третьих, должна быть в общем признана верной традиционная точка зрения о том, что первые индоевропейско-уральские контакты были контактами между праиндоиранцами и прафинно-уграми, и в дальнейшем контакт ариев с финно-угорскими группами на границе лесной и степной зон Евразии не прерывался вплоть до раннего средневековья [Rédei 1986:25-26,38]. При этом, если старые (индоиранские, праиранские) заимствования более или менее равномерно распределены в финно-угорских языках (см., например, сводку, хотя и не лишённую недостатков, но показательную в [Harmatta 1977:174]), то по количеству собственно иранских (староиранских и среднеиранских) заимствований, безусловно, первенствуют пермские языки [Лушникова 1990:13; Harmatta 1977:176,178; Rédei 1986:28-29,64-82], а по заимствованиям позднейшего времени (среднеиранским, точнее – скифо-сарматским) с пермскими языками конкурируют угорские и марийский [Лушникова 1990:15; Harmatta 1977:178,180]. При этом среди угорских языков на первом месте, естественно, венгерский, контакты которого с иранскими языками продолжались после распада угорского единства вплоть до позднейших связей с аланами в эпоху “заоевания родины” в IX веке и позже (по числу выявленных на сегодня среднеиранских заимствований – “абсолютный чемпион” среди всех финно-угорских языков), а на втором – мансийский (в полтора-два раза больше, чем в хантыйском), что безусловно свидетельствует о том, что предки манси имели гораздо более интенсивные связи со степным миром, чем предки хантов [Harmatta 1977:178,180; Korenchy 1972:103-104]. На западе финно-угорского мира только марийский язык поддерживал достаточно интенсивные связи со среднеиранскими языками (возможно, впрочем, часть иранизмов попала в марийский через посредство пермских языков), число поздних иранизмов в мордовских языках уже меньше, хотя среди них явно присутствуют и сепаратные, не имеющие параллелей в других финно-угорских языках, среднеиранские заимствования в прибалтийско-финских языках и в саамском единичны, и сепаратных среди них, как будто, нет [Harmatta 1977:178,180; Jakobsohn 1922:225-231]<sup>21</sup>.

По-видимому, второй индоевропейской группой, с которой контактировали уральцы в достаточно древний период, были *протохавры*<sup>22</sup>. Проблема выделения тохарских заимствований в уральских языках

<sup>21</sup> Естественно, данные цифры относятся к известным сегодня иранизмам. Дальнейшие исследования, безусловно, должны пополнить их список и могут внести поправки в приводимые здесь подсчёты.

<sup>22</sup> Я использую здесь название *протохавры* для обозначения носителей группы родственных индоевропейских диалектов, на базе одного из которых сформировался *протохаврский* язык, давший затем начало (распался не позже конца I тыс. до н.э. [Lane 1966:226,232]) исторически засвидетельствованным в Синьцзяне *тохарским* языкам. Ниже будет также использоваться термин *паратохарские* – для обозначения той части *протохаврских* групп, которые не оставили прямых языковых потомков (см. о подобных терминах применительно к уральским группам в разделе I).

затрагивалась уже в работах А.Йоки и К.Редей – в связи с возможностью тохарского объяснения происхождения уральских слов “имя” [Rédei 1986:40-43; Joki 1973:291], “металл” [Joki 1973:340; Rédei 1986:24,42; UEW:560-561] (см. выше) и “соль” [Rédei 1986:58; Joki 1973:316; UEW:750] (см. ниже). Ю.Янхунен высказал мнение о наличии тохарских заимствований в прасамодийском [Janhunen1983], оно было развито и дополнено Е.А.Хелимским [Хелимский 1985а]. В индоевропеистике в связи с существующей версией объяснения особенностей фонетического строя тохарских языков как следов уральского субстрата в тохарском [Lane 1970:79-82] также предпринимались попытки найти лексические свидетельства тохарско-уральских контактов, как правило – не слишком удачные (см., напр.: [Van Windekens 1962]; более интересна работа [Naert 1964]). Мне уже приходилось писать о тохарских заимствованиях в уральских языках и возможностях их историко-культурной интерпретации [Напольских 1989; 1994; Napolskikh 1995], но, поскольку эта работа далека от завершения, имеет смысл дать здесь в самом сжатом (без развёрнутой аргументации) виде список тохарских заимствований в уральских языках, которые представляются мне на сегодня относительно надёжными (в случае наличия этимологических альтернатив они обозначены цифрами в порядке убывания надёжности; в дальнейшем следует ожидать расширения списка – ср. более ранний вариант его в [Напольских 1994]):

– мар. *jeŋ* “мужчина, человек” < 1) тюрк.: др.-тюрк. *jaŋaluk* “мужчина”, чув. *šjŋ* “человек, мужчина”; 2) тох.: А *onk* “человек, мужчина”, В *enkwē* “тж” (< ПИЕ \**ǵʰko-s* “смертный” [Van Windekens 1976:337]). Марийское слово не может быть чувашским заимствованием (нормально чув. *š* > мар. *s*). Тюркское слово может быть заимствованием из тохарского;

– ф.-перм. \**kertz* “iron” / морд. (Э) *keřel*, (М) *keřäl* “лемех плуга” / мар. *kerde* “сабля, меч” < и.-е.: 1) ир.: ав. *karati* “нож” и др.; 2) ? тох.: В *kertte* “меч” (если тохарское слово – не иранское заимствование, а < и.-е. \**(s)qoler-* “резать” [Van Windekens 1976:215]). Упомянуто в [Joki1973:273]. Тохарский корень АВ *kāryst-* “резать” возможно был также заимствован в тюрк.: ПТюрк \**kert-* “резать” [Róna-Tas 1986: 73];

– ППерм \**kōjan* / \**kūjan* “волк” < и.-е. (“centum”): тох.: АВ *ku* “собака” (< и.-е. \**k̑yon*). Тохарское слово было, вероятно, заимствовано также в древнекитайский (или в сино-тибетский): др.-кит. \**khwen* “собака” [Pulleyblank 1966:11];

– ПУг \**luw* “лошадь” < тох.: А *lu*, В *luwo* “зверь, животное” (? < и.-е. \**l(ə)uā* “добыча” [Van Windekens 1976:267-268]). Тохарское слово, возможно, было также заимствовано в монгольский и / или тюркский:

мо., др.-тюрк. *ula-γ* – “возить на лошади” [Sinor 1967; 1988:737];

– прасеверно-самодийское *\*mānkā* – “нуждаться” < тох.: А В *mānk* – “уступать, терять, лишиться чего-либо”, А *mañk*, В *meñki* “лишение, потеря, недостаток, долг” (? < и.-е. *\*melonq* [Van Windekens 1976:289]). Сравнение предложено в [Хелимский 1985а:293];

– ПФУ *\*met(e)* “мёд” < и.-е.: 1) тох.: В *mit* “мёд”; 2) индо-ир.: др.-инд. *madhu* – “сладкий напиток, вино, медовуха, мёд”, ав. *mađu* – “вино, мёд” и т.д.; 3) балто-славянское: др.-ц.-сл. *medū* “мёд”, лит. *medus* “тж”. Упомянуто в [Joki 1973:283-284]. Тохарское слово, возможно, было также заимствовано в древнекитайский: др.-кит. *\*myit* “мёд” [Pulleyblank 1966:10];

– ПУг *\*Sāpt* (где *\*S = \*s / \*š / \*ś / (?) \*χ*) “семь” < и.-е.: 1) тох.: А *spāt* “семь”; 2) ? (индо-)ир.: др.-инд. *saptá* – “семь” и т.д. Упомянуто в [Joki 1973:313; UEW:844], подробно см. [Napolskikh 1995];

– ПСам *\*sej(k)twā* (< ? *\*sejptwā*) “семь” < и.-е.: 1) тох.: А *spāt* “семь”, В *sukt* “семь” (если < *\*seuk<sup>h</sup>ta* < *\*septā*). Предложено в [Janhunen 1983:119-120], подробно см. [Napolskikh 1995];

– ф.-перм. *\*sōlz* “соль” < и.-е.: 1) балто-славянское *\*sol-* “соль”; 2) тох.: А *sāle* “соль”; 3) индо-ир. (если этот корень действительно был в арийских языках, что сомнительно): др.-инд. *salilá-* “море” (? *\*“солёное”*). Упомянуто в [Joki 1973:316; UEW:750];

– ПУ *\*warz-* “ворона” [UEW:559]. На самом деле, как и рассматриваемое ниже слово для металла, распадается (по суффиксации) на несколько гнезд, не обязательно восходящих к прауральскому корню: ф.-волж. *\*varčz* “ворона”: ф. *varis* (ген. *variksen*), лр. (Н.) *vuorrâžás* “ворона” и т.д. (общесаамское *\*vōrēc*, *\*vōrcēc* “ворона” [Lehtiranta 1989:154]), морд. (Э) *varaka*, *varšej*, *varčej*, *varkšij*, (М) *varši*, *varci* “ворона” ~ ПУг *\*warz* “ворона”: манс. (С) *ūrin*, (Лозь.) *urin*, хант. (Вах) *urñi*, (Дем.) *wärñaj*. (Обд.) *wärñaj*, венг. *varjú* “тж” ~ ПСам *\*wār-* “ворона”: нен. (Т.) *bärñe*, (Л.) *barñäë*, сельк. (Тым) *kerä*, (Таз, Кеть) *kwerä*, кам. *barj*, мат. *berē* “тж” [Janhunen 1977:170] < тох.: В *wrauiña* “raven” < *\*wārnauiña* < *\*warn-* – сравни балто-славянское *\*цarna* (> лит. *varna* “ворона”, др.-ц.-сл. *vrana* “ворона”, *vranū* “ворон”) < *\*цrn-* < ПИЕ *\*цer-* “гореть, обгорать, становиться чёрным” [Van Windekens 1976:583; IEW:1166]. Уральское слово было оценено Ю.Янхуненом и К.Реден как “ономатопозитическое”, что, впрочем, ничем не может быть подтверждено.

– ф.-волж. *\*waške* “латунь, медь, бронза” ~ ППерм и манс. *\*weś* “цветной металл; украшение” ~ ПУг *\*waS* (где *\*S = \*ś / \*χ*) “металл, железо”~

ПСам \*wesä “металл, железо; украшение” < тох.: A wäs “золото”, B yasa “тж” (< и.-е. \*Hyes- [Van Windekens 1976:563]). Упоминалось и обсуждалось в [Joki 1973:340; Rédei 1986:24,42; UEW:560-561; Janhunen 1983:120]; подробнее о необходимости выделения четырёх этимологических гнезд см. [Напольских 1989; 1994]. Тохарское (Ṣ) слово, возможно, было также заимствовано в тюркские языки: тю. \*jüz “латунь, бронза” [Róna-Tas 1986:123-130].

Наличие сепаратных тохаризмов в отдельных уральских языках и, что гораздо более показательно – возможность выделения отдельных этимологических гнезд (прасамодийское, праугорское, прапермское, финно-волжское) в тех из них, что имеют трансуральское распространение (“металл”, “ворона”, особо – “семь”), наличие среди них слов для “мёда” (об относительно позднем времени его проникновения в финно-угорские языки см. выше, в разделе IV), “лошади” и “металла” позволяют предположительно сделать вывод о том, что прототохарско-уральские контакты имели место в относительно позднюю эпоху (после распада уральского и финно-угорского праязыков), но охватили при этом все (эндо-)уральские группы. Датировать их следует интерстадиалом между распадом финно-пермской общности (едва ли раньше середины II тыс. до н.э.) и распадом угорского праязыка (не позднее середины – второй половины I тыс. до н.э. – датировки см. в разделе III).

Практически единственным историческим явлением, могущим охватить все (эндо-)уральские группы в означенный период был *сейминско-турбинский транскультурный феномен* (по терминологии Е.Н.Черных и С.В.Кузьминых), распространившийся в XVI-XV веках до н.э. с юга Западной и Средней Сибири, с предгорьев Алтая и Саяна на северо-запад, на Урал и оттуда – по лесной полосе Восточной Европы на запад по крайней мере до Оки и Нижегородского Поволжья (отдельные сейминско-турбинские изделия встречаются на территории Финляндии и Эстонии, *Бородинский клад* – в Молдавии). Археологически это отражено в появлении на территориях распространения разных лесных и лесостепных культур очерченной зоны чрезвычайно однотипных и по технологии изготовления стоящих на порядок выше местных изделий форм бронзовых орудий (кельты, ножи, наконечники копий, кинжалы), встречающихся преимущественно в могилах-кеногафах. За этим, по-видимому, стояло расселение по долинам больших рек небольших подвижных и очень активных (даже агрессивных) групп воинов-металлургов, хорошо знакомых с коневодством (см. выразительные изображения домашних лошадей на сейминско-турбинских изделиях) и принесших в лесную зону самую передовую для того времени технологию бронзолитейного производства и активно контактировавших с местными группами [Черных, Кузьминых 1989:266-277 и др.]. Благодаря сейминско-турбинскому феномену в лесной зоне Урала (в широком смысле: от Волго-Камья на западе до Средней Оби на востоке) складывается во второй половине II тыс. до н.э. уральский горно-металлургический очаг, влияние которого стало доминантой в

развитии культур поздней бронзы и раннего железа Восточной Европы вплоть до Прибалтики и Фенноскандии [Черных 1970:119-120] (см., например, такие яркие явления, как распространение кельтов *меларского* типа из Среднего Поволжья в позднебронзовую эпоху и специфических *ананьинских* форм из Волго-Камского региона в эпоху раннего железа вплоть до территории современной Швеции [Кузьминых 1993]). Таким образом, сейминско-турбинские группы оказали сильнейшее влияние на культуру и историю лесных племён от Енисея до Балтики, которое не могло не найти отражение в языке.

По своему происхождению создатели сейминско-турбинского феномена не принадлежали к кругу лесных племён. Истоки их культуры и самих этих групп, поскольку в данном случае речь идёт именно о миграциях определённых коллективов носителей традиции, лежат в предгорьях Рудного Алтая, в районах верхнего течения Иртыша, Оби и Енисея в XVII веке до н.э.; одним из основных компонентов в их генезисе должны были быть обитавшие в предгорьях Алтая группы коневодов и металлургов [Черных, Кузьминых 1989:251-253,269-270].

Появление коневодства и металлургии на юге Сибири связано с *афанасьевской* археологической культурой, оставленной европеоидным населением, близким по антропологическому типу и культуре создателям *древнеямной* общности (см. выше). Афанасьевская культура появляется на Алтае (видимо – в результате миграции с запада) в первой половине III тыс. до н.э., в середине III тыс. её памятники распространяются не только в верховьях Оби и Иртыша, но и на Енисее, в Минусинской котловине. Финал её на востоке (Енисей) связан с экспансией на её территорию с востока из Прибайкалья монголоидного населения – создателей *окунёвской* культуры, и датируется примерно XVIII веком до н.э., на западе финал афанасьевской культуры не ясен, но она безусловно доживает и на Алтае до XVIII века до н.э. [Вадецкая 1986; Семёнов 1993]. Таким образом, алтайские афанасьевцы и должны были стать тем местным компонентом, которому обязано сложение сейминско-турбинского коневодства и металлургии.

Особый вариант афанасьевской культуры складывается в Туве, где население, сохранявшее европеоидный (афанасьевский) антропологический тип, продолжало обитать и в окунёвское время, тогда как в степях юга Средней Сибири в это время уже господствуют варианты восточных антропологических типов. Афанасьевское население, видимо, продвинулось достаточно далеко на юго-восток: известны афанасьевские могильники в Монголии (у города Баян Хонгор) и в Синьцзяне (оз. Лобнор, пос. Кэрмуджи Алтайского аймака [Семёнов 1993]). Таким образом, именно с проникновением афанасьевских и пост-афанасьевских групп в Монголию, Синьцзян и на северо-запад Китая, особенно – после вытеснения их на севере окунёвцами, можно связывать появление в этих регионах индоевропейцев-протохаров, потомки которых, носители тохарских диалектов, как это блестяще показал Э.Паллейблэнк, жили в Ганьсу во II веке до н.э. [Pulleyblank 1966].

Итак, существуют основания связывать прототохаров с носителями афанасьевской культуры [Семёнов 1993], что, в свою очередь, укрепляет позиции высказанного выше предположения об участии прототохарских (в данном случае уже, конечно, *партотохарского* – см. примечание 22) компонента в составе создателей сейминско-турбинских памятников в лесной зоне Евразии.

Арийскими и прототохарскими заимствованиями, по-видимому, исчерпываются старые индоевропеизмы в угорских и самодийских языках. На западе контакты с индоевропейцами были интенсивнее и разнообразнее. Если не считать охарактеризованных выше изысканий Ё.Койвулехто и его “школы”, большинство исследователей сходятся на традиционной точке зрения, согласно которой последовательность встреч западных финно-угров с европейскими индоевропейскими группами была следующей: с балтами (протобалтами), из языка которых проникли многочисленные заимствования в прибалтийско-финский праязык, при этом едва ли более дюжины – ещё в прибалтийско-финско-саамский (имеются саамские соответствия) и – не более десятка слов – в языки и диалекты финно-волжской общности (имеется до 10 мордовских и 4-5 марийских соответствий) [Thomsen 1890; Kalima 1936]; с германцами, контакты с которыми, начавшиеся, скорее всего, ещё в прагерманское время (в абсолютной хронологии можно, вероятно, говорить о середине I тыс. до н.э.) и продолжающиеся вплоть до настоящего времени (прагерманские, восточногерманские, древнескандинавские, древнешведские, шведские, немецкие и т.д. пласты заимствований в финском, например, языке), охватили только прибалтийско-финские и саамский языки [Thomsen 1869; Setälä 1906; Collinder 1932-1944] (новейшую сводку, с учётом, правда, “достижений” “школы” Ё.Койвулехто, см. в [Kylstra et.al. 1991]). Наконец, третьей по времени группой индоевропейцев, с которыми вступили в контакты западные финно-угры (прежде всего, возможно, ещё в первой половине I тыс. н.э. – прибалтийские финны, несколько позднее – мордва) были славяне, причём на Балтике первоначально, возможно, западные (точнее – носители диалектов *лхитского* типа) [Kalima 1952]. Краткий, но весьма ценный обзор контактов прибалтийско-финско-саамского и отдельно общесаамского праязыка с балтскими и германскими см. в [Korhonen 1988]; на русском языке наиболее представительные списки балтизмов, германизмов (включая шведские и немецкие заимствования) и славизмов в финском см. в [Хакулинен 1955 II:40-61], в эстонском, а также обзор – в [Аристе 1956].

Если установление связей западных финно-угров с германцами и славянами, во-первых, достаточно чётко увязывается с определёнными достаточно поздними событиями, нашедшими отражение в выразительном археологическом материале и отчасти – в исторических источниках (экскапсия скандинавских групп – носителей культуры *каменных курганов* с *ящипами* на побережье Финляндии и Эстонии в конце II – в первой половине I тыс. до н.э., и сложение во второй половине I тыс. до н.э. системы

балтийских культурных и торговых связей, а затем, в середине I тыс. н.э. (с IV века) – экспансия восточных славян на север и северо-восток [Meinander 1954b:111-117; Salo 1968:198-210,228-240; Седов 1994:296-304]), и, во-вторых, не имеет прямого отношения к предыстории финно-угорских народов в целом, а, следовательно, и к теме данного очерка (см., впрочем, ниже в разделе VI), то проблемы контактов западных финно-угров с балтами (протобалтами) более сложны и касаются более глубокой древности.

Дело в том, что, как это было предложено Х.Моора [Моора 1956:68-73], древние контакты балтов с западными финно-уграми принято соотносить с распространением в Прибалтике и на юге Финляндии в самом конце III тыс. до н.э. прибалтийской культуры *шнуровой керамики и боевых топоров*, просуществовавшей здесь местами до середины II тыс. до н.э. [Крайнов, Лозе 1987:51,56; Meinander 1954b]. Такая интерпретация, однако, не может быть признана исчерпывающей.

Во-первых, облик большинства балтизмов в прибалтийско-финских языках указывает на язык-источник восточно-балтийского типа, чрезвычайно близкий литовскому. Как бы ни был консервативен литовский язык, трудно поверить, что он сохранил в неизменном виде формы, существовавшие почти четыре тысячи лет назад (о малой вероятности балтской языковой принадлежности “шнуровиков” см. также [Мугуревич, Таутавичюс 1980:9-12]). Поэтому не исключено, что хотя бы значительная часть балтизмов в прибалтийско-финских языках имеет более позднее происхождение и восходит к языкам древних балтов – носителей сложившейся в последней четверти II тыс. до н.э. на пост-“шнуровой” основе (или при её участии) культуры *штрихованной керамики* [Граудонис 1980; Васкс 1991:108-114], которые в середине – второй половине I тыс. до н.э. достаточно далеко проникали на север и северо-восток в Прибалтике (до Ильмена, Приладожья и южной Финляндии), смешивались с создателями культуры *ложнотекстильной керамики*, в которых есть все основания видеть финно-волжских предков прибалтийских финнов, и, таким образом, активно участвовали в формировании прибалтийско-финской общности, частично контактируя также и с волжскими финно-угорскими языками, прежде всего, в бассейне Оки с протомордовскими диалектами [Седов 1980:429-438; Седов 1990:90-91]. Об участии в формировании этнической карты Прибалтики в конце II – начале I тыс. до н.э. нового населения, пришедшего из более южных районов, по генетически близкого ранним “шнуровикам”, в котором можно видеть собственно прабалтов, свидетельствует и распространение в Прибалтике в это время довольно многочисленного населения, принадлежавшего к долихокравному узколищному европеоидному типу, принявшего участие в сложении прибалтийских финнов и – в особенности – балтов [Денисова 1980:31-33]. Именно картина взаимоотношений носителей культур штрихованной и ложнотекстильной керамики в Прибалтике, Приладожье, на территории современных Псковской, Новгородской областей [Васкс 1991:11-118], соответствует картине взаимоотношений балтских и



финно-волжских языков, реконструируемой с опорой на балтские заимствования в последних (см. наиболее наглядную схему в [Korhonen 1981:32]). Если же соотносить все балтизмы в западных финно-угорских языках за счёт контактов древних их носителей с создателями прибалтийской культуры шнуровой керамики и боевых топоров, то следует ожидать иной картины распределения балтизмов, прежде всего потому, что эта культура не может рассматриваться отдельно от комплекса близкородственных культур шнуровой керамики (см. следующий абзац). Как бы то ни было, ясно, что проблема стратификации балтизмов в западных финно-угорских языках нуждается в специальном рассмотрении.

Во-вторых, прибалтийская культура является лишь одним из ответвлений целого комплекса культур боевых топоров и шнуровой керамики, к которому принадлежат и распространившиеся почти одновременно с прибалтийской в бассейне верхней и средней Волги *фатьяновская* и *балановская* культуры (датировка обеих по Д.А.Крайнову: конец III – середина II тыс. до н.э., для балановской – финал во второй половине II тыс. до н.э. [Kraïnov 1992: 325-327] – что более правдоподобно; балановской по А.Х.Халикову: начало II тыс. до н.э. – IX век до н.э. [Бадер, Халиков 1987:76]). Единство происхождения их с прибалтийской культурой боевых топоров не подлежит сомнению [Kraïnov 1992:324-325]. По-видимому, их носители, принадлежавшие к тому же протобалтскому резко долихокраанному, умеренно широколицему европеоидному типу, что и создатели прибалтийской культуры (истоки этого типа связаны с расселением южноевропейских земледельческих племён в Средней Европе) [Денисова 1975:111-117; 1980:29-33], говорили на индоевропейских языках примерно того же ареала, что и прибалтийские “шнуровики”.

Формирование комплекса средне-, северо- и восточноевропейских культур шнуровой керамикой происходило в центральной Европе в середине – второй половине III тыс. до н.э. в ходе сложных процессов “сплавления” разнокультурных групп, основными силами которого были степные коневодческие племена древнеямной культурно-исторической общности и средневропейские скотоводы и земледельцы, носители культуры *воронковидных кубков* [Мерперт 1976]. Если вести речь об этно-языковой атрибуции “шнуровых” культур, то, вероятно, речь может идти о каких-то “центральноевропейских” диалектах (протобалто-славянских, протогерманских, с включением, возможно, протоиллирийских, протоалбанских и некоторых других групп – см., например, [Dolukhanov 1986:9]<sup>23</sup>), но едва ли

<sup>23</sup> Замечу, что если хотя бы одна-две этимологии, отражающие заимствования в западных финно-угорских языках из некоего сатемного (sic!) индоевропейского языка, близкого прагерманскому и сохранившего ларингалы, из числа предложенных в работах Ё.Койвулехто и его “школы” были бы приемлемы, то в этом случае именно языки носителей “шнуровых” культур, в том числе – фатьяновской и балановской, в первую очередь должны были бы иметься в виду как возможный язык-источник, и, таким образом, отсюда следует, что даже принятие сомнительных протогерманско-финских сопоставлений Ё.Койвулехто ни в коем случае не может быть истолковано как аргумент

для столь отдалённой эпохи правомерно предположение о существовании самостоятельного балтского праязыка, хотя для крайнего северо-востока “шнурового” ареала следует думать, скорее всего, именно о протобалто-славянских.

Поскольку фатьяновско-балановские группы в достаточно глубокой древности широко расселились в Верхнем и Среднем Поволжье и активно контактировали с местными племенами, следовало бы ожидать наличия следов контактов их языков с языками финно-пермской общности в целом. Весьма небольшое количество выявленных на сегодня балтских заимствований в волжских финно-угорских языках (см. выше) никак не укладывается в гипотезу о балтоязычности носителей этих культур. Отчасти это, вероятно, можно объяснить слабой степенью исследованности проблемы: в классической работе Я.Калимы [Kalima 1936] акцент сделан на балтских заимствованиях в прибалтийско-финских языках, данные волжских языков привлекаются в основном тогда, когда то или иное слово обнаруживается в прибалтийско-финских. Сепаратные же балтизмы (или “квазибалтизмы”) в волжских языках всё ещё ждут своего исследователя: имеющиеся наработки по этой теме в большинстве своём крайне неубедительны. Попытки поиска балтских заимствований не только в волжских, но и в пермских языках предпринимались Б.А.Серебрянниковым [Серебрянников 1957], однако его сопоставления также нельзя признать заслуживающими доверия, не лучше выглядят и протославянские этимологии для некоторых финно-пермских и финно-волжских слов, предложенные О.Б.Ткаченко [Ткаченко 1990]. Между тем, недавно Т.-Р.Вийтсо было предложено несколько весьма интересных сопоставлений, свидетельствующих, как будто, о весьма древних, протославянских заимствованиях в прибалтийско-финских языках [Viitso 1992], а мною (отчасти – вслед за О.Б.Ткаченко) – гипотеза о происхождении финно-пермского \**šećem*(з) “семь” от ранне-протославянского \**selīmi* “семь” [Narolskikh 1995:125-126]. Смело высказать предположение о том, что намеченное таким образом направление поисков не лишено перспективы. Предвидя законные возражения со стороны индоевропеистов, скажу, что применительно к столь отдалённым временам, как вторая половина III – первая половина II тыс. до н.э. речь, безусловно, не может идти о прямых языковых предках славян, но о каких-то периферийных диалектах протобалтского (= протобалто-славянского) ареала, которые развивались отчасти в том же направлении, что и диалекты, давшие в дальнейшем начало славянскому праязыку.

Завершая краткий экскурс в проблему происхождения балтских заимствований в западных финно-угорских языках, следует сказать, что проблема эта требует дальнейшей разработки. Поэтому достаточно преждевременной представляется попытка М.Корхонена удревнить

общепринятые датировки распада финно-пермской, финно-волжской и т.д. праязыковых общностей, опираясь, в частности, на данные о балтских заимствованиях и на гипотезу об их происхождении из языка создателей прибалтийской культуры шнуровой керамики и боевых топоров (симптоматично, что при этом фатьяновская и балановская культуры им, опятаки, во внимание не принимались) [Korhonen 1976:11-14]. С другой стороны, при любом решении проблемы решающее значение для уральской предыстории имеет то обстоятельство, что объём и характер балтского влияния на прибалтийско-финский праязык, равномерное распределение старых балтизмов в этих языках при минимальных следах обратного прибалтийско-финского влияния в балтских однозначно свидетельствуют о том, что в составе прибалтийско-финских народов имеется мощный балтский субстрат [Аристов 1956:12-14]. На это же указывает, очевидно, распространение атлантико-балтийского и беломоро-балтийского расового типа среди прибалтийских финнов и близость их антропологическому типу носителей культуры боевых топоров [Марк 1956: 232-233,241-242; Алексеев 1974:10 ; Вунак 1966:17-23]. Этому, конечно, может быть придумано иное объяснение (см. неубедительные попытки такого рода [Моора 1956] и др.), нежели предположение о том, что балты жили на территориях, где формировался прибалтийско-финский праязык ещё до появления там финно-угорской речи, но именно такой вывод выглядит наиболее естественным. Дело, однако, в том, что вывод о примате балтского присутствия в Прибалтике перед финно-угорским безусловно следует и из анализа заимствованной в прибалтийско-финские языки балтской лексики, связанной с морем, прежде всего – названий рыб бассейна Балтики (“лосось”, “угорь”, “озёрная форель”), и к этому выводу добросовестный анализ приводит даже тогда, когда сам исследователь очень хочет доказать исконность финно-угорской речи на данной территории (см. блестящий пример такого рода [Viitso 1983], также по этому поводу [Хелимский 1985a]).

Таким образом, данные о контактах западных финно-угорских языков с балтскими свидетельствуют о том, что расселение прямых языковых предков прибалтийских финнов в Прибалтике имело место после распространения там балтских языков, точнее – никак не ранее рубежа III – II тыс. до н.э. (если, несмотря ни на что, считать носителей культур со шнуровой керамикой и боевыми топорами прабалтами), либо – что более правдоподобно – не ранее конца II тыс. до н.э. (если – см. выше – соотносить контакты прабалтов с прибалтийскими финнами с взаимоотношениями носителей культур штрихованной и ложнотекстильной керамики).

Второй большой языковой общностью, с языками которой давно пытаются сравнивать уральские языки, является *алтайская*. В неё принято объединять языки пяти больших групп: *тюркские, монгольские, тунгусо-маньчжурские, корейский и японский*. Именно в таком виде алтайская семья представлена в важнейшей в этой области работе, посвящённой

реконструкции алтайского праязыка [Старостин 1991]. Следует, однако, заметить, что, несмотря на впечатляющие достижения алтаистики, гипотеза о древнем родстве всех алтайских языков сегодня ещё далеко не общепризнана, и у её противников есть свои сильные аргументы (см. обзор проблем с литературой [Janhunen 1994; Vovin 1994]). По этой причине едва ли возможно сегодня всерьёз обсуждать вопрос о древнейшем генетическом родстве алтайских языков с уральскими, о былом существовании урало-алтайского праязыка (трудно согласиться с Б.Коллиндером, который считал, что если будет доказано урало-алтайское родство, то вопрос о родстве алтайских языков решится сам собой [Collinder 1977:67]), хотя эта гипотеза имеет не менее почтенный возраст и не менее уважаемых сторонников, чем рассмотренная выше индо-уральская (см., например, [Schott 1849; Donner 1901; Räsänen 1953; Fokos-Fuchs 1962; Porre 1983]). Бесспорно наличие значительного числа праязыковых лексических параллелей между уральскими, с одной стороны, и тюркскими, тунгусо-маньчжурскими или монгольскими языками – с другой [Räsänen 1953; 1955; Collinder 1965:140-153], практически все исследователи сходятся на том, что между языками обеих семей существуют многочисленные структурные схождения в фонетическом, морфологическом и синтаксическом строе (последовательная агглютинация, гармония гласных по ряду, невозможность стечения согласных в аялауте и т.п. [Porre 1983; Aalto 1969], – новейший и весьма полный обзор в сочетании, что характерно, с очень осторожной оценкой перспектив “урало-алтайского” родства см. [Sinor 1988]) – и эти схождения и параллели должны иметь какое-то историческое объяснение.

По-видимому, глубоко прав Д.Шинор, считающий, что при поисках этого объяснения необходимо отказаться от слишком простых решений типа “белое – чёрное, да – нет” [Sinor 1988:739]. Действительно, решений может быть множество: от общей восточно-ностратической подосновы [Иванов 1985:149] до древних контактов отдельных групп [Tauli 1955:11], причём одно решение не исключает, в принципе, любого другого. Возможны и поиски в принципиально новом направлении, попытки объяснить урало-алтайские схождения через постулирование древнейших диалектных связей в рамках модели древнейших попарных междиалектных / межъязыковых связей [Róna-Tas 1983]. Принципиальное же значение для рассмотрения проблем уральской предьстории имеет сам факт безусловного наличия древних (на уровне уральского праязыка) связей между уральскими и алтайскими языками (ср. совершенно иную картину уральско-индоевропейских связей), что свидетельствует о близости уральской прародины к районам древнейшей локализации алтайских языков, то есть, так или иначе – к глубинным районам Азии<sup>24</sup>. Знаменательно, что анализ урало-алтайских лексических параллелей с

<sup>24</sup> Характерно, что одним из основных аргументов против гипотезы урало-алтайского родства или древнейших контактов служит не критическое восприятие “классической” гипотезы о локализации уральской прародины в Восточной Европе: поскольку расстояние от Средней Волги до Центральной Азии слишком далеко, то и о былом соседстве и контактах нельзя вести речь [Ramstedt 1947:18]. Естественно,

точки зрения лингвистической палеонтологии приводит к выводу об “урало-алтайской прародине” в палеолите на Урале – в Западной Сибири [Räsänen 1953:26] (естественно, с трактовкой М.Рясянею урало-алтайских параллелей как сугубо праязыковых трудно согласиться, его конкретная аргументация и подходы нуждаются в корректировке, но общий вывод о северно-азиатской локализации древнейших урало-алтайских связей представляется вполне надёжным).

Сколько-нибудь заметных специальных связей между уральскими языками в целом или отдельными их группами с монгольскими, корейским или японским языками не обнаруживается (за исключением поздних монгольских заимствований в саянских самодийских языках – см. [Joki 1952]). Из отдельных ветвей “алтайской семьи” с (восточными) уральскими языками находилась в постоянных контактах с глубокой древности тунгусо-маньчжурская. Опираясь на работы Е.А.Хелимского и И.Футаки [Хелимский 1985b; 1983; 1989; Futaky 1980; 1983; 1988], содержащие представительный набор надёжных этимологий, можно утверждать непрерывность связей в последовательности: прауральский – пратунгусо-маньчжурский, прасамодийский – пратунгусский, прасеверно-самодийский и отдельные южносамодийские праязыки – тунгусский, самодийские языки – эвенкийский; кроме того, некоторые этимологии указывают, как будто, и на возможность того, что существовали связи с тунгусскими языками на прафинно-угорском и праугорском уровне, до возникновения обско-угорско – тунгусских контактов в средневековье. Таким образом, языковые данные свидетельствуют о том, что прауральские диалекты, а затем – уральские языки восточного ареала находились в непрерывных контактах с тунгусскими (соответственно – пратунгусо-маньчжурским и т.д.) языками со времени существования уральского единства и до сего дня. Где бы не размещались древнейшие районы обитания и прародина тунгусо-маньчжуров (в При- или Забайкалье [Василевич 1958; Окладников 1968; Левин 1958:96,135], в Маньчжурии [Janhunen 1996:216-256] или даже в Китае [Shirokogoroff 1926]), локализовать уральско-тунгусские контакты западнее Енисея невозможно. Следовательно, восточный фланг уральской прародины должен был достигать по крайней мере Енисея. Причём, по-видимому, речь в данном случае должна идти о территории расселения эндоуральских групп, носителей досамодийских диалектов уральского праязыка, а районы обитания восточных парауральцев могли простираться гораздо далее на восток.

---

поскольку на самом деле параллели между уральскими и алтайскими языками являются фактом, а локализация уральской прародины в Восточной Европе – малообоснованной гипотезой, правильнее было бы говорить о необходимости пересмотреть эту гипотезу в соответствии с этими (и многими другими) фактами.

Хотя на схеме А.Рона-Таша [Róna-Tas 1983:241] тюркские языки связаны линией древнейших диалектных связей с западной ветвью уральских – финно-угорскими языками (в то время как тунгусо-маньчжурские – с самодийскими), следует отметить, что выявление подобной связи проблематично, она может предполагаться разве что только на основе древнейшего слоя “урало-алтайской” лексики. В то же время более показательны лексические заимствования, объединяющие тюркские и самодийские [Хелимский 1983:6-8; Róna-Tas 1980; 1988:743-746] и тюркские и угорские языки [Róna-Tas 1988:749-751]. С самодийским праязыком можно предполагать контакты тюркского праязыка до его распада, причём, в силу специфики заимствований (“лошадь”, “писать”, “сто” из тюркского в самодийский, “соболь”, “сосна-ель”, “лиственница-кедр” из самодийского в тюркский, их можно локализовать на границе степи и сибирской тайги, вероятно – где-то в I тыс. до н.э. [Хелимский 1983:7] или даже на рубеже эр.

Проблема тюркских заимствований в общеугорский праязык более сложна: если в своём обзоре [Róna-Tas 1988] А.Рона-Таш ещё находил возможным определить несколько слов как тюркизмы в праугорском, то во время своей лекции в Финно-Угорском обществе в октябре 1994 года он, в ответ на прямо поставленный вопрос, сказал, что вообще отрицает наличие общеугорских заимствований из тюркского. Во всяком случае, если тюркизмы в праугорском всё-таки есть (мне представляется возможным предполагать это для слов со значением “лебедь”, “бобр”, “лодка”, “песок”, “писать”, “лето”), этот контакт был весьма непродолжителен и, видимо, имел место лишь в самом конце общеугорской эпохи. Древнейший слой тюркизмов в венгерском также, как и в пермских языках, происходит уже из языка чувашского типа (“R-тюркского”) и вряд ли может быть датирован более древним периодом, чем рубеж эр (в пермских языках, исходя из исторических соображений – не ранее VII-VIII вв. н.э.). Таким образом, ранние слои тюркских заимствований в самодийских и угорских языках (и самодийские заимствования в пратюркском) должны быть интерпретированы как свидетельства выхода тюрков в степи юга Сибири и движения с востока, возможно, от верхнего Енисея, где можно локализовать ранние тюрко-самодийские контакты, на запад в I тыс. до н.э.

Близость некоторых грамматических черт и лексики считавшегося ранее изолированным *юкагирского* языка, на котором сегодня говорит едва ли более тысячи человек (по данным И.А.Николаевой – не более двухсот [Николаева 1988а]) юкагиров, живущих в среднем течении и в низовьях реки Колымы, к уральским языкам достаточно давно обратили на себя внимание исследователей [Collinder 1940; Angere 1956; Tailleur 1959;1963]. Уже в этих работах было представлено достаточно доказательств в пользу отдалённого родства этих двух языковых систем: юкагирский и уральский предложено было рассматривать как две равноправные ветви существовавшего в глубокой древности единого праязыка. Окончательное завершение гипотеза юкагиро-уральского

родства нашла отражение в работах И.А.Николаевой, где на основе предварительно проделанной праюкагирской реконструкции была представлена системная реконструкция фонетики праюкаги́ро-уральского языка, была продемонстрирована общность фонетического строя, базовой лексики, морфологии юкагирского и уральских языков, безусловно свидетельствующие об их древнейшем родстве в пределах (восточно-) ностратической общности, среди языков которой уральский и юкагирский стоят друг к другу ближе всего [Николаева 1988a;1988b]. Наличие в составе юкагиров и уральских народов какого-то древнего общего компонента устанавливается и на основании данных физической антропологии [Козинцев 1988:89-90,127,137,140] (см. также ниже, в разделе VI).

Предпринятая недавно попытка показать слабость позиций сторонников юкаги́ро-уральской гипотезы [Rédei 1990] могла бы рассматриваться как хорошее доказательство “от обратного” правоты Б.Коллиндера, ещё в 1965 году написавшего, что “урало-юкагирская [гипотеза] не может быть отклонена, если придерживаться методов и достижений сравнительно-исторического языкознания”<sup>25</sup>, если бы аргументы К.Редеи не были настолько слабы. Возражения его сводятся, по сути дела, к положению о том, что падежная система и морфология глагола в юкагирском языке, несмотря на заметные параллели, отличаются от соответствующих систем самодийских языков. Само по себе требование полного сходства абсолютно нелепо, когда речь идёт о языках, чьи пути разошлись, возможно, семь-восемь или более тысяч лет назад; нельзя, однако, не заметить, что, если следовать критической методике, предложенной К.Редеи, то придётся отказаться от признания родственными друг другу не только любой самодийский и любой финно-угорский язык, но и, пожалуй, венгерский и мансийский (во всяком случае, в падежной системе сходство юкагирского, например, с ненецким куда очевиднее, чем между венгерским и мансийским). Важно и то, что К.Редеи в своём критическом эссе сосредотачивается на параллелях, имеющихся в старых работах, практически оставляя без внимания надёжные морфологические реконструкции И.А.Николаевой (ср. непредвзятый отзыв на её диссертацию [Вийтсо 1989]). На этом фоне уже не приходится удивляться, например, безосновательной попытке объяснения материальных сходжений в морфологии между юкагирским и самодийскими языками (коаффикс местных падежей \*-ka-) как результата “интенсивных самодийско-юкагирских языковых контактов” [Rédei 1990:32]. На самом деле (лексические) связи “юкагирского языка с самодийским как будто не более тесны, чем с финно-угорским”, в силу чего нет реальных оснований для утверждений о каких-то (тем более “интенсивных”) юкагирско-самодийских контактах [Хелимский 1983:8]. Судя по историческим источникам, юкаги́роязычные группы охотников и рыболовов к XVII веку,

<sup>25</sup> “... die uralo-jukagirische lässt sich kaum abweisen, wenn man an den Methoden und den Errungenschaften der historisch-vergleichenden Sprachforschung festhalten will” [Collinder 1965:109].

а по данным якутского и тунгусского фольклора – и как минимум на несколько веков ранее, были широко расселены на пространствах северо-восточной Сибири от низовьев Лены до Анадыря и от среднего течения Колымы до берегов Северного Ледовитого океана, и есть все основания считать юкагиров аборигенами северо-восточной Сибири, предки которых жили там, возможно, ещё в неолите [Долгих 1960:379- ; Гурвич, Симченко 1980]. На особое место юкагиров среди народов Сибири и вероятное происхождение их от древнейших (по крайней мере неолитических) сибирских популяций указывает и особая архаичность антропологического типа юкагиров на фоне других вариантов байкальской расы [Золотарёва 1968; 1971:39-41]. Предположение о приуроченности истоков байкальской расы к “таёжным районам юга Восточной Сибири и северному Прибайкалью” [Алексеев, Гохман 1984:168] позволяет наметить ареал древнейшей юкагирской прародины. На сибирскую кедровую тайгу как экологическую нишу обитания носителей юкагиро-уральского праязыка указывает урало-юкагирская этимология для “соболя”: ПУ \**ñukše* “соболь, *Martes zibellina*” ~ юкаг. (Кол.) *noqšə* (Т.) *noqšəŋ* “соболь” [Николаева 1988b:84] (здесь важно и то, что с уральской стороны данный корень представлен в финно-угорских языках, и ненецкая параллель ненадёжна – см. выше раздел IV – таким образом, говорить о “самодийском заимствовании” оснований нет, ср. ПСам \**ki(j)* “соболь” [Janhunen 1977:69]). Если сопоставление ПУ \**ñulka* “пихта” ~ юкаг. *nolut* “вид дерева” [Николаева 1988b:84] позволяет реконструировать слово со значением “пихта” для праюкагиро-уральского (сдвиг значения в юкагирском естественен, так как пихта на территории проживания юкагиров не произрастает), то это может указывать на южные районы Сибири: в IX-VIII вв. до н.э. пихта была распространена в основном в верхнем течении Ангары, в меньшей степени – на Урале и в Западной Сибири, в последующую эпоху пихта широко распространяется по Западной Сибири [Нейштадт 1957:222-223; Волкова, Белова 1980:113-114]. Другая параллель: ПФУ \**sala* “вяз” ~ юкаг. (К.) *sāl*, (Т.) *sāl* “дерево (вообще)” [Николаева 1988b:84] также весьма любопытна: она может, в принципе, указывать на наличие каких-то широколиственных деревьев на юкагиро-уральской прародине (см. выше о возможности реконструировать для данного прафинно-угорского слова также значение “липа” в связи с манс. (Тав.) *sēlʹt* “лыко”, *sēlʹt-pa* “липа” и др.), в этом случае её, вероятно, следовало бы размещать достаточно далеко на юго-западе. Впрочем, поскольку надёжно реконструировать значение не представляется возможным, и мы не располагаем данными о произрастании или отсутствии широколиственных пород на юге Средней Сибири в бореале – начале атлантикума, следует, по-видимому, полагаться на более надёжные этимологии, указывающие на таёжную зону.

Во всяком случае, бесспорным представляется вывод о том, что генетическое родство уральских языков с юкагирским, имеющим, очевидно, средне- и восточносибирские корни, указывает на южные области Западной и



в особенности – Средней Сибири как на район, где следует локализовать древнейшие этапы уральской языковой предыстории.

Так обстоят на сегодняшний день дела с поисками следов внешних связей и контактов уральского праязыка. Имеются также более или менее серьёзные попытки поиска в направлении *дравидийских* [Tyler 1968]<sup>26</sup> и *эскалеутских* языков [Bergsland 1959; Bonperjea 1971; 1978; 1975-1979]<sup>27</sup>, результаты которых, однако, сегодня ещё было бы преждевременно использовать в палеоисторических построениях. Ещё более туманны перспективы поисков связей уральских языков с *чукотско-камчатскими* [Angere 1951] и некоторыми америндскими языками (*на-дене* [Свадеш 1965] – в основном весьма ненадёжные сопоставления; *калифорнийские пенути* [Viitso 1971] – более осторожная и внушающая некоторые надежды разработка), в последнем случае, впрочем, следует скорее говорить о лежащей перед исследователями целине, могущей принести в будущем неожиданные плоды.

Интересно, что все перечисленные здесь группы, за исключением дравидийской, также уводят поиски древнейших истоков уральских языков на восток, в Сибирь. Думается, это не случайно, ибо проделанный выше краткий обзор современного состояния исследований внешних генетических и контактных связей уральского праязыка приводит к выводу о северноазиатских, сибирских направлениях этих связей.

## VI. Физико-антропологический и археологический аспекты проблемы уральской и финно-угорской прародины

Расовые типы, представленные у уральских народов, довольно разнообразны: от классических северных европеоидов (*атланти-балтийская* раса, распространённая среди прибалтийских финнов и мордвы-эрзи) до

<sup>26</sup> Дравидийские языки вместе с уральскими и алтайскими в ностратике относят к восточноностратической группе [Иванов 1985]. Однако в свете последних исследований внешних связей дравидийских языков, судя по проделанной эламо-дравидийской реконструкции [Mac Alpin 1981], перспективы их сопоставления с ностратическими (по крайней мере – с восточноностратическими) и тем более – непосредственно с уральскими на предмет установления древнего генетического родства представляются гораздо более сомнительными. С другой стороны, интересный набор урало-дравидийских лексических параллелей, среди которых имеются явно культурные термины (“глиняный горшок”, “дом”, “стрела”, “комоль”, “гнутья – лук (оружие)”, “деревня”), названия свойственников, числительные (“один”, “четыре”) [Tyler 1968] наводит на мысль о возможности каких-то доисторических контактов.

<sup>27</sup> Если эскалеутские языки действительно могут иметь общую древнюю базу с восточноностратическими, для чего, как будто, есть основания, то среди последних они скорее стоят ближе к алтайским (тюркским) языкам [Мудрак 1984]. Таким образом могут быть объяснены и общие черты в эскалеутских и уральских языках.

классических континентальных монголоидов (расовый тип иганасан – см. ниже), однако в основном уральцы принадлежат к различным вариантам двух расовых типов: к *беломоро-балтийской* европеоидной расе (большинство прибалтийских финнов, часть мордвы-эрзы, большая часть коми-зырян) и к *урало-лапоноидной* расе в её вариантах: *уральской* (максимально выражен у манси, с монголоидной примесью в возрастающем порядке – у (нарымских) селькупов, хантов, ненцев), *лапоноидном* (саамы), *сублапоноидном волго-камском*, подразделяемом в работах прошлых лет на *сублапоноидный* (коми-пермяки, удмурты, марийцы) и *субуральский* (мордва-мокша) [Алексеев 1969; Марк 1956; 1964; 1974; Дрёмов 1985].

Европеоидная принадлежность беломоро-балтийской расы и её происхождение у прибалтийских финнов и мордвы в связи с вхождением Прибалтики и Верхнего Поволжья в ареал древнейшего распространения “протоевропейских” типов и с происходившей с конца III тыс. до н.э. миграцией в Прибалтику с юга европеоидных групп (носители культур со шнуровой керамикой и т.д.) индоевропейской (“протобалтской” – см. раздел V), собственно балтской и – с запада, из Скандинавии – германской этноязыковой принадлежности, не вызывают в общем сомнений (см. [Марк 1956; Денисова 1974; 1975; 1980; Якимов 1956] и др.). При этом некоторое уплощение лица в *восточнобалтийском* варианте беломоро-балтийской расы одни авторы склонны объяснять лапоноидной или попросту (с чем едва ли можно согласиться) монголоидной примесью [Марк 1964:2-4; 1974:17; Алексеев 1969:140-141; Дебец 1961:54; Чебоксаров 1952], другие же почёркивают в его генезисе роль древнейшего палеоевропейского широколицего компонента [Якимов 1956; Денисова 1980] или (что очень близко) рассматривают его как результат эволюции древних протоморфных типов севера Восточной Европы (палеоевропейского, лапоноидного) в направлении “балтизации” (не исключая, естественно, и прямой европеоидной примеси) [Бунак 1974:4-5; 1965:181; Бунак 1966:24-25].

Несколько менее ясен вопрос о генезисе *беломорского* (в меньшей степени – *восточнобалтийского*) типа беломоро-балтийской расы у коми-зырян: если в работах прежних лет эти типы считали характерными только для некоторых их территориальных подразделений [Алексеев 1969; Чебоксаров 1952], что легко объяснялось участием каких-то прибалтийско-финских групп в их сложении, то сегодня есть основания говорить о том, что типы беломоро-балтийской расы, близкие к таковым карел и вепсов, издавна были распространены среди всех групп коми-зырян (хотя в наибольшей степени – всё-таки среди западных и северных) [Хартанович 1991:125]. Поэтому, видимо, наиболее справедливым следует считать предположение о былом переселении пермских предков коми-зырян, в антропологическом смысле принадлежавших первоначально к тем же сублапоноидным вариантам, что и удмурты и коми-пермяки, на север и смешении их здесь с местным населением, принадлежавшим в антропологическом отношении к беломоро-балтийской расе и принявшим

участие также в сложении карел и вепсов на западе [Марк 1964:5]. Представляется, что – по крайней мере на современном уровне нашего исторического знания – ответить на вопрос об этно-языковой принадлежности этого населения едва ли возможно.

Таким образом, основное значение в исследовании антропологической предьстории уральских народов имеет вопрос о происхождении *урало-лапоноидной* расы. Безусловно её промежуточное положение между европеоидной и монголоидной расами, которому может быть предложено два объяснения: либо древнее смешение, либо особое происхождение древнего уральского типа, сложившегося вне ареалов формирования собственно монголоидной и собственно европеоидной расы, возможно – между этими ареалами или на их периферии. Вокруг этой дилеммы в конце 40-х – в 60-е гг. XX века в советской антропологии развернулась оживлённая дискуссия (см. краткий обзор в [Давыдова 1989:8-11]), большая часть участников которой придерживалась метисационной гипотезы генезиса урало-лапоноидной расы [Дебец 1947; 1956; 1961; Чебоксаров 1952; Герасимов 1955:320; Марк 1956; 1964; 1974; Алексеев 1969]. При этом названные авторы связывали предполагаемое ими расселение “монголоидных” и смешанных уралоидных популяций в лесной зоне Восточной Европы с востока на запад с распространением финно-угорской речи. В качестве первоначального центра формирования урало-лапоноидной расы (= смешения континентальных монголоидов и северных европеоидов) называли Урал (наиболее последовательно и с увязкой с лингвистическими гипотезами о локализации уральской прародины см. в [Чебоксаров 1952; Марк 1956; Дебец 1961]). Данная схема, преждевременно воспринятая как установленный факт, была использована и в археологических работах для обоснования былой миграции финно-угров – носителей лапоноидности (=, таким образом, монголоидной примеси) на запад (см. особенно [Моора 1956:56-57]).

Первым камнем преткновения для метисационной гипотезы и базирующихся на ней палеоисторических построениях стал вопрос о времени первоначальной миграции прафинно-угров – лапоноидов на запад до Прибалтики. Датирование этого события ранними неолитом в связи с распространением лапоноидного типа у создателей культуры типичной гребенчатой керамики Прибалтики [Марк 1956; Моора 1956] уже само по себе было анахронизмом, так как этим предусматривалось, что финно-угорское (праприбалтийско-финское) население уже в III тыс. до н.э. жило от Балтики до Западной Сибири, и в его среде уже оформилось обособление отдельных групп, в частности – прибалтийско-финского праязыка. Это требовало ревизии всей хронологии финно-угорской языковой предьстории (что и было проделано в [Аристэ 1956]), превосходящей все разумно мыслимые пределы (речь шла об удревнении абсолютных датировок финно-угорских праязыковых “распадов” по крайней мере на 2 тысячи лет! – ср. возможные пределы таких корректировок, обозначенные выше в разделе III). Естественно, подобные

эксерсисы не могут приниматься всерьёз – прежде всего, в силу их методологической ошибочности, попытки корректировать выводы одной дисциплины, языкознания, с помощью схем другой, археологии, базирующихся на гипотезе третьей, физической антропологии (подробнее критику гипотезы Х.Моора – П.Аристэ см. [Напольских 1990a; 1990b; Napolskikh 1995:14-16], однозначно негативную оценку см. в [Hajdú 1969:261], см. также [Хелимский 1995:16]).

Проблема, однако, усугублялась тем, что хронологические и географические пределы распространения лапоноидных или квази-лапоноидных (“содержащих монголоидную примесь”) форм в Европе оказывались на деле гораздо более широкими и никак не укладывались даже в рамки абсолютно искусственных построений гипотезы Х.Моора – П.Аристэ, причём это обстоятельство было хорошо известно ещё с довоенного времени [Чебоксаров 1941; 1954]. Наличие брахикранных плосколицых черепов лапоноидного облика, рассматриваемых как результат монголоидной примеси, на западе, например, в мезолите западных областей Германии (!) приводило авторов рассматриваемых здесь гипотез к утверждениям о мезолитических по крайней мере миграциях с востока вплоть до Средней Европы [Марк 1956:228], что, естественно, ещё более затрудняло интерпретацию этих данных в рамках гипотезы Х.Моора – П.Аристэ.

Материал, свидетельствующий о широком распространении в неолите плосколицых типов, близких лапоноидному, на севере не только Восточной, но и Средней Европы, и о происхождении этой плосколицести от древнейших особенностей строения лицевого скелета ещё верхнепалеолитического населения Европы, восходящих, возможно, даже к морфологическим особенностям местных палеоантропов (для мезолита плосколицые черепа имеются, например, из Крыма и Португалии – районов, до которых, вероятно, никому не придёт в голову доводить ранние миграции метасированных предков финно-угров), был приведён В.П.Якимовым, который показал таким образом безусловность предположений о формировании плосколицых лапоноидных черепов носителей культуры типичной гребенчатой керамики Прибалтики в результате участия монголоидных групп в их сложении [Якимов 1957]. Специально критикуя эту точку зрения В.П.Якимов подчеркнул, что против монголоидной примеси в антропологическом типе носителей культуры гребенчатой керамики, помимо вышеприведённых фактов, свидетельствуют и сами особенности этого типа: значительная высота мозгового отдела черепа, высокий носовой указатель, заметный альвеолярный и общий прогнатизм [Якимов 1956: 271]<sup>28</sup>.

<sup>28</sup> Возражая В.П.Якимову, К.Марк писала, что он в своих выводах учитывает только плосколицые черепов носителей культуры гребенчатой керамики, не обращая внимания на другие признаки, могущие указывать на монголоидную примесь (низкое переносье и высокие орбиты) [Марк 1956:227]. Возражение это, однако, неверно: В.П.Якимов выделял именно комплекс признаков, характерных для мезо- и неолитических черепов Европы (включая черепа носителей культуры гребенчатой керамики): плоское лицо, слабое развитие клыковых ямок, слабое выступание носа, высокая черепная коробка и т.д. [Якимов 1956:269-271; 1957:88-89].

Аргументы В.П.Якимова, подкреплённые дальнейшим анализом палеолитических черепов с территории центра Европейской России (прежде всего – ст. Сунгирь под г. Владимиром), привели в конечном счёте и ряд бывших сторонников “метисационной” гипотезы к выводу о том, что “гипотеза монголоидной примеси сейчас не находит опоры в палеоантропологических материалах применительно к верхнепалеолитическому и неолитическому населению Восточной Европы. Данная гипотеза не может быть исключена полностью, но и не может быть аргументирована с морфологической точки зрения” [Алексеев 1984:35]; “предположение о том, что увеличение углов горизонтального профиля лица и переноса северных европеоидов связано с монголоидной примесью, теоретически возможно, но всё же маловероятно. Те древние серии черепов с территории Европейской части СССР, на которых отмечается уплощённость лицевого скелета, морфологически не сходны с монголоидными” [Гохман 1985:25].

Противоположная “метисационной” точка зрения была обоснована в работах В.В.Бунака, который в 1932 году рассматривал уральскую расу как очень раннее ответвление восточного расового ствола, утратившее связь с остальными восточными группами ещё до того, как в Центральной Азии произошло оформление собственно монголоидных признаков, то есть – как “древний (мезоморфный) протоазиатский вариант, лишь частично сходный с монголоидным”; к 1956 году его взгляды несколько изменились, и окончательная редакция его гипотезы сводилась к тому, что уральская раса сформировалась в особом очаге расообразования и представляет собой особый комплекс признаков, и уже по крайней мере с мезолита находилась “в малой генетической связи с протоморфными азиатскими группами” [Бунак 1965:183]; учитывая также данные палеоантропологии, он писал “Восточное Приуралье вместе с прилегающей с запада таёжной полосой Европы было областью формирования особого антропологического комплекса, в котором сочетались небольшое уплощение лица, нерезкое набухание века, несколько ослабленная пигментация и т.д.. Этот комплекс генетически не связан ни с восточным, ни с западным стволом и представляет собой самостоятельную северную евразийскую формацию (ранее названную мной протоазиатской), возникшую на основе местных верхнепалеолитических племён в условиях холодного влажного климата лесной зоны. Уральский тип – один из немногих сохранившихся до нашего времени северных евразийских вариантов [выделение моё – В.Н.] – занимает морфологически и географически промежуточное положение между монголоидным и европеоидным стволами и лишь формально может быть причислен к тому или другому” [Бунак 1956:140-141]. При этом на западе ареал урало-лапоноидных типов смыкался с распространённым ещё в верхнем палеолите – мезолите в северных, при- и

последних областях Европы от Западной (Бретань, Пиренейский п-ов) до Восточной (северо-восток Украины, центр Европейской России – ст. Сунгирь) очень массивным широколицым протоморфным европеоидным типом, ареал которого впоследствии (начиная с раннего мезолита) был разорван (сохраняются островки в Скандинавии, в Крыму) и постепенно сокращался вследствие экспансии с юга более узколицых резко долихокранных европеоидов (в частности – носителей культур шнуровой керамики, см. раздел V) [Денисова 1980:30-33]. Распространение широколицых протоевропейских расовых типов было – по крайней мере до эпохи поздней бронзы – достаточно широким и в степной зоне [Шевченко 1985:69]. Именно различные варианты этих плосколицых типов (протоевропейского и лапоноидного) и имелись в виду В.П.Якимовым в его полемике с К.Марк (см. выше). В.В.Бунак рассматривал их в единстве: более архаичные лапоноидные варианты сохранялись и эволюционировали в особом (“консервативном”) направлении в более отдалённых и изолированных областях севера Восточной Европы и Скандинавии (где они дожили до наших дней в виде современного антропологического типа саамов), в то время как на юге шёл процесс “балтизации”, то есть, во-первых, эволюции древних протоморфных плосколицых типов в европеоидном направлении, а во вторых – смещения их носителей с продвигавшимися с юга европеоидами [Бунак 1974:4-5; 1965:181; Бунак 1966:24-25] (см. выше о генезисе беломоро-балтийской расы).

По-видимому, точка в споре о происхождении урало-лапоноидной расы была поставлена в конце 1970-х – в 1980-е годы работами Г.М.Давыдовой, которая показала, что для антропологии финно-угорских народов, относимых к разным вариантам уральской расы (обские угры, марийцы, мордва-мокша, удмурты), не просто характерно парадоксальное сочетание признаков монголоидных (уплощённое лицо, низкое переносье, слабый рост бороды и т.д.) и европеоидных (светлая пигментация волос и глаз), но и прямая связь этих признаков: “более светлоокрашенные группы имеют и более плоское лицо, у них же сильнее выступают скулы” [Давыдова 1975:116]<sup>29</sup>. Это указывает на то, что в состав финно-угорских народов в древности вошёл общий антропологический компонент неевропеоидного облика, названный ею впоследствии древнеуральской расой, и наилучшим образом сохранившийся в антропологическом типе манси, который может, таким образом, рассматриваться как центральный среди уралоидных вариантов [Давыдова 1989:113-114]. Генезис древнеуральской расы Г.М.Давыдова вслед за

<sup>29</sup> Странная с точки зрения “метисационной” гипотезы корреляция между светлой пигментацией и плосколицестью обращала на себя внимание и раньше, для её объяснения предлагалась гипотеза якобы случившейся некогда на севере Восточной Европы всеобщей депигментации, охватившей и “метисированные” группы [Марк 1964:2]. Никаких доказательств такой депигментации нет, и предположение о ней тем более невероятно, что в её ареал следует включить и уралоидные группы Западной Сибири (обских угров, селькупов).

В.В.Бунаком связывает с предледниковыми областями Северной Евразии, а древнейшим ареалом её формирования считает Урал и территории на восток и на запад от него [Давыдова 1979:57; 1989:113-114].

Палеоантропологические данные имели для формулировки гипотезы В.В.Бунака важнейшее значение: с их помощью устанавливался древнейший ареал распространения урало-лапоноидных типов. Черепа носителей культур ямочно-гребенчатой керамики льяловского типа в центре и на севере Европейской России и культуры типичной гребенчатой керамики в Прибалтике III – II тыс. до н.э. преимущественно оцениваются как лапоноидные, укладываемые в целом в более или менее единый комплекс, хотя встречаются среди них и европеоидные (“протоевропейские”) экземпляры [Дебец 1948; Герасимов 1955:312-345; Марк 1956:222-223; Бунак 1974:5]. Черепа из могильников неолитической волосоской культуры Среднего Поволжья и Волго-Окского междуречья в основном европеоидные (“протоевропейские” или, по терминологии, принятой рядом исследователей в 1950-70-е гг., “кроманьонидные”), встречаются, однако, и лапоноидные черепа и европеоидные с чертами монголоидности, не объяснимой, как будто, исключительно лапоноидной примесью. При этом для более ранних серий (вторая половина III тыс. до н.э.) характерно преобладание лапоноидных, для более поздних (начало II тыс. до н.э.) – европеоидных черт [Дебец 1948; Акимова 1953:56-59; Герасимов 1955:369]. Черепа шигирской культуры (неолит Зауралья) аттестуются как принадлежащие к “урало-лапоноидной расе” (череп из Шигирского торфяника) [Дебец 1953:68] или представляющие собой “древний” или “ранний вариант субуральского типа” (череп с Кудринского прииска и череп № 1758 из Свердловского краеведческого музея) [Герасимов 1955:410].

Таким образом, у В.В.Бунака были все основания считать, что “<древний> ареал уральского комплекса не простирался далеко на восток от долины Оби, точнее нижней и средней Оби, и занимал большое пространство на запад от Уральского хребта” [Бунак 1965:182]. Этот ареал находится, как видим, достаточно далеко от древнейших центров формирования монголоидов, что и послужило основной причиной утверждения о малой вероятности связи формирования уральского комплекса на ранних этапах с восточным стволом [Бунак 1956:100-10; 1965:182; 1974:5-6].

Сегодня в нашем распоряжении имеются данные, позволяющие несколько расширить древнейший ареал урало-лапоноидных типов на восток. Черепа с северо-запада Новосибирской области из могильников Протока и Сопка-2 неолитической среднеиртышской культуры, представлявшей собой юго-восточный фланг комплекса культур зауральско-западносибирской общности со струйно-накольчато-гребенчатой традицией орнамента керамики, относятся к урало-лапоноидному типу (по терминологии Т.А.Чикишевой – к “неолитической расе лесной полосы Северной Евразии”) [Полосьмак, Чикишева, Балуева 1989:78-81]. Говоря об их сходстве с

лапоноидными черепами Восточной Европы Т.А.Чикишева пишет: “Речь в данном случае должна идти не о генетических взаимоотношениях северных барабинцев с мезо- и неолитическими племенами центральных и северных областей Восточно-Европейской равнины, а о морфологическом сходстве компонентов, на основе которых формировалось население Западной Сибири, Приуралья и лесной полосы Восточной Европы” [Полосьмак, Чикишева, Балуева 1989:78-79].

Таким образом, ареал формирования и древнейшего распространения древнеуральской расы охватывал значительные пространства лесной зоны Евразии от Прибалтики (а в более древнюю эпоху, в верхнем палеолите – мезолите и север Средней Европы – см. выше, также [Stęślicka-Mydlarska 1954]) на западе до Новосибирского Приобья на востоке. На западе он, как уже было указано, смыкался с зоной распространения протоевропеоидных плосколицых типов. На востоке ситуация не столь ясна в силу недостатка материалов, однако некоторые наблюдения сделать можно уже сейчас.

Уже давно вызывающая законный интерес антропологов представительная серия черепов из мезолитического могильника на Южном Оленьем острове на Онежском озере чётко распадается на две группы, первая из которых представлена долихокранными европеоидами со среднешироким лицом, близкими “протобалтскому” типу носителей культур шнуровой керамики. Черепа второй группы (5 черепов из 22, причём все черепа этой группы – мужские) принадлежат к совершенно иному расовому типу: это широко- и плосколицые мезо-брахикранные со слабовыступающим носом монголоиды, характеризующиеся важными особенностями: низким лицом (что отличает их от большинства монголоидных групп) и абсолютно большим (больше, чем у байкальских монголоидов) затылочно-теменным указателем [Беневоленская 1985:42-48].

Оленеостровские мезолитические черепа по своеобразному сочетанию признаков (“низколицые монголоиды”<sup>30</sup>) сближаются с некоторыми другими древними периферийными монголоидными или смешанными сериями: с неолитическим черепом из могильника Каравайха каргопольской культуры, черепами из могильника на Большом Оленьем острове в Баренцевом море (I тыс. до н.э.), сериями из Луговского и Тетюшского могильников ананьинской культуры раннего железного века в Прикамье, черепами из Туой-Хая (неолит, бассейн р. Виллой), Базаихи (у г. Красноярска) [Беневоленская 1985:50-52]. К этому списку можно добавить низколицые монголоидные черепа с р. Олёкмы (белькачинская культура Якутии, III тыс. до н.э.) [Томтосова 1977], из I-го Стенановского мог. еловской культуры бронзового века в Среднем Приобье [Кирюшин, Малолетко 1979:164-165], из Ордынского могильника

<sup>30</sup> Я намеренно помещаю это определение в кавычки, так как и низколицость этих типов относительна, а их принадлежность к монголоидной расе достаточно условна: в ряде случаев речь скорее должна идти об отклонении в сторону восточных (азиатских) показателей в их морфологии.



верхнеобской неолитической культуры (по определению В.А. Дрёмова – большая примесь низколидых монголоидов, проникавших из таёжной зоны) [Матюшенко 1973 I :132] и др. (впрочем, между ними наблюдаются и немалые расхождения: в абсолютных размерах, высоте черепной коробки и т.д.).

Возможно, не без участия палеосибирских “низколидых монголоидов” сложился антропологический тип, распространённый среди западных (енисейских) групп эвенков, получивший название *катангского*. Будучи принадлежащим к *северноазиатской (байкальской)* расе, характерной для всех тунгусов и юкагиров, он отклоняется от её основных вариантов прежде всего по чрезвычайно низкому по монголоидным масштабам лицу и более тёмной пигментации волос и глаз. Существует мнение, согласно которому именно катангский тип наиболее близок монголоидному компоненту, вошедшему в состав обских угров, самодийцев и некоторых других народов Западной Сибири, принадлежащих в антропологическом отношении к *уральской* расе [Рычков 1961:246-253]. Речь здесь идёт не о формировании уральской (*древнеуральской* – см. выше) расы на базе смешения “низколидых монголоидов” и европеоидов, а об участии “низколидых монголоидных” групп в сложении этих народов наряду с носителями собственного уральского типа [Давыдова 1989b:115].

“Низколидых монголоидный” палеосибирский комплекс, возможно, сохранился в до некоторой степени близком к древним формам виде на крайнем севере Средней Сибири – в лице весьма своеобразного антропологического типа нганасан, которые могли его унаследовать ещё от досамодийского населения Таймыра, и у которых он приобрёл “гипертрофированные” черты вследствие длительной изоляции и тесного круга брачных связей. В целом этот тип, безусловно, близок к северноазиатскому монголоидному (байкальская раса), совершенно не обнаруживает следов европеоидного (или квазиевропеоидного – уралоидного) влияния, отличается от классических (тунгусских) вариантов байкальской расы по тем же признакам, что и упомянутый выше катангский (более тёмная пигментация волос и глаз, более низкое лицо, брахикефалия, прямая спинка носа) и сближается с другим архиморфным в рамках северноазиатской расы типом – юкагирским [Золотарёва 1962:132-136; Юкагиры: 110; Алексеев, Гохман 1984:161].

По-видимому, верным является почти единодушное мнение антропологов, склонных видеть в мезо- и неолитических “низколидых монголоидных” черепях особый протоморфный тип, приближающийся к кругу древних (континентальных) монголоидов (по терминологии Т.А.Трофимовой – *Homo sapiens asiatic paleoarcticus*) и сыгравший важную роль в генезисе антропологических типов населения Западной Сибири, Урала, севера Восточной Европы и, видимо, хотя бы отчасти – Средней и даже Восточной Сибири [Дебеч 1948:328; Трофимова 1968:51-58; Беневоленская 1985:52-53; Томтосова 1977:136]. Находки черепов такого типа в Восточной Сибири (см. выше) указывают на то, что данный тип был распространён скорее на северной (или, по крайней мере,

северо-западной) периферии ареала (формирования) континентальных монголоидов (юг Средней Сибири, При- и Забайкалье [Дебец 1948:42-43, 67-68]), и едва ли верно заключение о том, что с неолита низколицые монголоиды распространены в Западной, а высоколицые – в Восточной Сибири [Алексеев. Гохман 1984:43].

В любом случае, бесспорно проникновение в лесную зону Восточной Европы вплоть до Прионежья “низколицых монголоидных” групп предположительно сибирского происхождения по крайней мере с мезолита, во-первых; отсутствие связи между этими группами и культурами с ямочно-гребенчатой керамикой льяловского типа центра и севера Европейской России и типичной гребенчатой керамики Прибалтики, для носителей которых были характерны вариации лапоноидного и сублапоноидных типов, имеющих особое происхождение, во-вторых; наконец, важнейшее значение имеет факт наиболее мощного притока групп носителей антропологических типов, определяемых опять-таки как “низколицые монголоидные”, с северо-востока Европейской России и / или из-за Урала в Прикамье и Среднее Поволжье в предананьинское (мог. Полянка II, начало I тыс. до н.э.) и раннеананьинское (сер. I тыс. до н.э.) время, с которым можно связывать и само формирование *ананьинской* культуры [Збруева 1947:270-271; Акимова 1967:105; Алексеев 1981:53-55; Третьяков П.Н. 1966:141-145] (об археологическом аспекте проблемы см. также [Генинг, Совцова 1967]). Учитывая решающую роль именно ананьинской историко-культурной общности в распространении культурного влияния и, видимо, населения с востока, от Прикамья на запад вплоть до Балтики в середине и второй половине I тыс. до н.э. [Кузьминых 1993:75-83; Косменко 1993:196-202], участие “низколицых монголоидов” в генезисе самой ананьинской культуры представляется тем более значимым для уральской предьстории в целом.

Таким образом, на восточной периферии древнейшего ареала древнеуральской расы был распространён специфический протоморфный низколицый периферийно-монголоидный тип, образующий как бы переходную ступень от древнеуральской расы, которая в таком случае действительно может рассматриваться как результат развития особого очага расогенеза, к собственно северноазиатским континентальным монголоидам (байкальская раса). Эти “низколицые монголоиды” не только должны были издревле контактировать с носителями урало-лапоноидных типов в Западной Сибири, но и проникали достаточно далеко на запад ещё с мезолита. Интересно, что их миграции можно с известной осторожностью связывать с зоной тёмнохвойной сибирской тайги, почти достигавшей районов Прионежья в мезолитическое время и значительно расширившей свой ареал в Восточной Европе в конце II – начале I тыс. до н.э. (рис. 7). Привязка к той же экологической нише древнейших этапов предьстории уральцев по данным языка (см. раздел IV) опять-таки заставляет с особым вниманием отнестись к древним миграциям “низколицых монголоидов” в плане выявления их роли в уральской предьстории.

В последние десятилетия в работах А.Г.Козинцева, базирующихся на новом методе антропологического исследования, анализе швов черепа (*этническая краниоскопия*, англ. *ethnic epigenetics*, по терминологии автора), было продемонстрировано генетическое расовое единство большинства уралоязычных популяций от саамов до ненцев<sup>31</sup>, противостоящих всем остальным популяциям Евразии, кроме юкагиров, которые попадают в “уральский” кластер, и обнаруживающих явное тяготение к северному антропологическому “полюсу”, причём максимальный северный индекс показывает опять-таки юкагирская серия [Козинцев 1988:125-129,137,140,144]. Эти выводы были подтверждены недавно и результатами анализа данных традиционной краниологии: “большинство уралоязычных народов <...> имеют общие и весьма специфичные черты, не объяснимые ничем иным, кроме единства происхождения. <...> Реконструируемая на основании уралоидных признаков антропологическая общность, особенности которой в наибольшей степени сохранились, по-видимому, у манси, была нарушена метисацией западноуральских групп с европеоидами, а восточноуральских – с монголоидами. Обе системы признаков [*краниоскопические и краниометрические* – В.Н.] свидетельствуют о принадлежности предков юкагиров к древней уральской общности” [Козинцев, Моисеев 1995:87]. При этом помимо юкагиров в уральский кластер попадают, с одной стороны, тунгусы и, с другой, чуваша [Козинцев, Моисеев 1995:85-86], в сложении тех и других следует предполагать участие древнеуральского компонента. Впрочем, методика последней из упомянутых работ была подвергнута, как кажется, небезосновательной критике [Хить, Долинова, Козлов, Вершубская 1996:123-124], – с позиций сторонников метисационной гипотезы, которые, опираясь на данные дерматоглифики, подчеркивают роль монголоидного компонента в составе обских угров и некоторых других уралоязычных групп, что само по себе бесспорно, но едва ли этим обстоятельством исчерпывается проблема генезиса данных типов, поэтому оно вряд ли имеет (по крайней мере, в представленном в названной работе виде) реальное значение в решении вопроса о генезисе уральской расы.

Важность работ А.Г.Козинцева для исследования уральской предыстории трудно переоценить: благодаря им мы имеем сегодня основания говорить об уральском пранароде не только как об абстрактной общности носителей реконструируемого уральского праязыка, но как об общности, для которой был характерен определённый, отличающий её от других популяций

<sup>31</sup> К сожалению, А.Г.Козинцев не располагал чрезвычайно интересными, как следует ожидать, материалами по краниоскопии нганасан, энцев, селькупов. Кроме того, некоторые его результаты (прежде всего, думается, выпадение из “уральского” кластера удмуртов) могут быть обязаны неполноте имеющегося в его распоряжении материала: антропологические типы удмуртов, например, весьма разнообразны и недостаточно изучены, в силу чего можно с высокой степенью вероятности ожидать в их составе как “уральских” краниоскопически, так и “неуральских” групп.

Северной Евразии антропологический тип, то есть – буквально как о народе во плоти и крови. Вторым важнейшим обстоятельством является отнесение к этой же общности предков юкагиров, таким образом, лингвистическая юкагиро-уральская гипотеза обретает право на историческую реальность.

Вхождение в “уральский” кластер как наиболее “чистых” урало-лапоноидных групп (саамы и манси), так и байкальских монголоидных (юкагиры, тунгусы) или имеющих в своём составе явную монголоидную примесь (ханты, ненцы), позволяет высказать предположение о том, что “древнеуральский компонент”, обеспечивший отслеживаемое единство юкагиро-уральских групп, может быть соотнесён с древнеуральской расой и / или с низколицыми периферийно-монголоидными типами мезо- и неолита Сибири. Хотя приведённые выше факты о миграциях “низколицых монголоидов” и их участии в генезисе населения Восточной Европы указывают скорее на вторую возможность, лишь дальнейшие исследования и – прежде всего – новые палеоантропологические находки могут ответить на вопрос о том, принадлежали ли группы, составлявшие уральский (и юкагиро-уральский) пранарод, к одному из этих расовых типов, или (что кажется более перспективным) следует говорить в целом о родственных (“перетекающих” друг в друга, имеющих единый ареал формирования в предледниковой области в верхнем палеолите и с самого начала смешивавшихся между собой) северных евразийских вариантах (в терминологии В.В.Бунака), смыкающихся на западе с европеоидами, а на востоке с монголоидами, но в целом образующих особый, восточноевропейско-урало-сибирский очаг расогенеза.

Подводя итог краткому этому антропологическому экскурсу, осмелюсь сформулировать имеющие значение для исследования уральской предыстории выводы, которые на сегодняшний день можно считать относительно надёжными:

– “метисационная” гипотеза генезиса урало-лапоноидной расы не согласуется с реальными данными и должна быть отвергнута. Таким образом, наличие определённых квазимонголоидных отклонений (плосколицесть и т.п.) на мезо- и неолитических черепках Восточной Европы и, в частности, Прибалтики, не может рассматриваться как свидетельство древних миграций с востока и, тем более, как аргумент в пользу уралоязычности древнего населения этих мест;

– есть все основания считать, что уральский пранарод представлял собой некогда реально существовавшую этническую общность, характеризующуюся помимо языка особым комплексом антропологических признаков, выделяющих её среди других популяций Северной Евразии. Генетически к тому же стволу принадлежали и предки юкагиров, что согласуется с лингвистической реконструкцией юкагиро-уральского праязыка;

– комплекс антропологических признаков уральского и юкагиро-уральского пранарода может быть связан с северными евразийскими

протоморфными вариантами восточноевропейско-урало-сибирского очага расогенеза, прежде всего – с древнеуральской расой и / или с “низколицым монголоидным” типом. Таким образом, локализовать этот комплекс в мезо- и в начале неолита в самом общем виде следует в лесной (тайжной ?) и субарктической зоне от Прибалтики на западе до юга Средней и Восточной Сибири на востоке, в верхнем палеолите его генезис был связан с перигляциальной зоной Средней и Восточной Европы и Западной и Средней Сибири. Близость древнеуральского антропологического комплекса к юкагирскому и тунгусскому указывает скорее на восточные области этого ареала как на территории уральской прародины;

– ряд обстоятельств указывает также на особую роль именно “низколицего монголоидного” компонента сибирского происхождения в генезисе древних групп, сыгравших решающую роль в сложении исторической уральской ойкумены.

Рассмотрение археологической проблематики, связанной с прародиной и ранними этапами предьстории уральских и финно-угорских народов, потребовало бы отдельного объёмного исследования: ведь речь идёт, возможно, более чем о сотне археологических культур, выделяемых разными исследователями в мезолите, неолите, бронзовом и железном веке (с VII по I тыс. до н.э.) на территориях от Средней Сибири до Скандинавии, о сложнейших проблемах их происхождения, взаимосвязей и взаимовлияний, датирования, реконструкции хозяйственно-культурных типов и т.д., и т.п.. В идеале в результате такой работы может быть восстановлена картина древнейших этнических процессов, эпохальных изменений этнической карты Северной Евразии, приведших к её исторически фиксируемому состоянию, и, в частности, выявлено место уральских народов в этих процессах. Не уверен, что осуществление подобной реконструкции будет по силам одному исследователю и тем более не могу претендовать сам на роль такого энциклопедиста. Будучи, кроме того, ограничен рамками очерка, обозначенного как “введение”, попробую остановиться лишь на ключевых проблемах, главных узловых моментах уральской предьстории, в рассмотрении которых археология может сыграть решающую роль.

Археология предоставляет сведения о конкретных исторических процессах, имевших место на определённой территории в определённое время, об экономике, иногда – о социальном устройстве, ещё реже – о духовной культуре древних групп. В то же время сам по себе археологический материал не содержит никакой информации о языке и этнической принадлежности этих групп. Более того, установление археологической преемственности (отражающей преемственность хозяйственно-культурного типа и материальной культуры) между двумя культурами не означает преемственности языка и этнического самосознания – в диахронии, а установление границ археологических культур на определённой территории не означает, что на этой

территории существовало такое же количество этноязыковых общностей, обитавших в тех же границах – в синхронном срезе: смена языка и самосознания отнюдь не обязательно сопровождается заметными изменениями в материальной культуре и наоборот, а границы хозяйственно-культурных типов отнюдь не обязательно совпадают с этническими границами. Вместе с тем, эти посылки не абсолютны: установление с помощью данных археологии системы строгих пространственно-временных координат для экономических и социальных процессов прошлого (без прямой экстраполяции этих построений на этноязыковую сферу<sup>132</sup>) позволяет – с привлечением независимых данных других дисциплин (прежде всего – сравнительно-исторического языкознания, антропологии и палеобиогеографии), но без попыток коррекции выводов одной дисциплины исходя из выводов другой – построить модель (точнее – систему моделей для разных территорий и разных периодов, взаимно согласующихся друг с другом) древних этнических и языковых процессов. Построение этой модели, таким образом, выходит за рамки собственно археологической науки и представляет собой задачу палеоисторического исследования. Данные независимых дисциплин в этой модели служат, как было сказано, не для взаимной “подгонки” (ср. выше о примере такой “подгонки” в гипотезе Х.Моора – П.Аристэ), а для объяснения фиксируемых независимо в разных сферах человеческого и природного бытия событий и / или их результатов через комплексную реконструкцию исторического процесса.

Исходя из такого понимания места археологии в палеоисторических исследованиях, попробую пунктирно наметить некоторую сеть пространственно-временных “узловых” точек, опираясь на которые, думается, уже сегодня в общих чертах можно уточнить наши представления о границах уральской прародины.

Определённый в разделе IV прасамодийский экологический ареал в территориальном и хронологическом плане соотносится с *кулайской* археологической культурой железного века, сложившейся в V веке до н.э. в Сургутско-Нарымском Приобье, дальнейшее развитие которой даёт плавный переход к предковым культурам исторических самодийских групп [Чиндина 1977; 1978; 1982; 1991; Хелимский 1983; 1989] (см. подробнее раздел о самодийских народах в первой части книги).

<sup>132</sup> Вероятно, полезно привести пример: установление по археологическим (лучше – с привлечением палеоантропологическим) данным факта былой миграции определённых групп населения с одних территорий на другие – есть реконструкция социальных процессов, вполне осуществляемая, но для того, чтобы установить этноязыковые последствия этой миграции (ассимиляция пришельцев аборигенами или наоборот, степень их смешения, результаты влияния одних на других, возможные отражения этого в языке и т.д.) необходим выход за пределы собственно археологического знания (см. далее по тексту).

В генезисе кулайской культуры прослеживаются два компонента [Косарев 1969; 1974:133-146]: *еловская* культура Томско – Новосибирского Приобья XII – начала VII вв. до н.э., принадлежащая к кругу южнотаёжных и лесостепных культур поздней бронзы Западной Сибири и происходящая, согласно наиболее аргументированному мнению В.И.Матющенко, от яркой и самобытной *самусьской* культуры XVIII – XIII вв. до н.э. [Матющенко 1974:128-136, 151-158], и *молчановская* культура Томского Приобья первых веков I тыс. до н.э., в происхождении которой и М.Ф.Косарев отмечает роль севернотаёжного компонента [Косарев 1987d:300-302], а по мнению других исследователей именно миграции на юг северного населения, носителей “крестовой” орнаментальной традиции (*атлымская* культура) в конце I тыс. до н.э. были ведущим этноисторическим процессом в её сложении [Васильев Е.А. 1980; 1982:12-15]. Следует заметить, что миграция северного населения не просто прослеживается по археологическим материалам, но и неплохо (см. работы Е.А.Васильева) аргументируется с палеоэкологической и палеоэкономической точки зрения. Представляется, что это позволяет связывать именно с носителями северно-таёжной средне-обской “крестовой” культурной традиции ранние этапы самодийской предьстории (см. эту гипотезу [Косарев, Потёмкина 1985:36-37] – в наиболее последовательном и приемлемом виде, за исключением самодийской аттестации еловской культуры, что представляется явно излишним и малообоснованным – см. обстоятельные возражения по поводу этой аттестации в [Матющенко 1973a; 1974:151-158]). Такое соотнесение согласуется с выводами лингвистики по поводу слабых следов контакта самодийского праязыка с индоиранскими (см. раздел V): в андроновское время, когда контакты степного населения с южнотаёжным в Западной Сибири достигали максимальной интенсивности, языковые предки самодийцев могут, таким образом, быть локализованы в более северных, глубинных районах западносибирской тайги.

Генезис “крестовой” культурной традиции в Среднем Приобье (бассейн р. Васюган и ниже по Оби) в XII–X вв. до н.э. связан с миграциями в XVII–XVI вв. до н.э. в этот регион с юга, из районов Нижнего Притоболья, носителей *гребенчато-ямочной* орнаментальной традиции и их смешением с таёжными аборигенами, для керамики которых была характерна *печатно-гребенчатая* орнаментация, развивающаяся как продолжение местных (ранне)неолитических традиций, причём в середине и на протяжении второй половины II тыс. до н.э. здесь господствует гребенчато-ямочная орнаментация, на основании чего делается вывод об ассимиляции таёжных аборигенов южными пришельцами [Васильев Е.А. 1978:7,11-12; 1980:5-7; 1982:7-11]. Думается, однако, последний вывод нельзя признать безоговорочным: здесь имеет место уже не моделирование конкретной этногенетической ситуации, а прямая экстраполяция археологической последовательности (в орнаментации керамики) на этноязыковое развитие.

Аналогичный неоправданный прямой перенос археологических показателей (сходство традиций орнаментирования керамики) без каких-либо экстра-археологических оснований<sup>33</sup> в сферу этноисторических построений лежит и в основе предложенной М.Ф.Косаревым гипотезы происхождения западносибирских культур неолита – бронзового века *гребенчато-ямочной* традиции от восточноевропейских неолитических культур *ямочно-гребенчатой* керамики волго-окского типа [Косарев 1973:69-70; 1974:159; 1987e:315]. Речь идёт о предположении о массовой миграции в середине – второй половине III тыс. до н.э. групп носителей ямочно-гребенчатой керамики со Средней Волги (территориально ближайшая к Сибири культура этого типа – *балахнинская*, локализуемая в Марийском Поволжье) или с Русского Севера (! – но именно так в оригинале) на юг Западной Сибири: на нижний Tobол, где в конце III тыс. до н.э. складывается близкая сибирской гребенчато-ямочной традиции, *андреевская* культура или – несколько раньше и дальше на восток, на средний Иртыш и в бассейн Оми, где примерно в то же время складывается *среднеиртышская* культура, принадлежащая к этой традиции. Любопытно, что культурно-хозяйственный тип носителей, например, как андреевской, так и балахнинской культур почти единодушно определяется как специализированные оседлые рыболовы [Ковалёва 1980:12; Косарев 1987a:260; Никитин В.В. 1993:79]. Остаётся совершенной загадкой, что побудило этих людей сняться со старых мест своего обитания, преодолеть огромное расстояние (не менее 900 километров между ближайшими памятниками по прямой, не учитывая рельефа), прорвавшись сквозь заселённые чуждыми группами земли, перевалить Урал, перейти в новое для себя экологическое окружение – тайгу западносибирского типа (родиной носителей культур ямочно-гребенчатой керамики центра Европейской России были европейские широколиственные леса), не оставив при этом никаких следов на промежуточных территориях, и осесть в довольно-таки плотно населённой области; ещё более непонятно, какие удивительные социально-культурные механизмы позволили им не только сохранить свой этнический облик среди населения, не уступавшего им в уровне развития, но и повсеместно ассимилировать его. Может ли весь этот комплекс недоумённых вопросов значить меньше, чем тот факт, что у некоторых поздненеолитических групп юга Западной Сибири получил распространение обычай наносить узор на керамике не только с помощью гребенчатого штампа (старая местная традиция), но и с помощью ямочных вдавлений? При том, что

<sup>33</sup> Помимо сходства способов орнаментации керамики для обоснования этой схемы привлекались: гипотеза Д.В.Бубриха об особых связях между прибалтийско-финскими и самодийскими языками [Бубрих 1948], не получившая поддержки у лингвистов и абсолютно не подтверждающаяся никакими фактами [Хелимский 1982:48-49]; гипотеза Ю.Тойвонена и И.Н.Шебештьен о самодийской генетической принадлежности протосаамского языка (см. подробнее в первой части книги в разделе о саамах) [Toivonen 1949; Sebestyén 1953], совершенно не выдерживающая аргументированной критики [Collinder 1954b; Lentiranta 1986]; ещё более слабые построения о наличии “самодийских” элементов в субстратной топонимике Русского Севера (см. об этом в начале V раздела). Как видим, говорить о реальных основаниях не приходится.



сходство сосудов европейской ямочно-гребенчатой традиции и сибирской гребенчато-ямочной отнюдь не абсолютное [Васильев Е.А. 1978: 4-5].

На самом деле, видимо, нет оснований ни для того, чтобы прямолинейно связывать гребенчато-ямочную традицию с прямыми языковыми предками самодийцев, ни, тем более, для того, чтобы предполагать её восточноевропейское происхождение. Её появление в позднем неолите Зауралья является одним из результатов происходящей в этот период дифференциации неолитических культур единой урало-западносибирской раннеолитической общности [Косарев 1987e:314-315]. Едва ли имеет смысл пытаться осуществить жёсткую привязку протосамодийского или протоугорского языкового элемента к определённой керамической традиции: прямой связи здесь быть не может. В целом прав, вероятно, В.И.Матющенко, писавший: “Сейчас нельзя решить, какой или какие из этих пластов следует связывать с самодийским этносом. Мы можем только бесспорно утверждать глубокую древность самодийцев в пределах Томско-Нарымского Приобья” [Матющенко 1973a:92].

Генезис предковых культур обско-угорских народов (точнее – собственно угорского, \**māńc̣z* компонента в их составе) приводит к *иткульской* культуре раннего железа, сложившейся в лесном Зауралье в VI веке до н.э. и продолжающей в основном традиции *черкаскульско-межовской* группы культурно-исторической общности *андроноидных культур* эпохи поздней бронзы юга Западной Сибири. На той же основе складывается примерно в то же время *саргатская* (*саргатско-гороховская*) археологическая общность в лесостепной и степной зоне от Южного Урала до Барабинской низменности, с носителями которой есть все основания связывать начало венгерской предыстории [Могильников 1983; 1994; Корякова 1988] (подробнее см. раздел об угорских народах в первой части книги).

В свою очередь, андроноидные культуры южнотаёжной и лесостепной полосы юга Западной Сибири складываются в последние века II тыс. до н.э. в результате влияния племён *андроновской* культурно-исторической общности (точнее – *фёдоровской* культуры), скорее всего – ариев по языку, на лесные группы. В частности, прослеживается преемственность между черкаскульско-межовской общностью и предшествовавшими ей в южнотаёжном Зауралье и на юго-западе Западной Сибири культурами *гребенчатой* орнаментальной традиции, сложившихся, как и культуры гребенчато-ямочной традиции (см. выше) в результате дифференциации раннеолитической урало-западносибирской общности. Уже в середине II тыс. до н.э. у носителей культуры с гребенчатой керамикой в южном Зауралье (*коптяковский* этап) наблюдается сложение специфических геометрических форм орнаментации, явно представляющих собой реминисценции андроновского орнамента и

перерастающие в типы, характерные для андронидных культур черкаскульско-межовской общности [Косарев 1987b:268-269; 1987e:314].

Таким образом, древнейшие этапы угорской этнической истории связаны, видимо, с археологическими культурами неолита лесного Зауралья. Опять-таки не следует, очевидно, рассматривать наличие гребенчатой орнаментации на посуде той или иной культуры бронзового века Западной Сибири и Зауралья как свидетельство угорской этноязыковой принадлежности её носителей. Гораздо важнее создание системы пространственно-временных координат экологической, экономической и социальной истории Западной Сибири в бронзовом веке, к которому, кажется, сегодняшняя западносибирская археология уже весьма близка. Принципиальное значение, однако, имеет вывод, который можно сделать уже сейчас: археологические данные не дают оснований для предположений о массовой смене населения или языка в Западной Сибири на протяжении неолита, бронзового и железного веков вплоть до средневековых предков исторических угров и самодийцев, реальные этногенетические процессы в этом регионе были в данный период определялись взаимодействиями между местными аборигенными группами лесной полосы, происходящими от по крайней мере раннеэнеолитического населения данного региона, и южным степным населением индоевропейской (индоиранской, возможно, также прототохарской – см. раздел V) языковой принадлежности.

Формирование пермских народов – коми и удмуртов на основе населения, оставившего культуры раннего средневековья и раннего железного века Камско-Вычегодского региона (*гляденовская, пьяноборская* культурно-исторические общности и др.), вырастающие из *ананьинской* культурно-исторической общности раннего железного века (VIII – III вв. до н.э.), практически не вызывает сомнения (см. первую часть книги, раздел о пермских народах, обзор см. в [Голдина 1987]). Естественно, многие вопросы относительно судеб отдельных культур, разрешения конкретных этногенетических ситуаций, роли тех или иных древних группировок в генезисе тех или иных исторических групп пермских народов и т.д. остаются дискуссионными, но вывод о происхождении пермян от прикамско-приуральского ананьинского населения и, следовательно, о соотношении пермского праязыка с языками этого населения (хотя бы какой-то его части), едва ли может быть поколеблен.

Вопрос о сложении “ядра” ананьинской культуры в Прикамье весьма сложен. Бесспорно участие в её генезисе населения, оставившего памятники *приказанской* культуры: помимо безусловной культурной близости к ананьинским памятникам её позднего этапа (*маклашеевского*, X–IX вв. до н.э.), показательно, что ранние ананьинские памятники расположены в Нижнем Прикамье практически на той же самой территории [Халиков 1967b; 1969]. С другой стороны, нельзя не учитывать, что возникновение собственно ананьинских памятников связано с заметным влиянием с востока, из лесного

Зауралья и Западной Сибири, связанного, видимо, и с притоком сибирского населения, для которого характерен специфический низколиций монголоидный антропологический тип, характерный для черепов из ранних ананьинских могильников [Генинг, Совцова 1967; Шилов 1961; Третьяков П.Н. 1966:141-145; Трофимова 1968] (см. также выше). По-видимому, в генезисе ананьинской культуры приняло участие и пост-гаринское население со Средней Камы (*ерзовская* культура) [Бадер 1953:58-64; Бадер, Соколова 1953:280; Денисов 1967], тем более велика была роль пост-гаринской *лебяжеской* культуры в формировании круга ананьинских памятников северо-востока Восточной Европы и в целом Русского Севера [Канивец 1974:123-138]. Естественно, бросается в глаза и мощное влияние степных культур – прежде всего в “ананьинском зверином стиле” мелкой пластики, но для на шей темы это обстоятельство может играть лишь дополнительное значение, так как арийская (точнее, скорее всего – иранская) языковая принадлежность степных племён срубной и наследующих ей культур не подлежит сомнению. Очевидно, именно с ананьинским временем связаны наиболее тесные прапермско–иранские контакты, которым пермские языки обязаны массивом иранских лексических заимствований (см. раздел V).

Чтобы ответить на вопрос, какая из этих групп могла стать ведущей в формировании языка населения “ядра” ананьинской общности и – что отнюдь не обязательно то же самое – в формировании языка предковых для носителей собственно прапермских постананьинских культур групп, необходимо, вероятно, написать специальную работу. Более того, прежде необходимо установить, с какими именно ананьинскими группами могут быть связаны ранние этапы пермской языковой предыстории: предположение о языковом единстве (условном, естественно) всех ананьинцев хотя и заманчиво, но маловероятно<sup>34</sup>. Принципиальное значение имеет, однако, то обстоятельство, что отслеживание генезиса приказанской, ерзовской, лебяжской культуры приводит нас к неолитическим (конец III – первая половина II тыс. до н.э.) памятникам *гаринской* (*гаринско-борской*, в более старых работах – *гаринско-турбинской*) общности, распространённым в бассейнах Камы, Вятки, Вычегды и верхней Печоры (*новоильинская, гаринская, юртиковская* культуры, памятники *Красномостовского* типа, типа *Конецбор* на севере и др.). Таким образом, древнейшие истоки пермских языков могут восходить к языкам неолитического населения Приуралья (гаринская общность), либо – эта возможность выглядит сегодня не слишком перспективной, но её, тем не менее, следует иметь в виду, – надо предполагать, что ранний пермский праязык был принесён в Прикамье из Зауралья низколицими монголоидными группами в первой половине I тыс. до н.э. в эпоху сложения ананьинской культуры. Tertium non datum.

<sup>34</sup> В плане перспективы исследования этих проблем чрезвычайную ценность представляет сводка А.Д.Вечтомова, показавшего возможность выделения по ананьинским материалам определённых “племенных” групп прикамского населения и выяснения эволюции “племенного” состава камских ананьинцев [Вечтомов 1968].

Сложение энеолитических культур гаринского типа происходило на базе камско-приуральского неолита с гребенчатой керамикой (*волго-камская* или *хуторская* неолитическая культура) [Оборин 1968:19-21; Бадер 1973:103; Наговицын 1987:31; 1993:74-75; Никитин В.В. 1993:81]. Это же культура, в свою очередь, объединяется с культурами лесного Зауралья IV – начала III тыс. до н.э. в раннеолитическую урало-западносибирскую общность [Халиков 1967а:24-25; 1973:116; Бадер 1970b:157-163; Косарев 1987e:314-315]. Таким образом, мы приходим к единому истоку пермских, угорских и (?) самодийских народов – раннеолитической урало-западносибирской культурной общности, на базе которой без каких-либо решающих вливаний извне развились в конечном счёте предковые культуры всех этих народов.

Сложение этнического ядра марийского и мордовского народов (а также, видимо, и летописной мери) связано (помимо участия в сложении марийцев ананьинских и постананьинских – *азелинская* культура – группы) с культурами дяковско-городецкой общности, вырастающими на базе верхневолжской культуры ложнотестильной керамики [Третьяков П.Н. 1966:145-156, 288-293; Горюнова 1961; Седов 1987] (подробнее см. в первой части книги в разделе о волжских финно-уграх; обзор см., например, в [Архипов 1995]). Таким образом, более глубокие истоки их этнической истории тесно связаны с истоками прибалтийских финнов и саамов (см. ниже).

Установление этнической границы между германцами (скандинавами) и саамами в северной Швеции археологически прослеживается в IX – VIII веках до н.э. в связи с распространением в Скандинавии двух господствующих культурных традиций в металлургии: южноскандинавской и восточноевропейской, для которой характерны изделия *ананьинского* облика (прежде всего – ананьинские кельты) и формы для их отливки; истоки восточноевропейской традиции находятся, в конечном счёте, в ареале “классического” ананьина в Прикамье, о теснейших связях свидетельствует появление в Нурланде не только изделий ананьинских, но и степных, “скифских” форм, проникавших по тому же пути. Знаменательно при этом, что нет оснований предполагать переселение саамского населения с востока: по-видимому, генетически саамы севера Скандинавии представляют собой потомков по крайней мере неолитического населения [Baudou 1990:28-33].

Господство восточноевропейских традиций в культуре населения севера Фенноскандии началось, впрочем, не в ананьинское время, а примерно со второй половины II тыс. до н.э.. Изменения эти были настолько значимы, что у Э.Боду есть основания говорить о “совершенно новом мире форм и символов”, возникшем под восточным влиянием [Baudou 1990:27]. Процесс этот охватил также и внутренние (помимо Балтийского побережья) районы Финляндии и Карелию и был связан не только с более поздним ананьинским влиянием (оно ощущалось с VII в. до н.э., в основном в более северных

областях), но и с распространением на эти территории с юго-востока, с Верхнего Поволжья культурного комплекса *ложнотекстильной* керамики, который был хотя бы в некоторой степени связан с притоком нового населения. Для Финляндии и Карелии следует говорить о культуре *типа Сарса – Томица*, представлявшей собой крайний северо-западный вариант общности культур с ложнотекстильной керамикой и существовавшей в XIII в. до н.э. – III в. н.э. [Huurre 1986:52-56]. Для культур ложнотекстильной керамики также были характерны специфические бронзовые изделия, прежде всего – кельты *меларского* типа (названы так по названию оз. Меларен в Швеции, откуда, как принято было считать в начале XX века, они будто бы происходят – см. обзор и анализ проблемы, обоснование генезиса этого типа изделий в Поволжье в [Кузьминых 1993]), в конце II – в I тыс. до н.э. широко распространившиеся от Среднего Поволжья до Швеции.

Для названных территорий влияние восточных культур (ананьинской из Прикамья и ложнотекстильной керамики с Верхней и Средней Волги) было решающим в данный период: на сегодняшний день нет памятников, позволяющих говорить о постепенном переходе от каменного к бронзовому веку в Финляндии, начало бронзового века полностью обязано здесь первому импульсу с востока, когда в середине II тыс. до н.э. в северную Фенноскандию проникают бронзовые изделия сейминско-турбинского типа [Huurre 1986:53], влияние с востока с этого момента прослеживается непрерывно на протяжении более тысячи лет, и отчасти по тем же путям (через Беломорье на север Фенноскандии проникали первые сейминско-турбинские бронзы, тем же путём шёл затем и ананьинский металл), при этом имели место не просто торговые связи (металл, из которого изготовлены некоторые скандинавские ананьинские изделия происходит из-за Урала), но миграции (о культуре ложнотекстильной керамики см. выше, о приходе ананьинских мастеров свидетельствуют многочисленные находки форм для выплавки кельтов) [Huurre 1986:54-55]. Первые железные изделия на севере Финляндии также имеют ананьинское происхождение, причём здесь оно появляется раньше, чем в прибрежных районах, и именно начало железного века положило предел восточному влиянию: возможность развития металлургии на базе местных руд ликвидировала белую зависимость от восточных источников цветного металла [Huurre 1986:57].

Как видим, на исторических территориях обитания саамов (Финляндия, Карелия, север Фенноскандии, не говоря уж о более восточных районах – см. о былом расселении саамов по данным исторических источников и топонимике в первой части книги в разделе о саамах; об этнокультурной ситуации в эпоху раннего железа на юге Карелии и в восточном Прионежье, определявшейся столкновением восточных ананьинских влияний с господствующей здесь культурой типа Сарса – Томица см. в [Косменко 1993]) отнюдь не прослеживается культурной непрерывности от неолита. Носители вырастающей на базе неолитической культуры типичной *гребенчатой* керамики Финляндии и

Карелии культуры *асбестовой* керамики, которая постепенно в течение I тыс. до н.э. отступает всё далее на север под давлением культуры ложнотекстильной керамики [Панкрушев 1964:92; Гурина 1961:168-172] практически не владели обработкой бронзы и железа, не знали скотоводства и земледелия, хорошо известных племенам ананьинской культуры и создателям памятников типа Сарса – Томица, и были, скорее всего, повсеместно ассимилированы последними уже к первым векам нашей эры.

Таким образом, этническая история саамов может быть прослежена вплоть до конца II – I тыс. до н.э., времени, для которого есть все основания предполагать распространение языков восточного (ананьинского) и юго-восточного (культура ложнотекстильной керамики) происхождения среди населения Северной и Восточной Фенноскандии в ходе революционных изменений в его хозяйственно-культурном укладе. Ведущую роль в этом процессе сыграли, видимо, пришлые группы создателей культуры с ложнотекстильной керамикой типа Сарса – Томица, происхождение которых связано с территориями Верхнего Поволжья.

Этническая ситуация на территориях Эстонии, севера Латвии и соседних областей России, а также на южном и юго-западном побережье Финляндии во второй половине II – первой половине I тыс. до н.э. складывалась под влиянием ведущих факторов социально-экономического развития: повсеместное распространение металлургии (бронзы и, во второй половине I тыс. до н.э., железа), производящих отраслей хозяйства, миграций и активного взаимодействия различных по происхождению групп.

Ещё в конце III тыс. до н.э. в северной Прибалтике распространяются из Центральной Европы носители культуры шнуровой керамики и ладьевидных боевых топоров, знакомые с металлом, основой хозяйства которых на юге было скотоводство [Крайнов, Лозе 1987:51,56; Meinander 1954b], однако на севере доля производящих отраслей была значительно меньшей [Dolukhanov 1986:9] (подробнее см. раздел V). Тем не менее, влияние “шнуровиков” на развитие этнической ситуации в Прибалтике нельзя недооценивать: они, по всей вероятности, вытеснили в наиболее глухие районы и частично ассимилировали потомков носителей неолитической культуры *типичной гребенчатой* керамики, которые не могли конкурировать с пришельцами в экономическом и, вероятно, в социальном и военном плане, так как не были знакомы с металлом и производящим хозяйством, и им была свойственна безусловно меньшая активность и агрессивность, чем пришельцам [Крайнов, Лозе 1987:54].

В результате взаимодействия “шнуровиков” с местным населением и, видимо, не без участия скандинавских групп складывается на юго-западном побережье Финляндии во второй четверти II тыс. до н.э. культура *Киуккайнен* [Meinander 1954a:53]. Определить, какие языки: местного ли постнеолитического населения или “шнуровиков”, могли стать господствующими на её территории, вероятно, невозможно, хотя то

обстоятельство, что она распространилась исключительно в пределах районов максимальной экспансии культуры боевых топоров, а во внутренних районах страны, где продолжало существовать постнеолитическое население (см. выше), никаких культурных (археологических) изменений не наблюдается, более вероятным представляется вывод о том, что с этого времени юго-запад Финляндии не только в культурном, но и в этноязыковом отношении развивается по особому, отличному от внутренних районов страны, пути, и в этно-языковом плане здесь господствуют индоевропейские языки северного ареала (балто-славянский, германский).

Эти различия усугубились в последней четверти II тыс. до н.э., когда в прибрежных районах Финляндии, а затем (с начала I тыс. до н.э.) – Эстонии и северной Латвии распространяется культура *каменных курганов с ящиками* (нем. *Steinkistengräberkultur*). Как по своему погребальному обряду, так и по сопровождающим своеобразным формам бронзовых изделий эта культура должна рассматриваться как результат массовой миграции скандинавского населения (эту точку зрения, несмотря на свою приверженность априорной схеме автохтонного развития культур Прибалтики, вынуждены были с многочисленными, но мало что меняющими по сути оговорками признавать даже К.Ф.Мейндер и Х.Моора [Meinander 1954b:196-201; Моора 1956:87-88], более непредвзятую и реалистичную оценку см. в [Laul 1982:16]). Вероятно, речь идёт действительно о продолжении экспансии, начатой ещё “шнуровиками”: скандинавские пришельцы расселились практически в том же ареале, где ранее была распространена культура боевых топоров, и сами по себе связи между западным и восточным побережьем Балтики установились ещё в ходе экспансии родственных “шнуровых” групп в обоих регионах и в эпоху сложения культуры Киукайнен [Laul 1982:17]. Во всяком случае, говорить об этноязыковой преемственности на юго-западе Финляндии от культуры Киукайнен до наших дней никак не приходится.

Примерно с начала второй половины II тыс. до н.э. начинается и постепенно нарастает, достигая максимума в I тыс. до н.э., проникновение в Прибалтику (и во внутренние районы Финляндии – см. выше) культуры *ложнотекстильной* керамики, которая представляет собой здесь новое явление, явно связанное с влияниями и миграциями с востока, из районов Верхнего Поволжья [Моора 1956:76-77; Яните 1959:349-351; Гурина 1961:158-164; 1963:200-203]. В середине и в конце I тыс. до н.э. влияние этой культуры, точнее – влияние с востока выросшей из той же общности культур ложнотекстильной керамики в Верхнем Поволжье *дыяковской* культуры – распространяется вплоть до западных районов Латвии и эстонских островов (городища Кландюкалнс под Ригой, Иру под Таллином, Асва на о-ве Сааремаа), причём сохранение фольклорной традицией местного населения памяти об этих городищах может указывать на реальную этническую преемственность от их создателей до исторических прибалтийских финнов [Моора 1956:79-84].

Почти одновременно с началом развития в Прибалтике культуры ложнотекстильной керамики (в последней четверти II тыс. до н.э.) начинается

широкое распространение с юга на север и северо-восток в Прибалтике (до Ильмена, Приладожья и южной Финляндии) культуры *штрихованной керамики*, с создателями которой, в конечном счёте, связано формирование восточных балтов [Граудонис 1980; Васкс 1991:108-114].

Таким образом, в первой половине I тыс. до н.э. на севере Восточной Прибалтики после целой серии миграций различных групп, полностью разрушивших неолитическую этническую карту региона и, скорее всего, приведших к полной ассимиляции пришельцами местного пост-неолитического населения (кажется, нет никаких свидетельств сохранения традиций культуры типичной гребенчатой керамики где-либо в Прибалтике уже к началу I тыс. до н.э.), имело место тесное взаимодействие в основном трёх этноязыковых компонентов: скандинавского (создатели культуры *каменных курганов с ящичками*, скорее всего – носители прагерманских, восточногерманских или древнескандинавских диалектов), южного (культура *штрихованной керамики*, предки восточных балтов) и восточного верхневолжского (культура *ложнотекстильной керамики* – дьяковская культура). Именно в результате их взаимодействия складывается в этот период в основном на территории Эстонии культура *каменных могильников с оградками* (нем. *Tarandgräberkultur*) [Laul 1982:18], в последние века до н.э. – первые века н.э. распространяющаяся и в северной Латвии и на юго-западе Финляндии [Васкс 1991:106-107; Salo 1968] в связи с чем можно говорить о формировании в первые века н.э. ареала *прибалтийско-финских языков*<sup>35</sup> и *балтско-финской этнической границы* в Латвии. Значимо при этом, что сложение сопровождается распространением *ложнотекстильной керамики*, например, на севере Латвии, где она в этот период вытесняет *штрихованную керамику* [Васкс 1991:107, 117-118], а первые железные изделия культуры *каменных могильников с оградками* в Финляндии и Эстонии копируют бронзовые формы *меларских кельтов*, характерных для ранних памятников культур *ложнотекстильной керамики* (см. выше) [Salo 1968:237]. Эти обстоятельства указывают, по-видимому, на сохранение в эпоху раннего железного века восточной доминанты в культурном развитии севера Восточной Прибалтики, подобно тому, как это наблюдается на севере Фенноскандии, и на то, что носителями этого восточного влияния здесь, на юге, были племена культуры ложнотекстильной керамики, в которых, судя по всему, следует видеть население, говорившее на начальном этапе (вторая

<sup>35</sup> По-видимому, реально оценить роль восточного компонента в сложении культуры *каменных могильников с оградками* и выяснить ход этого процесса в целом ещё предстоит: реальная разработка этой проблемы сдерживается имеющейся тенденцией поисков корней *прибалтийско-финских народов* в неолитической культуре типичной гребенчатой керамики. Тенденция эта, при всей её необоснованности, настолько сильна, что даже В.В.Седов, например, считает своим долгом сделать эквивок в её сторону, хотя излагаемая в его работах логичная схема генезиса *прибалтийских финнов* абсолютно не предусматривает такой необходимости (см. ссылки на работы далее по тексту).



половина II тыс. до н.э.) на языках финно-волжской общности, а на более позднем этапе – на диалектах прибалтийско-финско-саамского и прибалтийско-финского праязыков [Sedov 1980:429-438; Седов 1990:90-91; Luho 1968:56-57].

Во всяком случае, бесспорно, что из названных выше трёх основных групп, взаимодействовавших на севере Восточной Прибалтики в эпоху поздней бронзы – раннего железа, только с носителями культуры ложнотекстильной керамики можно связывать генезис прибалтийско-финских языков (см. также в разделе V о соответствии этой модели реконструируемой картине взаимодействия балтских, германских и западных финно-угорских языков).

Есть основания думать, что восточное влияние и сопровождавшийся им сдвиг этнических границ начала железного века не были каким-то особым беспрецедентным явлением в этнической истории Восточной Европы, но стали завершающим звеном в цепи событий, связанных с влияниями или проникновениями восточных групп в лесной зоне на запад вплоть до Восточной Прибалтики и Фенноскандии. С наибольшей вероятностью реконструируемым эпизодом такого рода в более раннюю эпоху было широкое распространение в конце III тыс. до н.э. на севере Восточной Европы вплоть до Приладожья и западной Финляндии памятников, которые А.Х.Халиков находил возможным просто включать в круг гаринско-борских, и возникновение на юго-западе Финляндии группы памятников типа *Пюхеенсилтя*, керамика которых весьма близка гаринско-волооской (“синдром Пюхеенсилтя” в терминологии финских археологов) [Chalikov 1986:38,44-49; Третьяков В.П. 1969; Мейнандер 1982:11]. Едва ли случайно, что находки в Финляндии (Ylistaro) полозьев нарт, изготовленных, в отличие, например, от мезолитических находок такого рода, из древесины сибирской кедровой сосны, датируются именно последней четвертью III тыс. до н.э. [Indreko 1964:194-195]. Можно, по-видимому, полностью солидаризироваться с С.В.Кузьминых, писавшем: “Вживание ананьинско-текстильных групп населения в палеоевропейскую и балтскую /и германскую! – В.Н./ среду на северо-западе и севере Восточной Европы и в Финляндии венчало тысячелетний процесс инфильтрации в эту среду прауральцев, начиная с культур волосово-гаринского круга” [Кузьминых 1993:82].

Таким образом, общие истоки этнической истории западных финно-угров (финно-волжских народов) связаны с культурами Верхнего и Среднего Поволжья поздней бронзы – раннего железа (время формирования культуры ложнотекстильной керамики) и неолита (время существования волосовско-гаринской общности).

Сложение в третьей четверти II тыс. до н.э. культуры ложнотекстильной керамики происходило в Верхнем Поволжье и в северной части Волго-Окского междуречья с участием *поздняковской, фатьяновской, абашевской,*

чирковской, волосовской, поздних северных памятников культуры ямочно-гребенчатой керамики волго-окского (льяловского) типа. Ранее всего такая керамика появляется на памятниках поздняяковской культуры, распространённой в основном на Нижней Оке (середина II – начало I тыс. до н.э.), которая возникла, судя по всему, как результат экспансии на север группы срубных племён из степного Подонья [Бадер 1970а:59; Попова 1960; Бадер, Попова 1987]. Уже это обстоятельство однозначно указывает на невозможность в данном случае проводить параллель между археологической преемственностью (керамика) и этноязыковой (истоки финно-волжских языков): срубное население степей безусловно было ираноязычным. По-видимому, прав был О.Н.Бадер, считавший, что образование культуры ложнотекстильной керамики явилось результатом сложного синтеза разнокультурных компонентов и “истоков <её> нельзя искать в какой-либо одной культуре” [Бадер 1970а:74-77]; практически близкой точки зрения придерживаются и другие исследователи [Гурина 1963:200-203; Третьяков П.Н. 1966:140]. При этом, очевидно, среди носителей названных выше культур только создатели культуры ямочно-гребенчатой керамики, чирковской и волосовской могут претендовать на роль языковых предков финно-волжских народов.

Практически аналогичная ситуация с проблемой генезиса волосовской культуры. Объединение её в единую гаринско-волосовскую общность с прикамскими памятниками гаринского типа [Бадер 1953; Халиков 1990; Chalikov 1986:49] – сильнейший аргумент в пользу решающего участия в её генезисе восточного компонента, восходящего к волго-камской (хуторской) неолитической культуре и в целом – к культурам урало-западносибирского круга [Третьяков 1966:49-; Халиков 1969; Бадер 1972:25-27]. Ситуация, однако, не так однозначна: во-первых, гигантская территория распространения волосовской культуры (от оз. Ильмень до устья Камы и от верховий Сухоны до низовий Цны) вызывает сомнения в возможности существования на ней единого этнического массива [Крайнов 1987:12-13], существование локальных различий породило даже дискуссию о единстве этой культуры как таковой [Никитин А.Л. 1974; Третьяков В.П. 1975]; необходимость выделения внутри неё отдельных культурных областей, в частности – средневолжской (Марийское Поволжье), очевидна. Во-вторых, этнокультурная ситуация в Среднем Поволжье в середине III тыс. до н.э. (время формирования волосовской культуры) определялась взаимодействием трёх культурных групп: балахнинской культуры с ямочно-гребенчатой керамикой волго-окского типа, хуторской культуры с гребенчатой керамикой камско-уральского присхождения и весьма интересных памятников с так называемой *накольчатой* керамикой, создатели которых, в отличие от создателей первых двух групп памятников, не были аборигенами лесной зоны, но являлись пришельцами откуда-то с юга (Подонье, Нижняя Волга – ?) и были, видимо, знакомы со скотоводством; сложение средневолжского варианта волосовской культуры происходило при взаимодействии всех этих групп

[Никитин В.В. 1993] (ср. близкую точку зрения в [Третьяков В.П. 1969b]). Нельзя, вероятно, не учитывать и участия в формировании верхневолжского варианта волосовской культуры местных племён – потомков создателей раннеолитической *верхневолжской* культуры [Крайнов 1981; 1987:25-28], хотя принять гипотезу Д.А.Крайнова о происхождении волосовской культуры в целом от верхневолжской, особенно в её этноисторической части (соотнесение верхневолжцев и волосовцев с прямыми языковыми предками балтов и славян), едва ли возможно. Бесспорным будет, пожалуй, заключение о том, что в сложении волосовской культуры приняли участие как минимум два лесных неолитических компонента: волго-камский (хуторская культура) и волго-окский (культуры с ямочно-гребенчатой керамикой волго-окского типа), при этом развитое волосово обнаруживает безусловную близость к выросшей на волго-камской основе гаринской культуре (см. выше), а его распространение во II тыс. до н.э. в Волго-Окском междуречье выглядит как явный приход нового населения, вытесняющего носителей культуры с ямочно-гребенчатой керамикой [Третьяков В.П. 1972:119].

Эти два названные выше лесных неолитических культурных комплекса (волго-окская культура с ямочно-гребенчатой керамикой и волго-камская культура с гребенчатой керамикой), видимо, и могут претендовать на роль археологического аналога населения, говорившего на дофинно-волжских финно-угорских диалектах. Археологически перед нами – две различные области, культуры которых резко отличаются друг от друга и не могут быть возведены к общему источнику [Фосс 1952:64-77, 153-193; Формозов 1959:76-106; Гурина 1961:120-137; 1964; 1973]. Принципиальное значение имеет то обстоятельство, что происхождение этих общностей связывается с различными мезо- и даже палеолитическими традициями: волго-окской ямочно-гребенчатой керамики – с местным мезолитом, имеющим корни в *свидерской* мезолитической культуре Средней Европы (помимо указанных выше работ см. [Третьяков П.Н. 1963; Кольцов 1965; Третьяков В.П. 1972]), а волго-камского (и в целом урало-западносибирского) неолита – с уральским и западносибирским мезолитом [Бадер 1973; Халиков 1969]. Ещё более существенным для этноисторических выводов представляется то обстоятельство, что ареалы этих общностей привязаны к двум различным экологическим нишам: волго-окской – к европейским широколиственным лесам, а волго-камской – к тайге западносибирского типа.

Поскольку, как было отмечено выше, предковые культуры пермских, угорских и самодийских народов восходят к культурам урало-западносибирской общности, то кажется вполне логичным вывод о том, что в сложении и развитии волосовской культуры и / или культуры ложнотекстильной керамики, с которыми (или хотя бы с последней) следует связывать древнейшие этапы этноязыковой истории западных финно-угров, ведущую роль также играли носители культур урало-западносибирского круга, прежде всего – волго-камской. Вывод этот, однако, не может быть однозначно проиллюстрирован археологическим материалом: по-видимому, исторические процессы в энеолите – раннем железном веке в лесах Восточной Европы были весьма сложны,

и прямого отражения в археологических останках не имели. Однако, исходя из изложенных выше методологических принципов, такая гипотеза, во первых, данным археологии в принципе не противоречит, и ситуация в целом, таким образом, вовсе не выглядит обескураживающей: следует, видимо, обратиться к палеоисторической модели, могущей объяснить наблюдаемые факты непротиворечиво.

В относительно стабильное в плане экономического (точнее – технологического) развития неолитическое время важнейшее значение в этнических процессах лесной зоны Евразии имел, по-видимому, эколого-климатический фактор. Значительные перемещения первобытных коллективов и сдвиги этноязыковых границ могли иметь одну реальную причину: климатические изменения и сдвиг границ природных зон, которые приводили к изменениям экологической обстановки, благоприятным для одних групп и катастрофическим для других. На протяжении тёплого и относительно сухого атлантикума (конец V – середина III тыс. до н.э.), хронологически совпадающего с периодом раннего и развитого неолита в пределах Восточной Европы и Западной Сибири, имело место лишь одно явление такого рода: расширение зоны лесов в целом на север и расширение границ широколиственных восточноевропейских лесов на север и на восток [Хотинский 1977:162-163; Зубаков 1972:180-181; Левина 1980; Волкова, Белова 1980]. Именно с этими процессами следует, очевидно, связывать начало широкой экспансии культур ямочно-гребенчатой керамики волго-окского типа в лесах Восточной Европы, которая привела в середине III тыс. до н.э., в частности, к сложению прибалтийской культуры типичной гребенчатой керамики в результате ассимиляции пришельцами из Волго-Окского региона местного постмезолитического и раннеолитического населения [Янитс 1956; Моора 1956; Панкрушев 1964], эта экспансия продолжалась в основном в северном направлении и в начальный период суббореала [Третьяков 1972; Ошибкина 1978:28, 136], когда краткое похолодание и увлажнение климата не привело к крупным биогеографическим сдвигам, а во второй его трети (конец III – первая половина II тыс. до н.э.) наблюдалось новое потепление [Хотинский 1977:163-164].

В середине II тыс., однако, наступает последний период суббореала (середина II – середина I тыс. до н.э.), для которого характерно резкое похолодание и увлажнение климата и связанный с этим сдвиг границы темнохвойной тайги и широколиственных лесов на юг и запад [Хотинский 1977:163-164]. На месте широколиственных лесов на севере и в центре Восточной Европы и в северной Прибалтике постепенно распространяется еловая тайга (см. рис. 7), плотность животной биомассы в которой в среднем в полтора-два раза ниже. По масштабу климатических и биогеографических сдвигов события последней трети суббореала в Северной Евразии равнозначны концу ледникового периода (оценка Н.А.Хотинского).

Одновременно с резким изменением природной обстановки в лесной зоне Восточной Европы и Западной Сибири происходит скачок в технологическом (всеобщее внедрение металла и победа металла над камнем – сначала, с середины II тыс. до н.э., бронзы, затем, с середины I тыс. до н.э. – железа) и экономическом (повсеместное распространение уже со второй половины II тыс. до н.э. скотоводства и, видимо, несколько позже – земледелия) развитии. Появление столь удобных для накопления видов материальных благ как драгоценные металлы и скот и столь удобного для добывания этих благ приспособления как металлическое оружие быстро приводят к сложению соответствующих общественных институтов и стереотипов, к образованию весьма активных, подвижных и агрессивных групп, для которых земля, территория становятся уже не просто охотничьими угодьями, но источником благополучия помимо какого-либо труда за исключением поддержания “политического” контроля. С другой стороны, резко возрастающий товарный обмен стимулирует многообразные контакты между различными группами, бывшими до того времени изолированными друг от друга. Все эти обстоятельства не суть простые домыслы, но наглядно подкрепляются многочисленными археологическими свидетельствами (см., например, широкое распространение престижных предметов, среди которых особую роль играет металлическое оружие – хотя бы те же меларские и ананьинские кельты, появление городищ по всей лесной зоне Восточной Европы и Западной Сибири в переходное от бронзового века к железному время, многочисленность и чересполосицу культур, невозможность проследить между ними прямую преемственность и т.д., и т.п.). Этот скачок в развитии по своей масштабности сопоставим, видимо, с концом палеолита – началом мезолита, связанным в Северной Евразии с освоением северных территорий и приспособлением хозяйственно-культурного уклада древних групп к условиям послеледникового периода, и – по аналогии с “неолитической революцией” более южных стран, его можно, наверное, называть *металлической революцией*.

Три фактора, таким образом, обеспечивали превосходство и “победу” в гигантском историческом соревновании языков и культур в лесной зоне Восточной Европы от Балтики до Урала, развернувшемся с середины II тыс. до н.э. (в порядке убывания значимости): 1) владение металлургическим искусством и контроль над источниками металла (руды), 2) освоение скотоводства (и земледелия), 3) приспособленность к экологическим условиям темнохвойной тайги. Именно благодаря овладению первыми двумя факторами пришельцы из Центральной Европы (фатьяновцы, балановцы, носители прибалтийской культуры боевых топоров), несколько позже – степные и лесостепные племена (абашевские, срубные – поздняяковские, андроновские) играли ведущую роль в культурной (и, вероятно, этнокультурной) истории по крайней мере юга лесной полосы уже в первой половине и в середине II тыс. до н.э., и уже в это время остатки носителей культур прибалтийской гребенчатой керамики и ямочно-гребенчатой керамики волго-окского типа, не знакомые

ни со скотоводством, ни с бронзолитейным производством, оказались отброшенными на периферию этноисторических процессов, если вообще сохранялись как особые этнические и языковые единицы. В то же время территории носителей культур гаринского круга в Прикамье явно в меньшей мере подверглись экспансии южных и юго-западных пришельцев, кроме того, гаринцы и – хотя бы частично – волосовцы познакомились с металлом и, возможно, со скотоводством уже в первой половине II тыс. до н.э. [Крайнов 1987:19-20; Наговицын 1987:34; Кузьминых 1977].

Реальное изменение соотношения сил произошло в середине II тыс. до н.э., когда, во-первых, начавшиеся климатические изменения (см. выше) привели к кризису скотоводческого хозяйства южных групп (прежде всего – в связи с увлажнением климата, подъёмом уровня воды в реках и затоплением пойменных лугов, бывших основной базой раннего скотоводства в лесной зоне), а с другой – и это, пожалуй, самое главное, развитие сейминско-турбинского феномена (XVI – XIV вв. до н.э.), экспансия в лесной зоне от Алтая до Урала и далее от Урала до Верхней Волги и Финляндии групп сейминско-турбинских металлургов-воинов и контакты их с местным населением, особенно – на богатом рудными источниками Урале и в Среднем Поволжье (медистые песчаники) привели к сложению уральского очага металлообработки и уральской горно-металлургической области, которая со второй половины II тыс. до н.э. распространяет своё влияние и затем господствует во всей лесной зоне Восточной Европы от Урала до Скандинавии как минимум вплоть до середины I тыс. до н.э. [Черных 1970:119-120; Черных, Кузьминых 1987; 1989] (см. также в разделе V в связи с тохарскими заимствованиями в уральских языках и выше – о влиянии металлургии Среднего Поволжья и Прикамья в позднем бронзовом и раннем железном веке в Фенноскандии). Помимо этого решающего обстоятельства нельзя не отметить, что сама миграция сейминско-турбинских групп представляла собой фактически движение “первопроходцев” из Западной Сибири в Предуралье и далее на запад; по путям, проложенным в это время, влияние с востока шло ещё и в эпоху раннего железа (см., например, [Нунге 1986:53; Кузьминых 1993]), не исключено, что имели место и переселения весьма значительных групп западносибирского населения в Восточную Европу (см. выше о генезисе ананьинской культуры, см. также дискуссионный вопрос о возможном западносибирском импульсе, лежащем в основе сложения в Среднем и Верхнем Поволжье *чирковской* культуры в середине II тыс. до н.э. [Халиков 1987b]). Эти факты тем более знаменательны, что для западносибирских групп, также, как, видимо, и для прикамско-приуральских, тёмнохвойная тайга западносибирского типа, которая в это время распространяется в Восточной Европе (см. рис. 7), была родным домом, чего нельзя сказать ни о южных и юго-западных раннескотоводческих группах, ни о создателях культур ямочно-гребенчатой керамики волго-окского типа.

Таким образом, в результате климатических изменений последней трети суббореала и совпавшей с ними по времени “металлической революции” в лесной зоне Восточной Европы в период с середины II по середину I тыс. до н.э. сложились условия, обеспечивающие в интенсивном экономическом и этносоциальном “соревновании” племён и языков превосходство и ведущую роль населения восточного ареала зоны, прежде всего – Приуралья и Прикамья, с возможным участием и западносибирских групп. Это влияние, бесспорно прослеживаемое археологически, и привело в конечном счёте к победе языков восточного происхождения в центре и на севере Европейской России, на севере Восточной Прибалтики и Фенноскандии. Археологически этот период связан в первую очередь с формированием и распространением на западе зоны культуры (точнее – комплекса культур) ложнотекстильной керамики.

Этот вывод, базируясь в основном на тех же аргументах, а также – на сопоставлении с ними данных языкознания и антропологии, – был мною обоснован в написанной около десяти лет назад статье [Напольских 1990]. Попавшие в моё распоряжение за прошедшее с тех пор время факты, многочисленные дискуссии с коллегами, работающими в различных областях, – при моей полной готовности не только корректировать, но и, при наличии оснований, пересматривать свои взгляды – привели меня к заключению, что изложенная здесь схема на сегодняшний день является единственной моделью ранних этапов этнической истории западных финно-угров и финно-угризации Восточной Европы, непротиворечиво учитывающей и объясняющей максимально возможный корпус данных всех используемых для палеоисторических построений дисциплин. Модель эта, впрочем, не мной придумана: я всего лишь пытаюсь несколько модифицировать схему происхождения финно-угорских народов, предложенную и детально разработанную уже тридцать лет назад великими российскими археологами: Валерием Николаевичем Чернецовым [Чернецов 1963; 1973], Отто Николаевичем Бадером [Бадер 1953; 1970а; 1972], Петром Николаевичем Третьяковым [Третьяков П.Н. 1961; 1966] и Альфредом Хасановичем Халиковым [Халиков 1967а; 1969].

Возвращаясь к основной теме этого очерка – проблеме определения границ уральской прародины, следует, видимо, сделать вывод, что в целом определённый в разделе IV прауральский экологический ареал в большей или меньшей степени совпадает с теми районами, где можно локализовать носителей уральского праязыка в период перед распадом общности. Западная граница уральской прародины должна быть проведена несколько западнее границы уральского экологического ареала – примерно по междуречью Вятки и Ветлуги и по среднему течению Вычегды, то есть там, где пролегла археологическая граница между урало-западносибирским и волго-окским неолитом. Остальное см. на рис. 7. Естественно, нельзя исключить возможность того, что носители культур с ямочно-гребенчатой керамикой волго-окского типа или отдельные их

группы (прежде всего – создатели балахнинской культуры Нижегородского Поволжья) могли, в принципе, говорить на каких-то парауральских диалектах, однако, даже для этого утверждения особых оснований я не вижу. Во всяком случае, к числу эндоуральцев эти группы никак причислены быть не могут.





PS

Вероятно, местами я был несколько резок в оценках и, наверное, напрасно: в научном творчестве (если, конечно, играть в пределах правил) не бывает лишних результатов, даже самые, казалось бы, фантастические и кажущиеся невозможными построения безусловно полезны, так как будят мысль, позволяют расширить перспективу поиска и избавляют от неизбежной профессиональной узости взглядов. Поэтому хочу принести свою глубокую благодарность коллегам (и упомянутым, и не упомянутым в книге), чьи точки зрения расходятся с моими — не дай нам Бог когда-нибудь прийти к *единому мнению* !

Неведомый мастер испанского канте-хондо пропел когда-то:

*Ninguno por cantar bien  
hable mal de aquel que canta :  
unos cantan lo que saben  
y otros saben lo que cantan.*

*“Тот, кто сам поёт хорошо,  
не скажет плохо о поющем:  
одни поют то, что могут,  
а другие знают, что поют”.*

И был прав.

## Литература

- Абаев В.И. 1972. К вопросу о прародине и древнейших миграциях индоиранских народов // *Древний Восток и античный мир*. Москва.
- Айхенвальд А.Ю., Петрухин В.Я., Хелимский Е.А. 1982. К реконструкции мифологических представлений финно-угорских народов // *Балто-славянские исследования 1981*. Москва.
- Акимова М.С. 1953. Новые палеоантропологические находки эпохи неолита на территории лесной полосы Европейской части СССР // *Краткие сообщения Института этнографии АН СССР*. Вып. 18. Москва.
- Акимова М.С. 1967. Происхождение марийского народа по данным палеоантропологии // *Происхождение марийского народа*. Йошкар-Ола.
- Аксянова Г.А. 1991. Антропологические материалы о саамо-ненецких контактах (к проблеме досамодийского субстрата в Европейском Заполярье) // *Происхождение саамов (по данным антропологии и археологии)*. Москва.
- Алексеев В.П. 1969. Происхождение народов Восточной Европы. Москва.
- Алексеев В.П. 1974. Антропологические аспекты исследования этногенеза финно-угорских народов // *Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии*. Москва.
- Алексеев В.П. 1981. К палеоантропологии ананьинской культуры // *Советская этнография*. № 4. Москва.
- Алексеев В.П. 1984. Физические особенности мезолитического и ранненеолитического населения Восточной Европы в связи с проблемой древнего заселения этой территории // *Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии*. Ленинград.
- Алексеев В.П., Гохман И.И. 1984. Антропология азиатской части СССР. Москва.
- Алексеева Э.В. 1971. Млекопитающие плейстоцена юго-востока Западной Сибири. АКД. Ленинград.
- Аристэ П. 1956. Формирование прибалтийско-финских языков и древнейший период их развития // *Вопросы этнической истории эстонского народа*. Таллинн.

Архипов Г.А. 1995. Этногенез финно-угорских народов Поволжья: современное состояние, проблемы и задачи изучения // *Финно-угроведение*. № 1. Йошкар-Ола.

Атаманов М.Г. 1988. Удмуртская ономастика. Этнонимика, топонимика, антропонимика. Ижевск.

Афанасьева Г.М. 1990. Традиционная система воспроизводства иганасан. Проблемы репродукции обособленных популяций. Москва.

Бадер О.Н. 1953. Очерк шестилетних работ Камской археологической экспедиции (1947 – 1952) // *Труды Камской археологической экспедиции*. Вып. 3 / *Учёные записки Молотовского государственного университета*. Т.9, вып. 3. Харьков.

Бадер О.Н. 1970а. Бассейн Оки в эпоху бронзы. Москва.

Бадер О.Н. 1970б. Уральский неолит // *Каменный век на территории СССР / Материалы и исследования по археологии СССР*. № 166. Москва.

Бадер О.Н. 1972. О древнейших финно-уграх на Урале и древних финнах между Уралом и Балтикой // *Проблемы археологии и древнейшей истории угров*. Москва.

Бадер О.Н. 1973. Волго-камская этнокультурная область эпохи неолита // *Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны Европейской части СССР в эпоху неолита / Материалы и исследования по археологии СССР*. № 172. Ленинград.

Бадер О.Н., Попова Т.Б. 1987. Поздняковская культура // *Эпоха бронзы лесной полосы СССР*. Москва.

Бадер О.Н., Соколова З.П. 1953. Стоянка Боровое Озеро IV на Чусовой // *Советская археология*. Т.18. Москва.

Бадер О.Н., Халиков А.Х. 1987. Балановская культура // *Эпоха бронзы лесной полосы СССР*. Москва.

Баталова Р.М. 1975. Коми-пермяцкая диалектология. Москва.

Баталова Р.М. 1993. Коми-пермяцкий язык // *Языки мира. Уральские языки*. Москва.

Бахрушин С.В. 1935. Остяцкие и вогульские княжества в XVI - XVIII вв. Ленинград.

Бахрушин С.В. 1955. Избранные работы по истории Сибири XVI - XVII вв. Москва – Ленинград.

Беккер Э.Г. 1970. О некоторых параллелях в гидронимии Европейского Севера и Западной Сибири // *Языки и топонимия Сибири*. Вып.2. Томск.

Белицер В.Н. 1947. К вопросу о происхождении бесермян (По материалам одежды) // *Труды Института этнографии*. Москва – Ленинград. Том 1.

Белицер В.Н. 1951. Народная одежда удмуртов. Москва.

Белицер В.Н. 1958. Очерки по этнографии народов коми (зырян и пермяков). Москва.

Белицер В.Н. 1973. Народная одежда мордвы. Москва. Беневоленская Ю.Д. 1985. К вопросу о морфологической неоднородности краниологической

серии из могильника на Южном Оленьем острове // *Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии*. Ленинград.

Беневоленская Ю.Д. 1991. Данные к расогенезу саамов в аспекте временной динамики структуры черепа // *Происхождение саамов (по данным антропологии и археологии)*. Москва.

Борзунов В.А. 1992. Зауралье на рубеже бронзового и железного веков. Екатеринбург.

Борисов П.Г. 1923. Обь-Иртышский водоём (промыслово-биологический очерк) // *Рыбное хозяйство*. № 4. Москва.

Бубрих Д.В. 1947. Происхождение карельского народа. Петрозаводск.

Бубрих Д.В. 1948. К вопросу об отношениях между самодийскими и финно-угорскими языками // *Известия АН СССР. Отделение литературы и языка*. Т. 7, вып. 6. Москва.

Бунак В.В. 1956. Человеческие расы и пути их образования // *Советская этнография*. № 1. Москва.

Бунак, В.В. (ред.) 1965. Происхождение и этническая история русского народа по антропологическим данным // *Труды Института этнографии АН СССР*. Т. 88. Москва.

Бунак В.В. 1974. Балтийская антропологическая зона и вопросы финно-угорского этногенеза // *Вопросы советского финно-угроведения*. Т. 1. Петрозаводск.

Вадецкая Э.Б. 1986. Археологические памятники в степях среднего Енисея. Ленинград.

Вайнштейн С.И. 1970. Проблема происхождения оленеводства в Евразии (1. Саянский очаг одомашнивания оленя) // *Советская этнография*. № 6. Москва.

Валонен Н. 1982. Ранние лопарско-финские контакты. Из этнической истории финских племён // *Финно-угорский сборник*. Москва.

Васильевич Г.М. 1958. К проблеме этногенеза тунгусо-маньчжуров (по материалам изучения колыбелей) // *Краткие сообщения Института этнографии АН СССР*. Вып. 28. Москва.

Васильев В.И. 1979. Проблемы формирования северосамодийских народностей. Москва.

Васильев В.И. 1971. Сииртя – легенда или реальность? // *Советская этнография*. № 1. Москва.

Васильев Е.А. 1978. Гребенчато-ямочная керамика Среднего Приобья // *Этнокультурная история населения Западной Сибири*. Томск.

Васильев Е.А. 1980. Миграционные процессы в таёжной части Обского бассейна в эпоху бронзы // *Вопросы этнокультурной истории Сибири*. Томск.

Васильев Е.А. 1982. Севернотаёжное Приобье в эпоху поздней бронзы // *Археология и этнография Приобья*. Томск.

Васильев И.Б. 1979. Среднее Поволжье в эпоху ранней и средней бронзы (ямные и полтавкинские племена) // *Древняя история Поволжья*. Куйбышев.

Васильев И.Б., Выборнов А.А. 1988. Неолитические культуры лесостепного Поволжья и их взаимодействие с населением лесного Волго-Камья

// *Проблемы изучения раннего неолита лесной полосы Европейской части СССР*. Ижевск.

Васкс А.В. 1991. Керамика эпохи поздней бронзы и раннего железа Латвии. Рига.

Вербов Г.Д. 1973. Диалекты лесных ненцев // *Самодийский сборник*. Новосибирск.

Вереш П. 1985. Некоторые вопросы этногенеза венгерского народа // *Урало-алтаистика*. Новосибирск.

Вечтомов А.Д. 1968. К вопросу о племенной организации населения Среднего Прикамья в эпоху раннего железа // *Труды Камской археологической экспедиции. Вып. 4 | Учёные записки Пермского государственного университета*. Вып. 191. Пермь.

Вийто Т.-Р. 1989. Рецензия на [Николаева И.А. Проблема урало-юкагирских генетических связей. Диссертация ... кандидата филологических наук. Москва, 1988] // *Советское финно-угроведение*. Т. 21:4. Таллинн.

Винокурова И.В. 1994. Календарные обычаи, обряды и праздники вепсов (конец XIX – начало XX в.). Санкт-Петербург.

Владыкин В.Е. 1970. К вопросу об этнографических группах удмуртов // *Советская этнография* № 3. Москва.

Волкова В.С., Белова В.А. 1980. О роли широколиственных пород в растительности голоцена Сибири // *Палеопалинология Сибири*. Москва.

Волкова В.С., Левина Т.П. 1982. Растительность голоцена Западной Сибири по палинологическим данным // *Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене*. Москва.

Вопросы этнической истории эстонского народа / Ред. Х.А. Моор. Таллинн, 1956.

Галкин И.С. 1964, 1966. Историческая грамматика марийского языка. Морфология, I-II. Йошкар-Ола.

Гамкрелидзе Т.В., Иванов Вяч.Вс. 1984. Индоевропейский язык и индоевропейцы. Т. I-II. Тбилиси.

Гемуев И.Н. 1990. Мировоззрение манси. Дом и Космос. Новосибирск.

Генинг В.Ф., Петрин В.Т. 1985. Позднепалеолитическая эпоха на юге Западной Сибири. Новосибирск.

Генинг В.Ф., Совцова Н.И. 1967. О западносибирском компоненте в сложении ананьинской этнической общности // *Учёные записки Пермского государственного университета..* № 148. Пермь.

Герасимов М.М. 1955. Восстановление лица по черепу (современный и ископаемый человек) // *Труды Института этнографии АН СССР*. Т.28. Москва.

Голдина Р.Д. 1987. Проблемы этнической истории пермских народов в эпоху железа (по археологическим материалам) // *Проблемы этногенеза удмуртов*. Ижевск.

Головнёв А.В. 1993. Историческая типология хозяйства народов Северо-Западной Сибири. Новосибирск.

- Головнёв А.В. 1995. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. Екатеринбург.
- Голубева Л.А. 1973. Весь и славяне на Белом озере, X–XIII вв. Москва.
- Голубева Л.А. 1979. Зооморфные украшения финно-угров / *Археология СССР. Свод археологических источников*. Е1-59. Москва.
- Гондатти Н.Л. 1880. Следы язычества у инородцев Северо-Западной Сибири. Москва.
- Горюнова Е.И. 1961. Этническая история Волго-Окского междуречья. Москва.
- Гохман И.И. 1985. Новые палеоантропологические находки эпохи мезолита в Каргополье // *Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии*. Ленинград.
- Гохман И.И., Лукьянченко Т.В., Хартанович В.И. 1976. О погребальном обряде и краниологии лопарей // *Полевые исследования Института этнографии*. Москва.
- Грантовский Э.А. 1970. Ранняя история иранских племён Передней Азии. Москва.
- Граудонис Я.Я. 1980. Штрихованная керамика на территории Латвийской ССР и некоторые вопросы этногенеза балтов // *Из древнейшей истории балтских народов (по данным археологии и антропологии)*. Рига.
- Грачёва Г.Н. 1983. Традиционное мировоззрение охотников Таймыра (на материалах нганасан XIX – нач. XX в.). Ленинград.
- Грачёва Г.Н. 1988. Нганасаны // *Расы и народы*. Вып.18. Москва.
- Грибова Л.С. 1975. Пермский звериный стиль (проблемы семантики). Москва.
- Гришаков В.В., Зеленева Ю.А. 1990. Муромы VII – XI вв.. Йошкар-Ола.
- Грузов Л.П. 1969. Историческая грамматика марийского языка. Введение и фонетика. Йошкар-Ола.
- Гурвич И.С., Симченко Ю.Б. 1980. Этногенез юкагиров // *Этногенез народов Севера*. Москва.
- Гурина Н.Н. 1961. Древняя история северо-запада Европейской части СССР / *Материалы и исследования по археологии СССР*. № 87. Москва – Ленинград.
- Гурина Н.Н. 1963. Памятники эпохи бронзы и раннего железа в Костромском Поволжье / *Материалы и исследования по археологии СССР*. № 110. Москва – Ленинград. .
- Гурина Н.Н. 1964. К вопросу об этнокультурных областях лесной и лесостепной зоны Европейской части СССР в эпоху неолита // *Доклад на VII Международном конгрессе археологических и этнографических наук*. Москва.
- Гурина Н.Н. 1967. Из истории древних племён западных областей СССР. Ленинград.
- Гурина Н.Н. 1973. Некоторые общие вопросы изучения неолита лесной и лесостепной зоны Европейской части СССР // *Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны Европейской части СССР в эпоху неолита / Материалы и исследования по археологии СССР*. № 172. Ленинград.

Гуя Я. 1974. Прародина финно-угров и разделение финно-угорской этнической общности // *Основы финно-угорского языкознания*. Т.1. Вопросы происхождения и развития финно-угорских языков. Москва.

Давыдова Г.М. 1975. Антропологические особенности некоторых финно-угорских народов и вопросы их этногенеза // *Советская этнография*. № 6. Москва.

Давыдова Г.М. 1979. Антропологические особенности западных финнов и вопрос их происхождения // *К истории малых народностей Европейского Севера СССР*. Петрозаводск.

Давыдова Г.М. 1989а. Древнеуральский компонент в составе современных удмуртов // *Новые исследования по этногенезу удмуртов*. Ижевск.

Давыдова Г.М. 1989б. Антропология манси. Москва.

Дебец Г.Ф. 1947. Селькупы (антропологический очерк) // *Труды Института этнографии АН СССР*. Т.2. Москва.

Дебец Г.Ф. 1948. Палеоантропология СССР // *Труды Института этнографии АН СССР*. Т.4. Москва

Дебец Г.Ф. 1951. Антропологические исследования в Камчатской области / *Труды Института этнографии АН СССР*. Т.17. Москва.

Дебец Г.Ф. 1953. К палеоантропологии Урала // *Краткие сообщения Института этнографии АН СССР*. Вып. 18. Москва.

Дебец Г.Ф. 1956. О принципах классификации человеческих рас // *Советская этнография*. № 4. Москва.

Дебец Г.Ф. 1958. Опыт графического изображения классификации человеческих рас // *Советская этнография*. № 4. Москва.

Дебец Г.Ф. 1961. О путях заселения северной полосы Русской равнины и восточной Прибалтики // *Советская этнография*. № 6. Москва.

Денисов В.П. 1967. Культуры эпохи поздней бронзы в Верхнем и Среднем Прикамье и их роль в формировании ананьинской культуры // *Учёные записки Пермского государственного университета*. Вып. 148. Пермь.

Денисова Р.Я. 1974. Антропологический тип и генезис прибалтийских финнов // *Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии*. Москва.

Денисова Р.Я. 1975. Антропология древних балтов. Рига.

Денисова Р.Я. 1980. Генезис балтов // *Из древнейшей истории балтских народов (по материалам археологии и антропологии)*. Рига.

Долгих Б.О. 1952. Происхождение нганасанов // *Сибирский этнографический сборник / Труды Института этнографии АН СССР*. Т.18. Москва – Ленинград.

Долгих Б.О. 1960. Родовой и племенной состав народов Сибири в XVII в. / *Труды Института этнографии АН СССР*. Т.55. Москва.

Долгих Б.О. 1970. Очерки по этнической истории ненцев и энцев. Москва.

Долгих Б.О. 1976 (сост. и ред.). Мифологические сказки и исторические предания нганасан. Москва.

Долуханов П.М. 1973. Географические условия в неолитическую эпоху на территории Европейской части СССР // *Этнокультурные общности лесной и*

лесостепной зоны Европейской части СССР в эпоху неолита. *Материалы и исследования по археологии СССР*. № 172. Ленинград.

Древесные породы мира.— Древесные породы мира. Т. 3. Древесные породы СССР. Москва, 1982.

Дрёмов В.А. 1985. Расовая дифференциация угорских и самодийских групп Западной Сибири по данным краниологии // *Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии*. Ленинград.

Дульзон А.П. 1961. Дорусское население Западной Сибири // *Вопросы истории Сибири и Дальнего Востока*. Новосибирск.

Дьяконов И.М. 1982. О прародине носителей индоевропейских диалектов. I-II // *Вестник древней истории*. № 3-4. Москва.

Европеус Д.П. 1874. Об угорском народе, обитавшем в средней и северной России до прибытия туда нынешних жителей. Санкт-Петербург.

Ефимова С.Г. 1991. Палеоантропология Поволжья и Приуралья. Москва.

Жеребцов Л.Н. 1974. Этнические и культурно-исторические связи коми с финно-уграми и самодийцами. Сыктывкар.

Жеребцов Л.Н. 1982. Историко-культурные взаимоотношения коми с соседними народами. Москва.

Жилина Т.И., Сахарова М.А., Сорвачёва В.А. 1961. Сравнительный словарь коми - зырянских диалектов. Сыктывкар.

Журавлёв А.П. 1991. О генезисе поселений с асбестовой керамикой // *Поздний энеолит и культуры ранней бронзы лесной полосы Европейской части СССР I Археология и этнография Марийского края*. Вып.19. Йошкар-Ола.

Збруева А.В. 1947. Луговой могильник // *Труды Института этнографии АН СССР*. Т.2. Москва – Ленинград.

Золотарёва И.М. 1962. Антропологическое исследование нганасан. (Предварительное сообщение) // *Советская этнография*. № 6. Москва.

Золотарёва И.М. 1968. Юкагиры (антропологический очерк) // *Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии*. Москва.

Золотарёва И.М. 1971. О некоторых проблемах этнической антропологии Северной Азии (в связи с работами Г.Ф.Дебеца) // *Советская этнография*. №1. Москва.

Золотарёва И.М., Аксянова Г.А. 1974. Антропологическая дифференциация угорских и самодийских народов на севере Западной Сибири в связи с проблемами их этногенеза // *Вопросы советского финно-угроведения*. Т.1. Петрозаводск.

Зубаков В.А. 1972. Палеогеография Западно-Сибирской низменности в плейстоцене и в позднем плиоцене. Ленинград.

Иванов Вяч.Вс. 1985. О предполагаемых соотношениях между восточно-ностратическими и западно-ностратическими языками // *Урало-алтаистика*. Новосибирск.

Иллич-Свитыч В.М. 1971. Опыт сравнения ностратических языков. Введение. Сравнительный словарь (b-K). Москва.

История биогеоценозов СССР в голоцене. Москва, 1975.



История Венгрии. Т. I-III. Москва, 1971-1972.

Источники по этнографии Западной Сибири. Томск, 1987.

Казанцев Д.Е. 1979. Истоки финно-угорского родства. Йошкар-Ола.

Казанцев Д.Е. 1980. К вопросу о месте и времени проникновения иранских слов в древнемарийский язык // *Вопросы грамматики и лексикологии / Труды МарНИИ*. Вып.43. Йошкар-Ола.

Канивец В.И. 1974. Печорское Приполярье. Эпоха раннего металла. Москва.

Карпелан К. 1982. Ранняя этническая история саамов // *Финно-угорский сборник*. Москва.

Кёппен Ф. 1886. Материалы к вопросу о первоначальной родине и первобытном родстве индоевропейского и финно-угорского племени. Санкт-Петербург.

Кирпичников А.Н. 1984. Приладожская лопь // *Новое в археологии СССР и Финляндии*. Ленинград.

Кирюшин Ю.Ф., Малолетко А.М. 1979. Бронзовый век Васюганья. Томск.

Клима Л. 1989. Поволжские финно-угры в письменных источниках // *Советское финно-угроведение*. Т.25:1. Таллинн.

Ковалёва В.Т. 1980. Среднее Зауралье в переходное время от неолита к бронзовому веку. АКД. Москва.

Ковалёва В.Т. 1989. Неолит Среднего Зауралья. Свердловск.

Ковалёва В.Т., Чаиркина Н.М. 1991. Этнокультурные и этногенетические процессы в Среднем Зауралье в конце каменного – начале бронзового века: итоги и проблемы исследования // *Вопросы археологии Урала*. Вып. 20. Екатеринбург.

Козинцев А.Г. 1988. Этническая краниоскопия. Расовая изменчивость швов черепа современного человека. Ленинград.

Козинцев А.Г., Моисеев В.Г. 1995. Об антропологическом своеобразии уралоязычных народов: сопоставление данных краниоскопии и краниометрии // *Этнографическое обозрение*. № 4. Москва.

Кольцов Л.В. 1965. Некоторые итоги изучения мезолита Волго-Окского междуречья // *Советская археология*. № 4. Москва.

Конаков Н.Д. 1983. Коми – охотники и рыболовы во второй половине XIX – начале XX вв. Москва.

Корякова Л.Н. 1988. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири. Свердловск.

Косарев М.Ф. 1969. К вопросу о кулайской культуре // *Краткие сообщения Института археологии АН СССР*. Вып. 119. Москва.

Косарев М.Ф. 1973. Этнокультурные ареалы Западной Сибири в бронзовом веке // *Из истории Сибири*. Вып. 7. Томск.

Косарев М.Ф. 1974. Древние культуры Томско-Нарымского Приобья. Москва.

Косарев М.Ф. 1981. Бронзовый век Западной Сибири. Москва.

Косарев М.Ф. 1983. Андронидные культуры зауралья и Западной Сибири // *Бронзовый век степной полосы Урало-Иртышского междуречья*. Челябинск.

Косарев М.Ф. 1984. Западная Сибирь в древности. Москва.

Косарев М.Ф. 1987а. Западная Сибирь в переходное время от неолита к бронзовому веку // *Эпоха бронзы лесной полосы СССР*. Москва.

Косарев М.Ф. 1987б. Первый период развитого бронзового века Западной Сибири (самусьско-сейминская эпоха) // *Эпоха бронзы лесной полосы СССР*. Москва.

Косарев М.Ф. 1987с. Второй период развитого бронзового века Западной Сибири (андроновская эпоха) // *Эпоха бронзы лесной полосы СССР*. Москва.

Косарев М.Ф. 1987д. Эпоха поздней бронзы и переходное время от бронзового века к железному // *Эпоха бронзы лесной полосы СССР*. Москва.

Косарев М.Ф. 1987е. Некоторые вопросы этнической истории Западной Сибири // *Эпоха бронзы лесной полосы СССР*. Москва.

Косарев М.Ф., Потёмкина Т.М. 1985. Городище Чудская гора в свете этнической интерпретации андронидных культур Западной Сибири // *Урало-алтаистика*. Новосибирск.

Косменко А.П. 1984. Народное изобразительное искусство вепсов. Ленинград.

Косменко М.Г. 1993. Археологические культуры периода бронзы – железного века в Карелии. Санкт-Петербург.

Кочуркина С.И. 1982. Древняя Корела. Ленинград.

Кочуркина С.И. 1986. Корела и Русь. Ленинград.

Крайнов Д.А. 1972. Древнейшая история Волго-Окского междуречья (фатьяновская культура). Москва.

Крайнов Д.А. 1981. К вопросу о происхождении волосовской культуры // *Советская археология*. № 2. Москва.

Крайнов Д.А. 1987. Волосовская культура // *Эпоха бронзы лесной полосы СССР*. Москва.

Крайнов Д.А., Лозе И.А. 1987. Культуры шнуровой керамики и ладьевидных топоров в Восточной Прибалтике // *Эпоха бронзы лесной полосы СССР*. Москва.

Крейнович Е.А. 1982. Исследования и материалы по юкагирскому языку. Ленинград.

Крюкова Т.А. 1956. Материальная культура марийцев XIX века. Йошкар-Ола.

Кузьмина И.Е. 1971. Формирование териофауны Северного Урала в позднем антропогене // *Материалы по фауне антропогена СССР*. Ленинград.

Кузьминых С.В. 1977. К вопросу о волосовской и гаринско-борской металлургии // *Советская археология*. № 2. Москва.

Кузьминых С.В. 1993. Меларские кельты Восточной Европы и Фенноскандии (к проблеме одной археологической загадки) // *Археологические памятники Среднего Поочья*. Вып.3. Рязань.

- Кулемзин В.М., Лукина Н.В. 1977. Васюганско-ваховские ханты в конце XIX - начале XX вв. Томск.
- Кулемзин В.М. 1984. Человек и природа в верованиях хантов. Томск.
- КЭСК. – Лыткин В.И., Гуляев Е.И. Краткий этимологический словарь коми языка. Москва, 1970.
- Лаанест А. 1966. Ижорские диалекты. Таллинн.
- Лашук Л.П. 1958. Очерки этнической истории Печорского края. Сыктывкар.
- Лашук Л.П. 1968. “Сиртя” – древние обитатели Субарктики // *Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии*. Москва.
- Лашук Л.П. 1972. Формирование народности коми. Москва.
- Левин М.Г. 1958. Этническая антропология и проблемы этногенеза народов Дальнего Востока. Москва.
- Левина Т.П. 1980. Развитие растительности в низовьях Енисея и Средней Оби в голоцене // *Палеопалинология Сибири*. Москва.
- Левицкий Т. 1978. “Мадьяры” у средневековых арабских и персидских географов // *Восточная Европа в древности и средневековье*. Москва.
- Лозе И.А. 1984. Памятники гребенчато-ямочной керамики в Восточной Прибалтике // *Новое в археологии СССР и Финляндии*. Ленинград.
- Лозе И.А. 1991. Вопросы сложения производящего хозяйства на территории Восточной Прибалтики (скотоводство) // *Поздний энеолит и культуры ранней бронзы лесной полосы Европейской части СССР I Археология и этнография Марийского края*. Вып.19. Йошкар-Ола.
- Лукина Н.В. 1985. Формирование материальной культуры хантов (восточная группа). Томск.
- Лушникова А.В. 1990. Стратификация ирано-уральских языковых контактов. АКД. Москва.
- Лыткин В.И. 1952. Древнепермский язык. Москва.
- Лыткин Г.С. 1889. Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык. Санкт-Петербург.
- Львов Ю.А. 1979. Болотный процесс как фактор среды обитания человека в Западной Сибири // *Особенности естественно-географической среды и исторические процессы в Западной Сибири*. Томск.
- Макарьев С. 1932. Вепсы. Ленинград.
- Марк К.Ю. 1956. Вопросы этнической истории эстонского народа в свете данных палеоантропологии // *Вопросы этнической истории эстонского народа*. Таллинн.
- Марк К.Ю. 1964. Антропология волжских и пермских финно- угорских народов // *Доклад на VII Международном конгрессе археологических и этнографических наук*. Москва.
- Марк К.Ю. 1974. Соматологические материалы к проблеме этногенеза финно-угорских народов // *Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии*. Москва.
- Марк К.Ю. 1982. Соматология финнов и саамов // *Финно-угорский сборник*. Москва.

Матвеев А.В. 1993. Ирменская культура в лесостепном Приобье. Новосибирск.

Матвеев А.К. 1964а. Субстратная топонимика Русского Севера // *Вопросы языкознания*. №2. Москва.

Матвеев А.К. 1964б. О древнем расселении самодийцев по данным топонимики // *Топонимика Востока*. Москва.

Матвеев А.К. 1968. О древнейших местах расселения угорских народов (по данным языка) // *Труды Камской археологической экспедиции. Вып.4 / Учёные записки Пермского университета*. Вып.191. Пермь.

Матвеев А.К. 1979. Древнее саамское население на территории севера Восточно-Европейской равнины // *К истории малых народностей Европейского Севера СССР*. Петрозаводск.

Матвеев А.К. 1982. К вопросу о западных границах первоначального расселения манси по данным топонимии // *Ономастика Европейского Севера СССР*. Мурманск.

Матвеев А.К. 1984. Ещё об этимологии этнонима *зырянин* // *Этимологические исследования*. Свердловск.

Матвеев А.К. 1996. Субстратная топонимика Русского Севера и мерянская проблема // *Вопросы языкознания*. №1. Москва.

Матвеева Н.П. 1993. Саргатская культура на среднем Тоболе. Новосибирск.

Матющенко В.И. 1973. I-III. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). Часть первая. Неолитическое время в лесном и лесостепном Приобье (верхнеобская неолитическая культура). Часть вторая. Самусьская культура. Часть третья. Андроновская культура на Верхней Оби // *Из истории Сибири*. Вып. 9,10,11. Томск.

Матющенко В.И. 1973а. К вопросу об этнической принадлежности еловско-ирменских памятников и историческая преемственность в культуре населения Томско-Нарымского Приобья // *Из истории Сибири*. Вып. 7. Томск.

Матющенко В.И. 1974. Древняя история населения лесного и лесостепного Приобья (неолит и бронзовый век). Часть четвёртая. Еловско-ирменская культура // *Из истории Сибири*. Вып. 12. Томск

Мейнандер К.Ф. 1982. Финны – часть населения Северо-Востока Европы // *Финно-угорский сборник*. Москва.

Мельников П.И. (Андрей Печорский) 1981. Очерки мордвы. Саранск.

Мерперт Н.Я. 1976. Древнеямная культурно-историческая общность и вопросы формирования культур шнуровой керамики // *Восточная Европа в эпоху камня и бронзы*. Москва.

Мировоззрение финно-угорских народов. Ред. И.Н.Гемуев. Новосибирск, 1990.

Мифологические сказки и исторические предания иганасан. Сост. Б.О. Долгих. Москва, 1976.

Мифологические сказки и исторические предания энецов. Сост. Б.О. Долгих // *Труды Института этнографии АН СССР*. Т. 66. Москва, 1961.

- Мифы, предания, сказки хантов и манси / Сост. Н.В.Лукина. Москва, 1990.
- Могильников В.А. 1983. Об этническом составе культур Западной Сибири в эпоху железа // *Этнокультурные процессы в Западной Сибири*. Томск.
- Могильников В.А. 1994. К проблеме генезиса угорской этнокультурной общности // *Финно-угроведение*. № 1. Йошкар-Ола.
- Мокшин Н.Ф. 1977. Этническая история мордвы XIX – XX вв. Саранск.
- Мокшин Н.Ф. 1991. Тайны мордовских имен. Саранск.
- Молотова Т.Л. 1992. Марийский народный костюм. Йошкар-Ола.
- Моора Х.А. 1956. Вопросы сложения эстонского народа и некоторых соседних народов в свете данных археологии // *Вопросы этнической истории эстонского народа*. Таллинн.
- Моргунова Н.Л., Кравцов А.Ю. 1994. Памятники древнейшей культуры на Илеке. Екатеринбург.
- Мордва. Историко-этнографические очерки. Саранск, 1981.
- Мошинская В.И. 1978. Современное состояние вопроса о роли южного компонента в древней культуре населения Крайнего Севера и Западной Сибири // *Этнокультурное развитие населения Западной Сибири*. Томск.
- Мугуревич Э.С., Таутавичюс А.З. 1980. Состояние и задачи археологического изучения этногенеза балтских народов // *Из древнейшей истории балтских народов (по данным археологии и антропологии)*. Рига.
- Мудрак О.А. 1984. К вопросу о внешних связях эскимосских языков // *Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока*. Часть 1. Москва.
- Мулонен И.И. 1994. Очерки вепсской топонимии. Санкт-Петербург.
- Мы живём на одной земле: население Петербурга и Ленинградской области / Сост., ред. К.В.Чистов. Санкт-Петербург, 1992.
- Наговицын Л.А. 1987. Новоильинская, гаринско-борская и юртиковская культуры // *Эпоха бронзы лесной полосы СССР*. Москва.
- Наговицын Л.А. 1993. Дискуссионные проблемы в изучении новоильинской культуры // *Вопросы археологии Урала*. Вып. 21. Екатеринбург.
- Напольских В.В. 1989. Исторические импликации двух уральских этимологий // *Советское финно-угроведение*. Т. 25:2. Таллинн.
- Напольских В.В. 1990а. Палеоевропейский субстрат в составе западных финно-угров // *Uralo-Indogermanica*. Часть 2. Москва.
- Напольских В.В. 1990б. Проблема формирования финноязычного населения Прибалтики (к рассмотрению дилемм финно-угорской предыстории) // *Исследования по этногенезу и древней истории финноязычных народов*. Ижевск.
- Напольских В.В. 1994. О времени и исторических условиях урало-тохарских контактов // *Journal de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 85. Helsinki.
- Напольских В.В. 1995. Прауральский “пуп” // *Linguistica Uralica*. Т. 21:3. Tallinn.

Напольских В.В. 1996. Протославяне в Нижнем Прикамье в сер. I тыс. н.э.: данные пермских языков // *Христианизация коми края и её роль в развитии государственности и культуры*. Т. 2. Сыктывкар.

Народы Сибири / Ред. М.Н. Левин, Л.П. Потапов. Москва – Ленинград, 1956.

Нейштадт М.И. 1957. История лесов и палеогеография СССР в голоцене. Москва.

Никитин А.Л. 1974. Существовала ли “волосовская культура” ? // *Советская археология*. № 2. Москва.

Никитин В.В. 1988. Проблемы позднего мезолита – раннего неолита Марийского Поволжья (по материалам Удельно-Шуметского XII поселения) // *Проблемы изучения раннего неолита лесной полосы Европейской части СССР*. Ижевск.

Никитин В.В. 1991. Медно-каменный век Марийского края (середина III – начало II тыс. до н.э.). Йошкар-Ола.

Никитин В.В. 1993. Этнокультурная ситуация в конце неолита и в энеолите на левобережье Средней Волги // *Вопросы археологии Урала*. Вып. 21. Екатеринбург.

Николаева И.А. 1988а. Проблема урало-юкагирских генетических связей. АКД. Москва.

Николаева И.А. 1988б. О соответствиях уральских аффрикат и сибиллянтов в юкагирском языке // *Советское финно-угроведение*. Том 24:2. Таллинн.

Оборин В.А. 1968. Краткий очерк работ Камской археологической экспедиции ПГУ в 1961–1966 гг. // *Труды Камской археологической экспедиции*. Вып. 4 / *Учёные записки Пермского государственного университета*. Вып. 191. Пермь.

Окладников А.П. 1968. Тунгусо-маньчжурская проблема и археология // *История СССР*. №6. Москва.

Основы. – Основы финно-угорского языкознания. I–III. Отв. ред.: В.И. Лыткин, К.Е. Майгинская, К.Редей. Москва, 1974–1976.

Ошибкина С.В. 1978. Неолит Восточного Прионежья. Москва

Ошибкина С.В. 1983. Мезолит бассейна Сухоны и Восточного Прионежья. Москва.

Ошибкина С.В. 1987. Энеолит и бронзовый век Севера Европейской части СССР // *Эпоха бронзы лесной полосы СССР*. Москва.

Панкрушев Г.А. 1964. Племена Карелии в эпоху неолита и раннего металла. Москва – Ленинград.

Панкрушев Г.А. 1978. I–II. Мезолит и неолит Карелии. Часть I. Мезолит. Часть II. Неолит. Ленинград

Пелих Г.И. 1972. Происхождение селькупов. Томск.

Пелих Г.И. 1981. Селькупы XVII века (очерки социально-экономической истории). Новосибирск.

Петренко А.Г. 1984. Древнее и средневековое животноводство Среднего Поволжья и Предуралья. Москва.

- Петрин В.Т. 1986. Палеолитические памятники Западно-Сибирской равнины. Новосибирск.
- Пименов В.В. 1965. Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса культуры. Москва – Ленинград.
- Полосьмак Н.В., Чикишева Т.А., Балуева Т.С. 1989. Неолитические могильники Северной Барабы. Новосибирск.
- Помишин С.Б. 1990. Происхождение оленеводства и domestикация северного оленя. Москва.
- Попов А.А. 1948. Нганасаны. I. Материальная культура. Москва – Ленинград.
- Попов А.А. 1984. Нганасаны. Социальное устройство и верования. Ленинград.
- Попов А.И. 1973. Названия народов СССР. Введение в этнонимистику. Ленинград.
- Попова Т.Б. 1960. Происхождение поздняяковской культуры // *Труды Государственного Исторического музея*. Вып. 37. Москва.
- Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера (вторая половина XIX- нач. XX в.). Ленинград, 1976.
- Проблемы археологии и древней истории ургов. Москва, 1972.
- Проблемы истории общественного сознания аборигенов Сибири (по материалам второй половины XIX – начала XX в.). Ленинград, 1981.
- Происхождение марийского народа. (Материалы научной сессии). Йошкар-Ола, 1967.
- Прокофьев Г.Н. 1928. Остяко-самоеды Туруханского края // *Этнография*. № 2. Москва – Ленинград.
- Прокофьев Г.Н. 1935. Селькупская (остяко-самоедская) грамматика. Ленинград.
- Прокофьева Е.Д. 1952. К вопросу о социальной организации селькупов (Род и фратрия) // *Сибирский этнографический сборник / Труды Института этнографии*. Т. 18. Москва – Ленинград.
- Прокофьева Е.Д. 1953. Материалы по религиозным представлениям энцев // *Сборник Музея антропологии и этнографии*. Т.14. Москва – Ленинград.
- Прокофьева Е.Д. 1961. Представления селькупских шаманов о мире (по рисункам и акварелям селькупов) // *Сборник Музея антропологии и этнографии*. Т.20. Ленинград.
- Прокофьева Е.Д. 1971. Шаманские костюмы народов Сибири // *Религиозные представления и обряды народов Сибири в XIX- начале XX века*. Сборник Музея антропологии и этнографии. Т. 27. Ленинград.
- Прокофьева Е.Д. 1976. Старые представления селькупов о мире // *Природа и человек в религиозных представлениях народов Сибири и Севера (вторая половина XIX- нач. XX в.)*. Ленинград.
- Прыткова Н.Ф. 1970. Одежда народов самодийской группы как исторический источник // *Одежда народов Сибири*. Ленинград.
- Пряхин А.Д., Халиков А.Х. 1987. Абашевская культура // *Эпоха бронзы лесной полосы СССР*. Москва.

- Птицы 1982. Птицы СССР. История изучения. Гагары. Поганки. Трубноносые. Москва.
- Развитие природы территории СССР в позднем плейстоцене и голоцене. Москва, 1982.
- Римантене Р.К. 1984. Культура шнуровой керамики в Прибалтике // *Новое в археологии СССР и Финляндии*. Москва.
- Рычков Ю.Г. 1961. Материалы по антропологии западных тунгусов // *Антропологический сборник III | Труды Института этнографии АН СССР*. Т. 71. Москва.
- Рябинин Е.А. 1990. Этнокультурная ситуация на северо-западе РСФСР в эпоху средневековья (проблема археологического изучения) // *Балты, славяне, прибалтийские финны. Этнические процессы*. Рига.
- Свадеш М. 1965. Лингвистические связи Америки и Евразии // *Этимология 1964*. Москва.
- Сводеш М. 1960. Лексико-статистическое датирование доисторических этнических контактов // *Новое в лингвистике*. Выпуск 1. Москва.
- Седов В.В. 1984. Водь // *Новое в археологии СССР и Финляндии*. Ленинград.
- Седов В.В. 1987. Поволжские финны // *Финно-угры и балты в эпоху средневековья*. Москва.
- Седов В.В. 1990. Балты и финно-угры в древности // *Uralo-Indogermanica*. Часть I. Москва.
- Седов В.В. 1994. Славяне в древности. Москва.
- Семейная обрядность народов Сибири. Опыт сравнительного изучения. Москва, 1980.
- Семёнов Вл.А. 1993. Древнейшая миграция индоевропейцев на восток (к столетию открытия тохарских рукописей) // *Петербургский археологический вестник*. Вып.4. Санкт-Петербург.
- Сепеев Г.А. 1975. Восточные марийцы: историко-этнографическое исследование материальной культуры (середина XIX – начало XX вв.). Йошкар-Ола.
- Серебрянников Б.А. 1955. Волго-окская топонимика на территории Европейской части СССР // *Вопросы языкознания*. №6. Москва.
- Серебрянников Б.А. 1957. О некоторых следах исчезнувшего индоевропейского языка в центре Европейской части СССР, близкого к балтийским языкам // *Труды АН Литовской ССР. Серия А*. Вып.1 (2). Вильнюс.
- Серебрянников Б.А. 1967. Историческая морфология мордовских языков. Москва.
- Серебрянников Б.А. 1989. Существовала ли финно-волжская языковая общность? // *Финно-волжская языковая общность*. Ред.Б.А.Серебрянников. Москва.
- Серигов Ю.Б. 1991. Некоторые итоги изучения мезолита на территории Среднего Зауралья // *Вопросы археологии Урала*. Вып. 20. Екатеринбург.
- Симченко Ю.Б. 1972. Люди высоких широт. Москва.



- Симченко Ю.Б. 1976. Культура охотников на оленей Северной Евразии. Этнографическая реконструкция. Москва.
- Симченко Ю.Б. 1992. Нганасаны. Система жизнеобеспечения / *Материалы к серии "Народы и культуры"*. Вып. 22. Москва.
- Смирнов И.Н. 1889. Черемисы. Историко-этнографический очерк. Казань.
- Смирнов И.Н. 1890. Вотяки. Казань.
- Смирнов И.Н. 1891. Пермьки. Казань.
- Смирнов К.Ф., Кузьмина Е.Е. 1977. Происхождение индоиранцев в свете новейших археологических открытий. Москва.
- Соколова З.П. 1979. К происхождению современных манси // *Советская этнография*. № 6. Москва.
- Соколова З.П. 1983. Социальная организация хантов и манси в XVIII - XIX вв. Проблемы фратрии и рода. Москва.
- Старостин С.А. 1989. Сравнительно-историческое языкознание и лексикостатистика // *Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока*. Часть 1. Москва.
- Старостин С.А. 1991. Алтайская проблема и происхождение японского языка. Москва.
- Таймырский этнолингвистический сборник. Вып. 1. Материалы по нганасанскому шаманству и языку / Ред. Е.А.Хелимский. Москва, 1994.
- Теплоухов А.Ф. 1924. Следы былого пребывания угорского народа в смежных частях Пермской и Вятской губерний и последующая смена его пермским и русским народами // *Записки Уральского Общества любителей естествознания*. Вып. 39. Свердловск.
- Терентьев В.А. 1983. Древнейшие заимствования из тюркских языков в самодийские // *Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов*. Омск.
- Ткаченко О.Б. 1990. К этно-культурному аспекту древнейших финно-угорских славизмов // *Uralo-Indogermanica*. Часть 1. Москва.
- Токарев С.А. 1958. Этнография народов СССР. Москва.
- Томтосова Л.Ф. 1977. Череп человека из древнего погребения на Олёкме // *Советская этнография*. № 3. Москва.
- Тот Т.А. 1970. Древнейшие периоды происхождения протovenгров // *Вопросы антропологии*. Вып. 36. Москва.
- Третьяков В.П. 1969а. О связях древних племён Прикамья и юго-западной Финляндии во II тысячелетии до н.э. // *Краткие сообщения Института археологии*. Вып. 115. Москва.
- Третьяков В.П. 1969б. Старо-Мазиковская II стоянка и вопрос о происхождении волосовской культуры // *Советская археология*. № 2. Москва.
- Третьяков В.П. 1972. Культура ямочно-гребенчатой керамики в лесной полосе Европейской части СССР. Ленинград.
- Третьяков В.П. 1975. В защиту единства волосовских древностей // *Советская археология*. № 4. Москва.

- Третьяков В.П. 1990а. Неолитические племена лесной зоны Восточной Европы. Ленинград.
- Третьяков В.П. 1990б. Волосовские племена в Европейской части СССР в III – II тыс. до н.э.. Ленинград.
- Третьяков П.И. 1871. Туруханский край, его природа и жители. Санкт-Петербург.
- Третьяков П.Н. 1961. У истоков этнической истории финно-угорских племён // *Советская этнография*. № 2. Москва.
- Третьяков П.Н. 1963. Позднемезолитические местонахождения Костромского и Ярославского Поволжья // *Материалы и исследования по археологии СССР*. № 110. Москва.
- Третьяков П.Н. 1966. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. Москва – Ленинград.
- Троицкая Т.Н. 1979. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск.
- Трофимова Т.А. 1968. Ещё раз о черепахах из Луговского могильника ананьинской культуры // *Проблемы антропологии и исторической этнографии Азии*. Москва.
- Фасмер М. I-IV. Этимологический словарь русского языка. Том I-IV / Перевод с нем., дополнения О.М.Трубачёва. Москва, 1986-1987.
- Фишман О.М. 1992. Тихвинские карелы: первый опыт изучения локальной группы // *Население ленинградской области: материалы и исследования по истории и традиционной культуре*. Санкт-Петербург.
- Формозов А.А. 1959. Этнокультурные области на территории Европейской части СССР в каменном веке. Москва.
- Фосс М.Е. 1952. Древнейшая история севера Европейской части СССР / *Материалы и исследования по археологии СССР*. № 29. Ленинград.
- Фольклор юкагиров верхней Колымы. Хрестоматия / Ред. И.А.Николаева. Часть 1-2. Якутск, 1989.
- Хайду П. К этнегенезу венгерского народа // *Acta linguistica*. № 2. Вр., 1953.
- Хайду П. 1985. Уральские языки и народы / Пер. с венг. Е.А.Хелимского. Москва.
- Хакулинен Л. 1953, 1955. Развитие и структура финского языка. Т. I-II. Москва.
- Халиков А.Х. 1967а. У истоков финно-угорских народов // *Происхождение марийского народа*. Йошкар-Ола.
- Халиков А.Х. 1967б. Приказанская культура и её роль в формировании ананьинской культуры // *Пермский государственный университет. Учёные записки*. № 148. Пермь.
- Халиков А.Х. 1969. Древняя история Среднего Поволжья. Москва.
- Халиков А.Х. 1973. Неолитические племена Среднего Поволжья // *Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны Европейской части СССР в эпоху неолита / Материалы и исследования по археологии СССР*. № 172. Ленинград.

Халиков А.Х. 1978. Волосовская проблема // *Лесная полоса Восточной Европы в волосовско-турбинское время*. Йошкар-Ола.

Халиков А.Х. 1985. Венгры, болгары, буртасы в Среднем Поволжье и Приуралье // *Урало-алтаистика*. Новосибирск.

Халиков А.Х. 1987а. Приказанская культура // *Эпоха бронзы лесной полосы СССР*. Москва.

Халиков А.Х. 1987б. Чирковская культура // *Эпоха бронзы лесной полосы СССР*. Москва.

Халиков А.Х. 1990. Волосовско-гаринская энеолитическая общность // *Энеолит лесного Урала и Поволжья*. Ижевск.

Халиков А.Х. 1991. Переход от ранней (энеолит) к поздней (бронзовый век) стадии эпохи раннего металла в лесной полосе Восточной Европы // *Поздний энеолит и культуры ранней бронзы лесной полосы Европейской части СССР | Археология и этнография Марийского края*. Вып.19. Йошкар-Ола.

Хартанович В.И. 1991. Новые материалы к краниологии коми-зырян // *Новые коллекции и исследования по антропологии и археологии | Сборник МАЭ*. Вып. 44. Санкт-Петербург.

Харузин Н. 1890. Русские лопари (очерки прошлого и современного быта). Москва.

Хелимский Е.А. 1979. Чередование долгот, консонантный ауслат и ударение в истории венгерских именных основ // *Balcanica. Лингвистические исследования*. Москва.

Хелимский Е.А. 1982. Древнейшие венгерско-самодийские языковые параллели. Москва.

Хелимский Е.А. 1983. Ранние этапы этногенеза и этнической истории самодийцев в свете языковых данных // *Проблемы этногенеза и этнической истории самодийских народов*. Омск.

Хелимский Е.А. 1985а. Рецензия на [Symposium saeculare Societatis Fenno-Ugricae // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol.185. Helsinki, 1983] // *Советское финно-угроведение*. Т. 21:4. Таллинн.

Хелимский Е.А. 1985б. Самодийско-тунгусские лексические связи и их этноисторические импликация // *Урало-алтаистика*. Новосибирск.

Хелимский Е.А. 1986. Etymologica 1-48 (материалы по этимологии маторско-тайгитско-карагасского языка) // *Nyelvtudományi közlemények*. Köt. 88. Budapest.

Хелимский Е.А. 1989. Самодийская лингвистическая реконструкция и праистория самодийцев // *Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока*. Часть 2. Москва.

Хелимский Е.А. 1991. Рецензия на: [Лушникова А.В. 1990. Стратификация ирано-уральских языковых контактов. Диссертация ... канд. филолог. наук. М] // *Linguistica Uralica*. Т. 27:3. Tallinn.

Хелимский Е.А. 1995. Сверхдревние германизмы в прибалтийско-финских и других финно-угорских языках // *Этноязыковая и этнокультурная история Восточной Европы*. Москва.

Хить Г.Л., Долинова Н.А., Козлов А.И., Вершубская Г.Г. 1996. Угры Оби и уральская раса: дерматоглифический аспект // *Вестник антропологии. Альманах*. Вып. 2. Москва.

Хлобыстин Л.П. 1973. Крайний Северо-Восток Европейской части СССР в эпоху неолита и ранней бронзы // *Этнокультурные общности лесной и лесостепной зоны Европейской части СССР в эпоху неолита I Материалы и исследования по археологии СССР*. № 172. Ленинград.

Хлобыстин Л.П. 1975. Памятники Сибирского Заполярья и их соотношение с культурами таёжной зоны // *Соотношение древних культур Сибири и сопредельных территорий*. Новосибирск.

Хомич Л.В. 1966. Ненцы. Историко-этнографические очерки. Москва – Ленинград.

Хомич Л.В. 1976. Проблемы этногенеза и этнической истории ненцев. Ленинград.

Хонти Л. 1993а. Мансийский язык // *Языки мира. Уральские языки*. Москва.

Хонти Л. 1993б. Хантыйский язык // *Языки мира. Уральские языки*. Москва.

Хотинский Н.А. 1977. Голоцен Северной Евразии. Москва.

Хотинский Н.А., Волкова В.С., Левина Т.П., Лисс О.Л. 1979. Хронология, периодизация и палеогеография голоцена Западной Сибири // *Особенности естественно-географической среды и исторические процессы в Западной Сибири*. Томск.

Цепкин Е.А. 1966. Фауна рыб голоцена азиатской части СССР (по археологическим материалам). АКД. Москва.

Цепкин Е.А. 1981. Антропогенные изменения позднечетвертичной ихтиофауны континентальных водоёмов СССР // *Антропогенные факторы в истории развития современных экосистем*. Москва.

Чарнолуцкий В.В. 1972. В краю летучего камня. Москва.

Чебоксаров Н.Н. 1941. Монголоидные элементы в населении Центральной Европы // *Учёные записки Московского государственного университета*. Вып.63. Москва.

Чебоксаров Н.Н. 1952. К вопросу о происхождении народов угрофинской языковой группы // *Советская этнография*. № 1. Москва.

Чебоксаров Н.Н. 1954. Некоторые вопросы этнической истории советской Прибалтики в свете новых антропологических и этнографических данных // *Труды Института этнографии АН СССР*. Т.23. Москва.

Чернецов В.Н. 1941. Очерк этногенеза обских югров // *Краткие сообщения Института истории материальной культуры*. Т. 9.

Чернецов В.Н. 1957. Нижнее Приобье в I тысячелетии нашей эры // *Материалы и исследования по археологии СССР*. № 58. Москва.

Чернецов В.Н. 1959. Представления о душе у обских угров // *Исследования и материалы по вопросам первобытных религиозных верований I Труды Института этнографии АН СССР*. Т.51. Москва.

Чернецов В.Н. 1963. К вопросу о месте и времени формирования уральской (финно-угро-самодийской) общности // *Congressus Internationalis Fenno-Urgistarum*. Budapest.

Чернецов В.Н. 1973. Этно-культурные ареалы в лесной и субарктической зонах Евразии в эпоху неолита // *Проблемы археологии Урала и Сибири*. Москва.

Черных Е.Н. 1970. Древнейшая металлургия Урала и Поволжья. Москва.

Черных Е.Н. 1988. Циркумпонтийская провинция и древнейшие индоевропейцы // *Древний Восток: этнокультурные связи*. Москва.

Черных Е.Н., Кузьминых С.В. 1987. Памятники сейминско-турбинского типа в Евразии // *Эпоха бронзы лесной полосы СССР*. Москва.

Черных Е.Н., Кузьминых С.В. 1989. Древняя металлургия Северной Евразии (сейминско-турбинский феномен). Москва.

Чиндина Л.А. 1977. Могильник Рёлка на Средней Оби. Томск.

Чиндина Л.А. 1978. Кулайская культура в Нарымском Приобье // *Ранний железный век Западной Сибири*. Томск.

Чиндина Л.А. 1982. Культурные особенности Приобья в эпоху железа // *Археология и этнография Приобья*. Томск.

Чиндина Л.А. 1991. История Среднего Приобья в эпоху раннего средневековья (рёлкинская культура). Томск.

Шаскольский И.П. 1992. Переселение финских крестьян в Ингерманландию в XVII веке // *Население ленинградской области: материалы и исследования по истории и традиционной культуре*. Санкт-Петербург.

Шатилов М.Б. 1931. Ваховские остяки // *Труды Томского краевого музея*. Т. 4. Томск.

Шахматов А.А. 1910. Мордовский этнографический сборник. Санкт-Петербург.

Шевченко А.В. 1976. Об антропологических особенностях носителей черкаскульской культуры // *Проблемы археологии Поволжья и Приуралья*. Куйбышев.

Шевченко А.В. 1985. Палеоантропологические данные к вопросу о происхождении населения срубной культурно-исторической общности // *Проблемы антропологии древнего и современного населения севера Евразии*. Ленинград.

Шилов В.П. 1961. К вопросу о происхождении ананьинской культуры // *Исследования по археологии СССР*. Ленинград.

Шнитиков А.В. 1957. Изменчивость общей увлажнённости материков Северного полушария // *Записки географического общества СССР. Новая серия*. Т. 16. Москва – Ленинград.

Шорин А.Ф. 1993. О зауральской области ареала лесных энеолитических культур гребенчатой керамики // *Вопросы археологии Урала*. Вып. 21. Екатеринбург.

Шумкин В.Я. 1991. Этногенез саамов (археологический аспект) // *Происхождение саамов (по данным антропологии и археологии)*. Москва.

- Шушарин В.П. 1997. Ранний этап этнической истории венгров. Проблемы этнического самосознания. Москва.
- Этногенез мордовского народа. (Материалы научной сессии). Саранск, 1965.
- Этногенез народов Севера. Москва, 1980.
- Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии / Ред. И.М. Золотарёва. Москва, 1974.
- Юкагиры. – Юкагиры (историко-этнографический очерк) / Ред. А.П.Окладников. Новосибирск, 1975.
- Якимов В.П. 1956. Начальные этапы заселения Восточной Прибалтики // *Балтийский этнографический сборник / Труды Института этнографии АН СССР*. Т. 32. Москва.
- Якимов В.П. 1957. О древнейшей монголоидности в Европе // *Краткие сообщения Института этнографии АН СССР*. Вып. 28. Москва.
- Яните Л.Ю. 1956. К вопросу об этнической принадлежности неолитического населения территории Эстонской ССР // *Вопросы этнической истории эстонского народа*. Таллинн.
- Яните Л.Ю. 1959. Поселения эпохи неолита и раннего металла в приустье р. Эмайыги (Эстонская ССР). Таллинн.
- Aalto P. 1969. Uralisch und Altaisch // *Ural-altaische Jahrbücher*. Bd. 41. Wiesbaden.
- Aminoff T. 1873. Lyhyt silmäys itäisten suomensukuisten kansainhistoriaan ennen heidän joutumistansa Wenäjän wallan alle // *Koitar. Savo-karjalaisen osakunnan albumi*. Osa 2. Helsinki.
- Anderson N. 1879. Studien zur Vergleichung der indogermanischen und finnisch-ugrischen Sprachen / *Gelehrte Estnische Gesellschaft. Verhandlungen*, 9. Dorpat.
- Angere J. 1951. Das Verhältnis der tschuktschischen Sprachgruppe zu dem uralischen Sprachstamme / *Uppsala universitets arsskrift*. B.9. Uppsala.
- Angere J. 1956. Die Uralo-Jukagirische Frage. Ein Beitrag zum Problem der sprachlichen Urverwandschaft. Stockholm.
- Ariste P. 1968. A Grammar of the Votic Language. Bloomington.
- Ariste P. 1971. The earliest substrata in the baltic - finnic languages // *Nyelvészeti Dolgozatok*. Köt. 101. Szeged.
- Bárczi G. 1975. A magyar nyelv életrajza. Budapest.
- Baudou E. 1990. Stand der Vorgeschichtsforschung in Nordschweden – Probleme und Ergebnisse // *Prähistorische Zeitschrift*. Bd.1.
- Berezcki G. 1963. Взаимоотношения марийской лексики с лексикой мордовских и пермских языков // *Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum*. Budapest.
- Berezcki G. 1974. Существовала ли праволжская общность финно-угров ? // *Acta Linguistica*. Т. 24. Budapest.
- Berezcki G. 1992. Grundzüge der tscheremissischen Sprachgeschichte. II / *Studia uralo-altaica*. Т. 34. Szeged.

- Bergsland K. 1959. The Eskimo-Uralic hypothesis // *Journal de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 61-62. Helsinki.
- Bonnerjea R. 1971. Is there any relationship between Eskimo-Aleut and Uralo-Altaic ? // *Acta linguistica*. T.21:3-4. Budapest.
- Bonnerjea R. 1975-1979. Some probable phonological connections between Uralo-Altaic and Eskimo-Aleut. Parts 1-2 // *Orbis*. T. 24, 28. Louvain.
- Bonnerjea R. 1978. A comparison between Eskimo-Aleut and Uralo-Altaic demonstrative elements, numerals and other related semantic problems // *Journal of American linguists*. Vol. 44:1. Bloomington.
- Bosch-Gimpera P. 1960. El problema indoeuropeo. Mexico.
- Buch M. 1883. Die Wotjaken. Eine ethnographische Studie. Helsinki.
- Bunak V.V. 1966. Rassengeschichte Osteuropas / *Rassengeschichte der Menschheit*. Lief. 4: Europa II: Ost- und Nordeuropa. München – Wien.
- Burrow T., Emeneau M.B. 1984. A Dravidian etymological dictionary. 2nd ed.. Oxford.
- Castrén M.A. 1862. Über die Ursitze des finnischen Volkes // *Castrén M.A. Nordische Reisen und Forschungen*. Hrsg. von A.Schiefner. Bd.5. Kleinere Schriften. St.Petersburg.
- Chalikov A. 1986. Archäologische Denkmale vom Pyheensiltä-Typ in Finnland und ihre östlichen Analogien // *Fennoscandia archeologica*. T.3. Helsinki.
- Collinder B. 1932-1944. Die urgermanischen Lehnwörter im Finnischen. Bd.I-II. Uppsala – Leipzig.
- Collinder B. 1940. Jukagirisch und Uralisch / *Uppsala universitets årsskrift*. B.8. Uppsala.
- Collinder B. 1949. The Lapps. Princeton.
- Collinder B. 1954a. Zur indo-uralischen Frage // *Uppsala universitets årsskrift*. B.10. Uppsala.
- Collinder B. 1954b. Proto-Lappish and Samoyed // *Uppsala universitets årsskrift*. B.10. Uppsala.
- Collinder B. 1955. Fenno-Ugric Vocabulary. Stockholm.
- Collinder B. 1960. Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm.
- Collinder B. 1965. Hat das Uralische Verwandte ? Eine Sprachvergleichende Untersuchung / *Acta Universitatis Upsaliensis. Acta Societatis linguisticae Upsaliensis. Nova Series*. T. 1:4. Uppsala.
- Collinder B. 1977. Pro hypothesis Uralo-Altaica // *Altaica. Proceedings of the 19th annual meeting of the Permanent International Altaistic Conference*. Helsinki.
- Čop B. 1975. Die indogermanische Deklination im Lichte der indouralischen vergleichenden Grammatik // *Slovenska Akademia Znanosti in Umetnosti*. II. T.31. Ljubljana.
- Décsey Gy. 1965. Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden.
- Devoto G. 1962. Origini indoeuropee. Firenze.

- DEWOS – Steinitz W. Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der Ostjakischen Sprache. Berlin, 1956-.
- Dienes I. 1974. A honfoglaló magyarok. Budapest.
- Dolukhanov P. 1986. Natural environment and the holocene settlement pattern in the north-western part of the USSR // *Fennoscandia archeologica*. T.3. Helsinki.
- Donner K. 1926. Bei den Samojeden in Sibirien. Stuttgart.
- Donner O. 1936. Om finnarnes forna boningsplätser i Ryssland // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 71. Helsinki.
- Eisen M.J. 1925. Estnische Mythologie. Leipzig.
- Erdélyi I. 1969. Neuere Forschungen zur Urgeschichte der Wolga-finnen // *Ural-altaische Jahrbücher*. Bd. 41. Wiesbaden.
- Europeus A. 1929. Uusia kivikauden taidelöytöjä // *Suomen Museo*. N. 26. Helsinki.
- Fodor I. 1980. Verecke híres útján... A magyar nép őstörténete és a honfoglalás. Budapest.
- Fokos-Fuchs D.R. 1951. Volksdichtung der Komi (Syrjänen). Budapest.
- Fokos-Fuchs D.R. 1962. Die Rolle der Syntax in der Frage nach Sprachverwandschaft, mit besonderer Rücksicht auf das Problem der ural-altäischen Sprachverwandschaft. Wiesbaden.
- Futaky I. 1975. Tungusische Lehnwörter des Ostjakischen. Wiesbaden.
- Futaky I. 1980. Neuere Untersuchungen über die älteren uralisch-tungusischen Sprachbeziehungen // *Finnisch-ugrische Mitteilungen*. Bd.4. Hamburg.
- Futaky I. 1983. Der Frage der uralisch-tungusischen Sprachbeziehungen // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 185. Helsinki.
- Futaky I. 1988. Uralisch und Tungusisch // *The Uralic languages. Description, history and foreign influences*. Ed. by D.Sinor. Leiden – NewYork – København – Köln.
- Genetz A. 1895. Ensi tavun vokaalit suomen, lapin ja mordvan kaksija useampitavuissa sanoissa. Helsinki.
- Gimbutas M. 1970. Proto-Indo-European culture: the Kurgan culture during the fifth, fourth and third millenia B.C. // *Indo-European and Indo-Europeans*. Philadelphia.
- Gombocz Z. 1912. Die bulgarisch - türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. Helsinki.
- Gulya J. 1977. Megjegyzések az ugor őshaza és az ugor nyelvek szétválása kérdéséről // *Magyar őstörténeti tanulmányok*. Budapest.
- Hajdú P. 1952. A szamojédok etnogenéziséhez // *Nyelvtudományi közlemények*. Köt. 53. Budapest.
- Hajdú P. 1953. A magyarság kialakulásának előzményei / *Nyelvtudományi értekezések*. Köt. 2. Budapest.



- Hajdú P. 1962. Finnugor népek és nyelvek. Budapest (русский перевод см. [Хайду 1985]).
- Hajdú P. 1964a. Észrevételek László Gyula "Őstörténetünk legkorábbi szakaszai" c. könyvéhez // *Archaeológiai értesítő*. Köt.91:1. Budapest.
- Hajdú P. 1964b. Über die alte Siedlungsräume der uralischen Sprachfamilie // *Acta Linguistica*. T. 14:1-2. Budapest.
- Hajdú P. 1968. *Samoyed Peoples and Languages*. Bloomington.
- Hajdú P. 1969. Finnougrische Urheimatforschung // *Ural-altaische Jahrbücher*. Bd. 41. Wiesbaden.
- Hajdú P. 1976. Linguistic background of genetic relationships // *Ancient cultures of the Uralian peoples*. Ed. P.Hajdú. Budapest.
- Hajdú P. 1988. Ökologische "Argumente" gegen sibirische Siedlungsplätze der Uralier // *Specimina Sibirica*. T. 1. Pécs.
- Häkkinen K. 1984. Wäre es schon an der Zeit, den Stammbaum zu fällen ? // *Ural-altaische Jahrbücher*. Bd. 4. Wiesbaden.
- Harmatta J. 1977. Irániak és finnugorok, irániak és magyarok // *Magyar őstörténeti tanulmányok*. Budapest.
- Harva U. 1948. *Suomalaisten muinaisusko*. Porvoo – Helsinki.
- Harva U. 1952. Die religiösen Vorstellungen der Mordwinen / *Folklore fellows communications*. Vol. 602, № 142. Helsinki.
- Hauschild R. 1962. Über die frühesten Arier im Alten Orient. Berlin.
- Häusler A. 1963. Ist eine Ableitung der Schnurkeramik von der Ockergrabbkultur möglich ? // *Forschungen und Fortschritte*. Bd.12. Berlin.
- A history of Hungary. Budapest, 1973.
- Holmberg U. 1913. Die Wassergottheiten der Finnisch - Ugrischen Völker // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 32. Helsinki.
- Holmberg U. 1914. *Permalaisten uskonto*. Porvoo.
- Holmberg U. 1915. *Lappalaisten uskonto*. Porvoo.
- Holmberg U. 1926. Die Religion der Tscheremissen / *Folklore fellows communications*. Vol. 18, № 61. Porvoo.
- Honti L. 1979. Az ugor nyelvek jellemző vonásai. (Észrevételek az ugor egység kérdéséhez) // *Nyelvtudományi közlemények*. Köt. 81:2. Budapest.
- Hunfalvy P., Reguly A. 1864. *A vogul föld és nép*. Pest.
- Huurre M. 1986. The eastern contacts of Northern Fennoscandia in the Bronze Age // *Fennoscandia archeologica*. T.3. Helsinki.
- IEW. – Pokorný J. *Indogermanisches etymologisches Wörterbuch*. Bern - Wien, 1959.
- Indreko R. 1964. *Mesolithische und frühneolithische Kulturen in Osteuropa und Westsibirien*. Stockholm.
- Ipolyi A. 1929. *Magyar mythológia*. I-II, 2 kiad. Budapest.
- Itkonen E. 1955. Die Herkunft und Vorgeschichte der Lappen im Lichte der Sprachwissenschaft // *Ural-altaische Jahrbücher*. Bd. 27/ 1-2. Wiesbaden.

- Itkonen E. 1960. Die Vorgeschichte der Finnen aus der Perspektive eines Linguisten // *Ural-altaische Jahrbücher*. Bd. 32. Wiesbaden.
- Itkonen E. 1961. Suomalais-ugrilaisen kielen- ja historian tutkimuksen alalta. Helsinki.
- Itkonen E. 1980. Einige Gesichtspunkte zur Frühgeschichte der Lappen und des Lappischen // *Journal de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 76. Helsinki.
- Itkonen T.I. 1946. Heidnische Religion und späterer Aberglaube bei den finnischen Lappen // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 87. Helsinki.
- Itkonen T.I. 1984. Suomen lappalaiset. I-II. Toinen painos. Porvoo.
- Jakobsohn H. 1922. Arier und Ugrofinnen. Göttingen.
- Janhunen J. 1977. Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische - Etymologien / *Castrenianumin toimitteita*. N. 17. Helsinki.
- Janhunen J. 1981. Uralilaisen kantakielen sanastosta // *Journal de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 77. Helsinki.
- Janhunen J. 1983. On early Indo-European - Samoyed contacts // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 185. Helsinki.
- Janhunen J. 1994. Additional notes on Japanese and Altaic (1-2) // *Journal de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 85. Helsinki.
- Janhunen J. 1996. Manchuria. An ethnic history / *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 222. Helsinki.
- Jankó J. 1900. A magyar halászat eredete / *Zichu J. Harmadik Ázsiai utazása*. Köt. 1, félei 1-2. Budapest - Leipzig.
- Joki A.J. 1952. Die Lehnwörter des Sajansamojedischen // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 103. Helsinki.
- Joki A.J. 1973. Uralier und Indogermanen / *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 151. Helsinki.
- Jutikkala E., Pirinen K. 1962. A History of Finland. London.
- Kalima J. 1936. Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. Helsinki.
- Kalima J. 1952. Slaavilaisperäinen sanastomme. Helsinki.
- Kálmán B. 1938. Obi-ugor allatnevek // *A Magyar nyelvtudományi társaság kiadványai*. Köt. 43. Budapest.
- Kannisto A. 1927a. Über die früheren Wohngebiete der Wogulen im Lichte der Ortsnamenforschung // *Finnisch-ugrische Forschungen*. Bd. 28. Helsinki.
- Kannisto A. 1927b. Zur Frage nach den älteren Wohnsitzern der obugrischen Völker // *Finnisch-ugrische Forschungen*. Bd. 28. Helsinki.
- Kannisto A. 1958. Materialien zur Mythologie der Wogulen. Bearbeitet und herausgegeben von E.A. Virtanen und M. Liimola. Helsinki.
- Karjalainen K.F. 1921 - 1927. Die Religion der Jugra - Völker. Porvoo - Helsinki.
- Kettunen L. 1930, 1940. Suomen murteet, I-III. Helsinki.
- Kettunen L. 1947. Hauptzüge der livischen Laut- und Formengeschichte. Helsinki.

- Koivulehto J. 1983. Seit wann leben die Urfinnen im Ostseeraum ? Zur relativen und absoluten Chronologie der alten idg. Lehnwortschichten im Ostseefinnischen // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 185. Helsinki.
- Koivulehto J. 1991. Uralische Evidenz für Laryngaltheorie. Wien.
- Koltat, karjalaiset ja setukaiset / Toim. T.Saarinen ja S.Suhonen / *Snellman-Instituutti. A-sarja*. N.19. Kuopio, 1995.
- Korenchy É. 1972. Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen. Budapest.
- Korhonen M. 1976. Suomen kantakielten kronologiaa // *Virittäjä*. N. 80:1. Helsinki.
- Korhonen M. 1981. Johdatus lapin kielen historiaan. Helsinki.
- Korhonen M. 1988. The history of the Lapp language // *The Uralic languages. Description, history and foreign influences*. Ed. by D.Sinor. Leiden – NewYork – København – Köln.
- Kortt I.R., Simčenko Ju.B. 1990. Materialien zur geistigen und dinglichen Kultur der Nganasan-Samojeden. Berlin.
- Krahe H. 1957. Indogermanisch und Alteuropäisch // *Saeculum*. T.8:1. Wiesbaden.
- Krainov D.A. 1992. On the problem of origin, chronology and periodization of the Fatyanovo-Balanovo cultural community // *Præhistorica*. T. 19. Schnurkeramik symposium 1990. Praha.
- Künnap A. 1971, 1978. System und Ursprung der kamassischen Flexionssuffixe. I-II. Helsinki.
- Kylstra et.al. 1991. – Kylstra A.D., Hahmo S.-L., Hofstra T., Nikkilä O. Lexikon der älteren germanischen Lehnwörter in den Ostseefinnischen Sprachen. Bd.1. Amsterdam–Atlanta.
- Lane G.S. 1966. On the interrelationship of the Tocharic dialects // *Ancient Indo-European dialects*. Berkeley – Los Angeles.
- Lane G.S. 1970. Tocharian: Indo-European and non-Indo-European relationships // *Indo-European and Indo-Europeans*. Philadelphia.
- Larsson L.-G. 1990. Zum Problem der uralischen Urheimat // *Linguistica Uralica*. T. 26:4. Tallinn.
- László Gy. 1961. Östörténetünk legkorábbi szakaszai. A finnugor östörténet régészeti emlékei a Szovjétföldön. Budapest.
- Laul S. 1982. Forschungsprobleme der ethnischen Zugehörigkeit der Träger der Tarandgräberkultur // *Suomen museo*. N.89. Helsinki.
- Lehtiranta J. 1986. Zur Verwertung "proto-lappischer" Elemente // *Советское финно-угроведение*. T. 22:4. Таллинн.
- Lehtiranta J. 1989. Yhteissaamelainen sanasto / *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 200. Helsinki.
- Lehtisalo T. 1924. Entwurf einer Mythologie der Jurak-Samojeden / *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 53. Helsinki.

- Lipták P. An antropological survey of magyar prehistory // *Acta Linguistica*. T. 4. Budapest.
- Loorits O. 1949,1951,1957. Grundzüge des estnischen Volksglaubens. I-III. Lund.
- Luho V. 1968. Die kammkeramische Kultur und die finno-ugrische Frage // *Congressus secundus Internationalis Fenno-Ugristarum*. Pars II. Helsinki.
- Luho V. 1976. The population and prehistory of Finland // *Ancient cultures of the Uralian peoples*. Budapest.
- Lundgren B. 1952. Ergebnisse der anthropologischen Lappenforschung // *Anthropos*, 47; heft 1-2. Wien.
- Mac Alpin D.W. 1981. Proto-Elamo-Dravidian: the Evidence and its Implications. Philadelphia.
- Magyar östörténeti tanulmányok. Budapest, 1977.
- Makkay J. 1990. New aspects of the PIE and the PU / PFU homelands: - contacts and frontiers between the Baltic and the Urals in the neolithic // *Congressus septimus Internationalis Fenno-Ugristarum*. T.1A. Debrecen.
- Mallory J.P. 1989. In search of the Indo-Europeans. Language, archaeology, myth. London.
- Manker E. 1953. Lappmark. Stockholm.
- Manninen I. 1929. Suomensukuiset kansat. Porvoo. (Нем. перевод: Die finnisch-ugrischen Völker. Leipzig, 1932).
- Manninen I. 1931-1933. Die Sachkultur Estlands. I-II. Tartu.
- Mark K. 1970. Zur Herkunft der finnisch-ugrischen Völker vom Standpunkt der Anthropologie. Tallinn.
- Mayrhofer M. 1963. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Band II. Heidelberg.
- Meinander C.F. 1954a. Die Kiukaiskultur / *Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja*. N. 53. Helsinki.
- Meinander C.F. 1954b. Die Bronzezeit in Finnland / *Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja*. N. 54. Helsinki.
- Meinander C.F. 1984. Volosovo and the Baltic // *Iskos*. N.4. Helsinki.
- Moór E. 1952. Nyelvünk legősibb fémnevei // *Nyelvtudományi közlemények*. Köt. 53. Budapest.
- Moór E. 1963. Diskussionsbeitrag zum Vortrag von W.N.Tschernetzow // *Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum*. Budapest.
- MSzFE. – Magyar szokészet finnugor elemei. I-III. Szerk. Gy.Lákó, - K.Rédei. Budapest, 1967-1978.
- Munkácsi B. 1887. Votják népköltészeti hagyományok. Budapest.
- Munkácsi B. 1903. Verschiedenheit in den arischen Lehnwörter der finnisch-magyarischen // *Keleti szemle*. Köt. 4.
- Munkácsi B. 1952. Volksbräuche und Volksdichtung der Wotjaken. Herausgegeben von D.R. Fuchs. Helsinki.
- The mythology of all races. Vol. IV. Finno-Ugric; Siberian. Boston, 1927.

- Naert P. 1964. Contacts lexicaux entre le tokharien et ses voisins non-indoeuropéens // *Orbis*. Vol.13. Louvain.
- Napolskikh V.V. 1993. Uralic fish-names and original home // *Ural-altaische Jahrbücher*. Bd. 12. Wiesbaden.
- Napolskikh V.V. 1995. Proto-Uralic "seven" // *Journal de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 86. Helsinki.
- Németh Gy. 1966. Ungarische Stammesnamen bei den Baschkiren // *Acta Linguistica*, 16. Budapest.
- Nunez M. 1987. A model for the early settlement of Finland // *Fennoscandia archaeologica*. T.4. Helsinki.
- Oma Maa. I-VI. Porvoo – Helsinki, 1958-1959.
- Ortutau Gy. 1963. Kleine ungarische Volkskunde. Budapest.
- Paasonen H. 1901. Über die Benennung des Roggens im Syrjanisch-Wotjakischen und im Mordwinischen // *Journal de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 26. Helsinki.
- Paulson I.1971. The Old Estonian Folk Religion. Bloomington.
- Pedersen H. 1933. Urverwandschaft des Indoeuropäischen und Ugrofinnischen // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 67. Helsinki.
- Poppe N. 1983. The Ural-Altai affinity // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 185. Helsinki.
- Popular Belief and Folklore Tradition in Siberia. Ed. V.Diószegi. Budapest, 1968.
- Posti L. 1953. From Pre-Finnic to late Proto-Finnic. Studies in the development of consonant system // *Finnisch-Ugrische Forschungen* 31; № 1-2. Helsinki.
- Pulleyblank E.G. 1966. Chinese and Indo-Europeans // *Journal of the Royal Asiatic Society*. London.
- Ramstedt G.J. 1947. The relation of the Altaic languages to other language groups // *Journal de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 53. Helsinki.
- Ränk G. 1961. Valtjalaiset. Helsinki.
- Räsänen M. 1920. Die tschuwassischen Lehnwörter im Tscheremissischen. Helsinki.
- Räsänen M. 1923. Die tatarischen Lehnwörter im Tscheremissischen. Helsinki.
- Räsänen M. 1953. Uralaltaische Forschungen. Die uralaltaische Urheimat im Lichte der Wortforschung und der Archäologie // *Ural-altaische Jahrbücher*. Bd.25. Wiesbaden.
- Räsänen M. 1955. Uralaltaische Wortforschungen // *Studia orientalia*. T.18. Helsinki.
- Räsänen M. 1969. Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der -Türksprachen. Helsinki.

- Raun A. 1956. Über die sogenannte lexicostatistische Methode oder Glottochronologie und ihre Anwendung auf das Finnisch-Ugrische und Türkische // *Ural-altaische Jahrbücher*. Bd. 28. Wiesbaden.
- Ravila P. 1949. Suomen suku ja suomen kansa // *Suomen historian käsikirja*. N.1. Porvoo - Helsinki.
- Rédei K. 1964. Vannak-e az előmagyar-permi érintkezésnek nyelvi nyomai ? // *Nyelvtudományi közlemények*, 66, № 2. Budapest.
- Rédei K. 1970. Die syrjänischen Lehnwörter im Wogulischen. Budapest.
- Rédei K. 1986. Zu den indogermanisch-uralischen Sprachkontakten / *Österreichische Akademie der Wissenschaften. Philosophisch-historische Klasse. Sitzungsberichte*. Bd. 468. Wien.
- Rédei K. 1990. Zu den uralisch-jukagirischen Sprachkontakten (einige Kapitel aus dem Themenkreis) // *Congressus septimus Internationalis Fenno-Ugristarum*. Pars 1A. Debrecen.
- Renfrew C. 1987. Archaeology and language: the puzzle of Indo-European origins. London.
- Ritter R.-P. 1993. Studien zu den ältesten germanischen Entlehnungen im Ostseefinnischen / *Opiscula Fenno-Ugrica Göttingensia*. Bd.5. Frankfurt am Main.
- Róna-Tas A. 1980. On the earliest Samoyed-Turkish contacts // *Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum*. Pars III. Turku.
- Róna-Tas A. 1983. De hypothesi Uralo-Altaiica // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 185. Helsinki.
- Róna-Tas A. 1986. Language and hystory / *Studia uralo-altaica*. T. 25. Szeged.
- Róna-Tas A. 1988. Turkic influence on the Uralic languages // *The Uralic languages. Description, history and foreign influences*. Ed. by D.Sinor. Leiden - NewYork - København - Köln.
- Saareste A. 1938, 1941. Eesti murdeatlas. Atlas des parlars estoniens. I-II. Tartu.
- Salo U. 1968. Die frührömische Zeit in Finnland / *Suomen muinaismuistoyhdistyksen aikakauskirja*. N. 67. Helsinki.
- Sammalahti P. 1988. Historical phonology of the Uralic languages // *The Uralic languages. Description, history and foreign influences*. Ed. by D.Sinor. Leiden -NewYork - København - Köln.
- Sammalahti P. 1995. Language and roots // *Congressus Octavus Internationalis Fenno-Ugristarum*. Pars I. Jyväskylä.
- Schott W. 1849. Über das Altaische oder Finnisch-Tatarische Sprachgeschlecht / *Preussische Akademie der Wissenschaften. Philologisch-historische Abhandlungen 1847*. Berlin.
- Sebestyén I.N. 1935. Az uráli nyelvek régi halnevei // *Nyelvtudományi közlemények*. Köt. 49. Budapest..
- Sebestyén I.N. 1943. Fák és fás helyek régi nevei az uráli nyelvekben // *Nyelvtudományi közlemények*. Köt. 51. Budapest.

- Sebestyén I.N. 1951. Zur Frage des alten Wohngebietes der uralischen Völker // *Acta Linguistica*. T. 1:1. Budapest.
- Sebestyén I. 1953. Beiträge zum Problem der protolappischen Sprache // *Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae*. T. III, f. 3-4. Budapest.
- Sedov V.V. 1980. Zur ethnischen Geschichte der ostseefinnischen Stämme // *Congressus Quintus Internationalis Fenno-Ugristarum*. Turku.
- Setälä E.N. 1906. Zur Herkunft und Chronologie der älteren germanischen Lehnwörter in den ostseefinnischen Sprachen // *Journal de la Société Finno-Ougrienne*. Vol.23. Helsinki.
- Setälä E.N. 1926. Suomensukuisten kansojen esihistoria // *Suomen suku*. N. 1. Helsinki.
- Shirokogoroff S.M. 1926. Northern Tungus migrations in the Far East (Goldi and their ethnical affinities) // *Journal of the North-China branch of the Royal Asiatic Society*. Vol.57. Shanghai.
- Sinor D. 1967. Notes on the equine terminology of the Altaic peoples // *Central Asiatic journal*. Vol. 10:3-4. Bloomington.
- Sinor D. 1988. The problem of the Ural-Altai relationship // *Uralic languages*. Ed. by D.Sinor. Leiden – NewYork – København – Köln.
- Sirelius U.T. 1934. Die Volkskultur Finnlands. Berlin – Leipzig.
- SKES – Suomen kielen etymologinen sanakirja. Toim. Y.Toivonen et al. N. I-VII. Helsinki, 1955-1963.
- Sköld H. 1925. Die ossetischen Lehnwörter im Ungarischen. Lund – Leipzig.
- Steinitz W. 1950. Geschichte des ostjakischen Vokalismus. Berlin.
- Steinitz W. 1955. Geschichte des wogulischen Vokalismus. Berlin.
- Steinitz W. 1966 - 1978. Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache. Lief. I-VIII. Berlin.
- Stęślicka-Mydlarska W. 1954. Szcątki ludzkie znalezione w grobe tardenoaskim w Janisławicach // *Wiadomości archeologiczne*. T.20:1. Warszawa.
- Stipa G.J. 1990. Finnisch-ugrische Sprachforschung von der Renaissance bis zum Neopositivismus / *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 206. Helsinki.
- Suomen Suku, I-III. Toim.: A. Kannisto, E.N. Setälä, U.T. Sirelius, Y. Wichmann. Helsinki, 1926-1934.
- Szj E. 1990. Finnugor hol - mi. I. Budapest.
- Taagepera R. 1994. The linguistic distances between Uralic languages // *Linguistica Uralica*. T. 30:3. Tallinn.
- Tailleur O.G. 1962. Plaidoyer pour le youkaghir, branche orientale de la famille ouralienne // *Lingua*. T. 8:4. Amsterdam.
- Tailleur O.G. 1963. Sur les negations *ei* et *ele* ainsi que le verbe *le-* "être" dans une langue de la Sibirie Septentrionale // *Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum*. Budapest.
- Tauli V. 1955. On foreign contacts of the Uralic languages // *Ural-altäische Jahrbücher*. Bd.27. Wiesbaden.

- Thomsen V. 1869. Den gotiske sprogklasses indflydelse pa den finske. København.
- Thomsen V. 1890. Berøringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) sprog. København.
- Toivonen Y. 1949. Protolapin ongelmaista // *Suomalaisen Tiedeakatemia esitelmät ja pöytäkirjat 1949*. Helsinki.
- Toivonen Y. 1952. Zur Frage der finnisch-ugrischen Urheimat // *Journal de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 56. Helsinki.
- Tunkelo E.A. 1946. Vepsän kielen äännehistoria. I-II. Helsinki.
- Tyler S.A. 1968. Dravidian and Uralian: the lexical evidence // *Language*. Vol. 44:4. Baltimore.
- Uesson A.-M. 1970. On linguistic affinity. The Indo-Uralic problem. Malmö.
- UEW. – Rédei K. Uralisches etymologisches Wörterbuch. Budapest, 1986-1991.
- Uotila T.E. 1933. Zur Geschichte des Konsonantismus in den permischen Sprachen. Helsinki.
- Van Windekens A.J. 1962. Éléments ouraliens en tokharien // *Orbis*. Vol.11:2. Louvain.
- Van Windekens A.J. 1976. Le tokharien confronté avec les autres langues indo-européennes. Vol.1. La phonétique et le vocabulaire. Louvain.
- Vasmer M. 1934-1936. Beiträge zur historischen Völkerkunde Osteuropas. I-IV. / *Sitzungsberichte der Preussischen Akademie der Wissenschaften. Philologisch-historische Klasse*. Bd.18-20. Berlin.
- Veres P. 1971. Újabb adatok a finnugor és magyar őstörténehez // *Néprajzi értesítő*. Köt. 53. Budapest.
- Veres P. 1972. An Outline of the Ethnic History of the Hungarian People // *Néprajzi értesítő*. Köt. 54. Budapest.
- Veres P. 1988 A finnugor őshaza meghatározása az újabb adatok fényében // *Urálisztikai tanulmányok*, 2. Budapest.
- Veres P. 1991. A finnugor őshaza meghatározásának vitatott kérdesei a legújabb adatok alapján // *Népi kultúra – népi társadalom*. Köt.16. Budapest.
- Viitso T.-R. 1971. Preliminary data on the relation of California Penutian to Uralic and other Nostratic languages // *Сосетское финно-угроведение*. Т.7:2. Таллинн.
- Viitso T.-R. 1983. Läänemeresoomlased: maahõive ja varaseimad kontaktid // *Mémoires de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 185. Helsinki.
- Viitso T.-R. 1992. Finnic and its prehistoric Indo-European neighbours // *Finnisch-ugrische Sprachen zwischen dem germanischen und dem slavischen Sprachraum*. Amsterdam – Atlanta.
- Vovin A. 1994. Genetic affiliation of Japanese and methodology of linguistic comparison // *Journal de la Société Finno-Ougrienne*. Vol. 85. Helsinki.
- Vuorela T. 1960. Suomensukuiset kansat. Helsinki. (Англ. перевод: The Finno-Ugric Peoples. Bloomington, 1964.)



- Welinder S. 1989. In which language did the Antrea fisherman curse when he lost his twine ? // *Fennoscandia archeologica*. T. 6. Helsinki.**
- Wichmann Y. 1903. Die tschuwassischen Lehnwörter in den permischen Sprachen. Helsinki.**
- Wichmann Y. 1913. Beiträge zur Ethnographie der Tscheremissen. Helsinki.**
- Wichmann Y. 1931. Volksdichtung und Volksbräuche der Tscheremissen. Helsinki.**
- Zsirai M. 1930. Jugria // *Nyelvtudományi közlemények*, 47. Budapest.**
- Zsirai M. 1937. Finnugor rokonságunk. Budapest.**
- Zsirai M. 1952. A magyar népnév eredete // *Nyelvtudományi közlemények*, 53. Budapest.**

## Сокращения названий языков и диалектов

ав. — авестийский,  
 англ. — английский,  
 арм. — армянский,  
 балкар. — балкарский,  
 бараб. — барабинский диалект  
 сибирско-татарского,  
 башк. — башкирский,  
 булг. — болгарский (волжско-  
 болгарский),  
 венг. — венгерский,  
 вод. — водский,  
 гот. — готский,  
 дард. — дардские,  
 драв. — дравидийские,  
 др.-англ. — древнеанглийский,  
 др.-гр. — древнегреческий,  
 др.-инд. — древнеиндийский,  
 др.-исл. — древнеисландский,  
 др.-кит. — древнекитайский,  
 др.-норв. — древненорвежский,  
 др.-перс. — древнеперсидский,  
 др.-рус. — древнерусский,  
 др.-скан. — древнескандинав-  
 ский,  
 др.-тю. — древнетюркский,  
 др.-ц.-сл. — древнецерковно-  
 славянский,  
 др.-швед. — древнешведский,  
 и.-е. — индоевропейский,  
 иж. — ижорский,  
 ин.-ир. — индоиранский,  
 ир. — иранский,

казах. — казахский,  
 камас. — камасинский,  
 кар. — карельский,  
 кирг. — киргизский,  
 койб. — койбальский,  
 коми-зыр. — коми-зырянский,  
 коми-язьв. — коми-язьвин-  
 ский диалект,  
 кумык. — кумыкский,  
 лат. — латинский,  
 латыш. — латышский,  
 лив. — ливский,  
 лит. — литовский,  
 манс. — мансийский,  
 ВКон. — верхняя Конда,  
 НКон. — нижняя Конда,  
 Кон. — Конда,  
 Лозь. — Лозьва,  
 П. — Пелым,  
 Со. — Сосьва,  
 Тав. — Тавда,  
 мар. — марийский,  
 Г — горный,  
 Л — луговой,  
 В — восточный,  
 матор. — маторский,  
 монг. — монгольский,  
 морд. — мордовский,  
 М — мокшанский,  
 Э — эрзянский,  
 нган. — нганасанский,  
 нем. — немецкий,

нен. – ненецкий,  
 Л – лесной,  
 Т – тундровый,  
 норв. – норвежский,  
 осет. – осетинский,  
 ПАр – праарийский (праиндоиранский),  
 ПДрав – прадравидийский,  
 перс. – персидский,  
 пехл. – пехлевийский (среднеперсидский),  
 ПИЕ – праиндоевропейский,  
 ПИр – праиранский,  
 ППерм – прапермский,  
 ПСам – прасамодийский,  
 ПСлав – праславянский,  
 ПТМ – пратунгусо-маньчжурский,  
 ПТю – пратюркский,  
 ПУ – прауральский,  
 ПФУ – прафинно-угорский,  
 ПЮУ – праюкаги́ро-уральский,  
 рус. – русский,  
 помор. – поморский (архангельский)  
 саам. – саамский,  
 Ин. – Инари,  
 К. – кольский,  
 Кар. – Карасйоки,  
 Л. – Луле,  
 Норв. – норвежский,  
 Нот. – нотозерский,  
 Нуор. – Нуорттярви,  
 Ю – южные диалекты (Археплог и др.)

сельк. – селькупский,  
 сиб.-тат. – сибирско-татарский,  
 сканд. – скандинавские,  
 тат. – татарский,  
 тох. – тохарские,  
 турец. – турецкий,  
 туркм. – туркменский,  
 тю. – тюркский,  
 удм. – удмуртский,  
 ф., фин. – финский,  
 ф.-волж. – финно-волжский,  
 ф.-перм. – финно-пермский,  
 хант. – хантыйский,  
 Вас. – Васюган,  
 Дем. – Демьянка,  
 Каз. – Казым,  
 Низ. – Низям,  
 Обд. – Обдорск,  
 церк.-слав. – церковно-славянский,  
 чув. – чувашский,  
 чукот. – чукотский,  
 швед. – шведский,  
 шор. – шорский,  
 эвк. – эвенкийский,  
 эвен. – эвенский,  
 энец. – энецкий,  
 Л. – лесной,  
 Т. – тундровый,  
 эст. – эстонский,  
 юкаг. – юкагирский,  
 Кол. – колымский,  
 Т. – тундровый,  
 яги. – ягнобский,  
 язвь. – (коми-)язвьинский.

## Указатель

(Составлен Белых С.К.)

- Абашевская археологическая культура (культурно-историческая общность) 36, 61, 149, 192, 195, 214
- Авестийский язык
- *ahurō* 150
  - *aka-* 150
  - *antama* 49
  - *hurā* 150
  - *karati* 153
  - *maḍu* 138, 154
  - *Mamuš.čīḍra* 63
  - *maχšī* 138
  - *satəm* 119, 150
  - *sūkā-* 150
  - *tauruna-* 150
- Азелинская археологическая культура 44, 50, 51, 186
- Аланы 65, 152
- Ананьинская археологическая культура (культурно-историческая общность) 8, 43, 48, 50, 55, 156, 174, 176, 184-188, 191, 195-196, 200, 203, 205, 216, 217, 220
- Английский язык
- *lapp* 29
- Андреевская археологическая культура 182
- Андроновская культурно-историческая общность (археологическая культура) 61, 149, 181, 183, 195, 208, 210
- Андроновидные археологические культуры 60-61, 183, 208
- Арабский язык
- *Arsa(nija)* 37
  - *Arta(b)* 37
  - *bašyrd* / *bašqrd* / *bašyard* 66
  - *bžyrd* / *bžyrt* 66
  - *jūrā* 70
  - *moslem(un)* 52
  - *mažyar* / *mažyr* 63, 66
  - *vī.sū* 19, 20
- Ареально-генетические связи языков 60, 82, 109-111, 113, 115, 116, 141
- Армянский язык
- *mor* 131
- Аряне, арские люди, арские князья 50, 52, 53
- Асбестовой керамики археологическая культура 31, 32, 188, 206
- Асва городище 6, 189
- Ателькуза 66
- Атланта-балтийская раса 8, 36, 161, 167
- Атлымская археологическая культура 62
- Афанасьевская археологическая культура 61, 156-157
- Аятско-коптяковский этап неолита Западной Сибири 61
- Бай (энцы) 94
- Байкальский (североазиатский) антропологический тип (раса) 31, 77-78, 84, 166, 174-176, 178
- Балановская археологическая культура 36, 120, 159-161, 195, 201
- Балахнинская археологическая культура 182, 192, 198

**Балкарский язык**– *busurman* 53**Балто-славянские реконструкции**– \**sol-* 154– \**uarna* < \**urn-* 154**Балтский праязык**– \**žeme* 12**Башкирский язык**– *baškort* 66– *jänäj* 67– *julaman* 67– *jurmatu* 67– *kese* 67

Башкиры 36, 54, 66-67, 75

Беломоро-балтийская раса 8, 9, 36, 48, 161, 168-169, 172

Беломорский антропологический тип 48, 168

“Береговые (морские) саамы” 33

Бесермяне 52-53, 55, 67

Биармия 15, 20, 56

Боевых топоров и шнуровой керамики археологические культуры 28, 120, 158, 159-161, 168, 172, 174, 188, 189, 208, 210

Боевых топоров прибалтийская археологическая культура 28, 119, 158-161, 188, 214

Бородинский клад 155

Булгарский (волжско-булгарский) язык

– *ǰūr* 44– \**on-ogur* 64

Булгары, Булгария (Волжская) 19, 20, 37-38, 42, 44, 45, 50-54, 56, 64-65, 67-68, 70-71

Буряты 104

Бьярмы – см. *Биармия*

Ванвиздинская археологическая культура 55

Ванядьри (ваняды) 98

Ватка 51, 53

“Великая Булгария” 65, 67

“Великая Венгрия” 66, 67

**Венгерский язык**– *arany* 123– *böszörmény* 53– *család* / *cseléd* 63– *döböz* / *doboz* 63– *ed* 121– *ember* 64– \**er* / \**ar* 64– *Etelköz* 65, 66, 68– *férj* 64– *gyarmat* 66, 67– *gyula* 66, 67– *had* 74– *him* 55– *honfoglalás* 66– *in* ~ *inat* (Acc.) 146– *Jenő* 66, 67– *kalízkok* 68– *kende* 66– *kenyér* 121– *Kér* 66– *Keszi* 66, 67– *köz* 65– *kumánok* 68– *Kürt-Gyarmat* 66– *kuruc* 69– *magyar* 63-65, 66, 70, 76– \**maǰ-ar* / \**meǰ-er* 63, 67– *megyer* / *Megyer* 63, 65– *mese* 64– *Nyek* 66– *Tarján* 66– *varjú* 154– *vas* 123

Венгры 60-73, 76, 77

Велкский язык

– *lūdi* 19– *lūdnik* 19– *sír-* 57– *veps*, *ŕeps* 19

- Вепсы 6, 7, 10, 14-15, 19-22, 25, 48, 56, 168-169
- Верхневолжская ложнотекстильной керамики археологическая культура 186, 190
- Верхневолжская раннеолитическая археологическая культура 193
- Верхнеобская (одинцовская) археологическая культура 84
- Верхнеутчанско-чумойтлинского круга археологические памятники 51
- Вирьялы – см. Чуваши-вирьялы
- Вогулы 70, 72, 75
- Водский язык  
– *liva* 27  
– *livakko* 27  
– *vadja* 24, 29
- Водь 6, 7, 18-19, 24-27, 29
- Волго-камская (хуторская) археологическая культура 186, 192, 193
- Волго-окская ямочно-гребенчатой керамики археологическая культура 182, 192-194, 196-198
- Волжские финны – см. Поволжские финны
- Волосовская археологическая культура 36, 192-193, 196, 208, 212, 216, 217
- Волосовско-гаринская культурно-историческая общность 191, 192
- Воронковидных кубков археологическая культура 159
- Воршуды 54, 70, 77
- Восточнобалтийский антропологический тип 8, 48, 168
- Восточное наречие марийского языка 47
- Вотяки 49, 53
- “Вылепыриси” 54
- Вымская археологическая культура 55
- Гамаюнская археологическая культура 62
- Гардарики 14
- Гаринская (гаринско-борская, гаринско-турбинская) археологическая культура 185-186, 191-193, 196, 208, 211, 217
- Глоттохронология 120
- Гляденовская археологическая культура 55, 184
- Горное наречие марийского языка = горномарийский язык 46-47
- Городецкая археологическая культура 36, 38, 43
- Готский язык  
– *finþan* 9  
– *þiuda* 25
- Гребенчатая орнаментальная традиция Западной Сибири 183, 202, 220
- Гребенчатой (типичной гребенчатой) керамики прибалтийская археологическая культура 169, 170, 173, 176, 187-188, 190, 194-195
- Греческий (древнегреческий) язык  
– *Μεγερη* 63  
– *Μορδια* 37  
– *μορον* 131  
– *Σκριθιφινοι* 29
- Гузы 65
- Дардские языки  
– *tesek* 138
- Датчане 22
- Дравидийские языки 147, 167
- Дравидийский праязык  
– *\*mic-* 147  
– *\*mu-* 147  
– *\*pata-(la)* 124  
– *\*tā-r-* 147
- Древнеанглийский язык  
– *Beormas* 15  
– *Cwenas* 11  
– *east* 22  
– *Osti, Estes* 22

**Древнееврейский язык**– *arisi* 37– *c-r-mis* 37, 42– *s-var* 37**Древнеиндийский язык**– *ajá* 122– *ajáh* 122– *andha-* 49– *ánka-* 150– *anta-* 49– *ásura-* 150– *madhu* 138, 154– *makṣā* 137– *manuṣa-* 63– *salilá-* 154– *saptá-* 154– *śata-* 119, 150– *śūka-* 150– *súrā* 150– *tarṇa-* 150– *yava-* 119**Древнеисландский язык**– *austr* 22– *Eistrasalt* 22– *cistri* 22**Древней корелы археологическая  
культура 14****Древнекитайский язык**– *\*khwen* 153– *\*myit* 154**Древненорвежский язык**– *Kvænir* 11– *Lappir* 29**Древнепермский язык 57****Древнеперсидский язык**– *aršan* 37– *marika* 42**(Древне)пруссский язык**– *same* 10**Древнерусский язык**– *бесермены* 53– *Веда* 49– *Весь* 19-21– *Водская пятина* 25– *“Водский конец”* 25– *Водь, возжане* 24-26– *“городецкая корела”* 16– *Емь* 10, 15– *Ижера, ижерыне* 17-18– *Ингорь* 17– *Колоперемь / Голопърьмь* 56– *Корѣла* 14-16– *лешая лопь* 32– *Либь* 26– *Лопский погост* 32– *Лопь* 29, 32– *Лопьская сотня* 29– *Меря* 42– *Мещера* 38, 42, 67– *мокръ* 38– *Морьдва* 37, 39– *“Морьдва Пургасова”* 38– *мочары / можсары* 67-68– *Мурома* 38– *отинь* 49– *Пелгуй* 18– *Перемь / Перьмь* 15, 20, 56– *Печера* 87– *половци* 39– *Пуреш, Пурейша* 39– *Пургас* 38-39– *“Пургасова Русь”* 39– *Самоядь* 85-87– *Сумь* 9-10– *сырьяне, сырияне, сырияне* 57– *Угре* 60, 64, 71– *Черемисы* 34, 42, 45, 50, 67– *Чудь* 19, 24-25, 29– *Чудь заволоцкая* 8, 25, 42– *Югра* 60, 70-77, 85-87**Древнескандинавский язык**– *bjarma* 20– *Vjarmaland* 15, 20, 56– *Eistr* 22– *Jomali* 15

- *Kirjalabotn* 14
- *Kirjalaland* 14
- *kirjalar / kariaalar* 14
- *skrida* 29
- Древнетюркский язык
- *jaŋaluk* 153
- *jāz* 155
- *ula-γ-* 154
- Древнеуральская раса 9, 31, 36, 49, 71-72, 173-179
- Древнецерковно-славянский язык
- *мокръ* 38
- *medŭ* 154
- *vranā* 154
- *vranŭ* 154
- Древнешведский язык
- *Ingigerd* 17
- *Ingvar* 17
- *sōme* 9
- Древнеямная культурно-историческая общность 149-150, 156, 159, 210, 211
- Дьяковская археологическая культура 6, 36, 38, 43-44, 189-190
- Дьяковско-городецкая культурно-историческая общность 186
- Еловская археологическая культура 175, 181, 210
- Еманаевская археологическая культура 44, 50, 51
- Ерзовская археологическая культура 185
- Жемайтия 10
- Земгалия 10
- Зыряне – см. Коми-зыряне
- Зюздинцы – см. Коми-зюздинцы
- Ижемцы – см. Коми-ижемцы
- Ижора 6, 7, 17-18, 26
- Ижорский язык
- *iŋgerojšt* 17
- *ižoran kieli* 17
- *ižorat* 17
- Ингерманландия 11, 17-18
- Ингерманландские финны 11, 18, 26
- Индоевропейский праязык
- *\*aǵ(a)*- 122
- *\*al-bho-* 123
- *\*al-ŋ-* 123
- *\*dō-* 147
- *\*en(o)mŋ / \*(o)nomŋ / \*nōmŋ* 146
- *\*h<sub>1</sub>nemŋ, \*h<sub>1</sub>neh<sub>3</sub>men-, \*h<sub>1</sub>nēh<sub>3</sub>men-* 146
- *\*H<sub>2</sub>es-* 123, 146, 155
- *\*k̑mtom* 119
- *\*k̑uon* 153
- *\*lak-so-* 139
- *\*l(ə)uā* 153
- *\*medhu-* 138
- *\*mei-* 145
- *\*mei-g<sup>h</sup>*- 145
- *\*meks-* 138
- *\*me/onq-* 154
- *\*mezge- / ? \*mozge-* 145
- *\*ŋk̑uo-s* 153
- *\*ped / \*pod* 124
- *\*roghio* 107
- *\*sen-* 146
- *\*seuk<sup>h</sup>ta < \*septā* 154
- *\*(s)nē-* 146
- *\*snēu-(e)r-* 146
- *\*(s)qo/er-* 153
- *\*teu-* 75
- *\*teutā* 75
- *\*tŋg-u-* 154
- *\*ued-* 147
- *\*uer-* 154
- Индо-иранский праязык
- *\*m<sub>1</sub>ta-* 37, 49
- Иранский праязык
- *\*matuša* 64
- Иру городище 6, 189



Иткульская археологическая культура 62, 183

Казахский язык

– *ištāk* 75

Калмез 51

Камасинский язык

– *barj* 154

– *baza* 123

Камасинцы 81, 104

Каменных курганов с ящиками археологическая культура 7, 158, 189-190

Каменных могильников с оградками археологическая культура 7, 10, 190

Карагасы 104

Каратаи – см. Мордва-каратаи

Карелы 6, 7, 10, 14-22, 26, 32, 48, 56, 168-169

Карелы-ливвики 14, 16, 26

Карелы-людики 14, 16, 19-21

Карельский перешеек 14, 17

Карельский язык

– *jumala* 15

– *karja* 14

– *karjalaizet* 14

– *lappi* 14, 15, 29

– *livvikoi* 14, 26

– *tüüdläine* 14

– *sauve* 25

– *vepsä* 14, 19

Катангский антропологический тип 175

Квены 11, 19

Кеты 71, 75, 83, 90, 94-95, 100-102

Киргизский язык

– *ištāk* 75

Киукайнен археологическая культура 188-189

Кландюкалне городище 6, 189

Кодаверский диалект эстонского языка 26

Койбалы 104

Койбальский язык

– *churru* 134

– *sigge-wulla* 133

Коми 25, 34, 51-52, 55-59, 70, 78, 87-88, 90-91, 184

Коми-зыряне 36, 48, 55, 58-59, 168-169

Коми-зюздинцы 58

Коми-ижемцы 33-34, 58-59, 90-91

Коми-пермяки 36, 48, 55, 57-60, 168-169

Коми язык(и)

– *čeri* 138

– *dor* 59

– *šž* 122

– *ežvatas* 58

– *žž* 122

– *jegra* 70, 87

– *jemyatas* 58

– *keřt* 123, 153

– *kolva jaran* 91

– *komi* 55

– *komi mort* 55

– *kom-mu* 55

– *kommusa* 55

– *luzsajas* 58

– *mort* 37, 49, 55

– *mu* 55

– *nia* 136

– *ozjś* 123

– *pečerasa* 58

– *ružeg* 107

– *-sa* (собирательный суффикс) 55, 58

– *šid* 121

– *šides* 121

– *siktjlsa* 58

– *šobdi* 121

– *sos* 129

– *šugdi* 121

– *-tas* (суффикс) 58

- *udorasa* 58
- *už* 132
- *zarñi* 123
- Коми-язвинцы 58-59
- Комса археологическая культура 33
- Концебор типа археологические памятники 185
- Кочергинская археологическая культура 44, 50, 51
- Кочергинский могильник 50
- Красномостовского типа археологические памятники 185
- Кревины 26
- Кривичи 23
- Кугу сорта (“Большая свеча”) 46
- Кулайская археологическая культура 83-84, 101, 180-181, 207, 216, 219
- Кумыкский язык
  - *busurman* 53
- Кураки 97
- Курганов приладожского типа археологическая культура 20
- Курши 27
- Кушнаренковская археологическая культура 67-68
- Лапоноидный антропологический тип (раса) 8-9, 30-31, 48, 168-176
- Латинский язык
  - *Aestii* 22
  - *Atelkuza* 65
  - *Bascart* 66
  - *Besermini* 53
  - *Fenni* 9, 29
  - *Finni* 29
  - *Hungari* 64
  - *Hungaria Magna* 66
  - *Hunuguri* 64
  - *Imniscaris* 42
  - *Lappia* 29
  - *Levedia* 65, 66, 68
  - *Livones* 26
  - *Livonia* 26
  - *Merdas* 38
  - *Merduinis* 38
- *Mordens* 37
- *Moxel* 38
- *Parossiti* 85
- *salix* 137
- *Samogedi* 85
- *Screrrefennae* 29
- *Scritofini* 29
- *Sirdifenni* 29
- *Ungaria Maior / Ungaria Magna* 66
- *Vasinabroncas* 19
- *Wizzi* 19
- Латыши 27
- Латышский язык
  - *kenkis* 134
  - *krievs* 26
  - *libis* 26
  - *sāms* 9
  - *sāmu zeme* 9
  - *zeme* 10
  - *Zemgale* 10
  - *zems* 10
- Лебяжская археологическая культура 185
- Леведия 65
- “Лесные саамы” 33
- “Лесные финны” 12
- Ливвики – см. Карелы-ливвики
- Ливвиковский диалект карельского языка 16, 17
- Ливский язык
  - *kalamī'ed* 26
  - *līvā / lībā* 13, 26
  - *mā-na'grāz* 136
  - *na'grāz* 136
  - *randalist* 26, 27
- Ливы 6, 7, 14, 26-28
- Лингвистической палеонтологии метод 125-128, 135, 140, 142, 148, 163
- “Липопоклонники” 54
- Литовский язык
  - *Aismares* 22
  - *ālvas* 123
  - *lāšis* 135

- *makl̄ynē* 38
- *makonē* 38
- *medus* 154
- *ožkà* 122
- *ožÿs* 122
- *ungurÿs* 135
- *vágis* 24
- *varna* 154
- *Žemaitē* 10
- *žēmas* 10
- *žēmē* 10, 28
- Лифляндия 27
- Ложнотекстильной керамики археологические культуры 6-8, 31-32, 36, 38, 43, 158-159, 161, 187-192, 197
- Луговое наречие марийского языка 46-47
- “Лузская Пермца” 56
- Льяловская археологическая культура 173, 176, 192
- Людики – см. Карелы-людики
- Людиковский диалект карельского языка 16
- Ляхитского типа славянские диалекты 157
- Мад(д)у (энцы) 94
- Мадьяры 66
- Маклашеевский этап приказанской археологической культуры 184
- Мангазея 89, 94
- “Мандалада” 92
- Манси 9, 30, 31, 36, 48-49, 59-64, 70-80, 85-87, 92, 100, 142, 152, 168, 173, 177, 178,
- Мансийский язык
  - *atwəs* 123
  - *járēn* 86
  - *\*joÿren* 87
  - *jōÿrēn* / *joryēn* 86
  - *khâlēs-tēp ōrēt* 86
- *khānt* 74
- *khōnt* 74
- *maʔ* (*maÿ-*) 137
- *māñci* 63, 70, 77
- *māñs* 63, 69, 77
- *mañsi* 63, 69, 77
- *mōs* 73, 77
- *ōrēn* 86
- *ōs* 122
- *oš* 122
- *ōš* 122
- *por* 73, 77
- *saran* 57
- *sārən* 57
- *sēlʔ, sēlʔ-pa, sēlʔ, sālʔ, sālʔ* 137, 166
- *sorēx* 138
- *tarəñ* 123
- *ūrin, urin* 154
- *wōʔ* 70
- *wōlēm* 124
- *wōʔ-jā* 70
- *χānt* 74
- *χum* 55
- Марийский (-ие) язык(и)
  - *ākāj* 47
  - *βulnə, βulno* 124
  - *či mari* 46
  - *eŋer* 42
  - *jeŋ* 77, 153
  - *kerde* 153
  - *kārāk marā* 44
  - *kərtni* 123
  - *kürtñö* 123
  - *marij, mari, marā* 42, 44
  - *oðo-ilem* 44
  - *oðo* (-*marij*) 49, 51
  - *olāk marij* 44

- *pör-jen* 77
- *šādāṅṅə* 121
- *šarpan-našmakan marij* 47
- *šōḍaṅ* 121
- *šōmakšan marij* 47
- *sorokan marij* 47
- *šörtñi* 123
- *šörtñō* 123
- *suasla marij* 45
- *šurāk* 47
- Марийцы 6, 8, 25, 35–38, 42–49, 51, 54, 77, 142, 168, 172, 186
- Марийцы восточные 46–47
- Марийцы горные 44–47
- Марийцы луговые 44–47, 49
- Марийцы тоншаевские 47
- Маторский язык
- *baze* 123
- *berē* 154
- Маторы 81, 104
- Межозерье 15, 19–21, 32
- Меларского типа кельты 156, 187, 190, 195
- Меря 35–36, 42–43, 186
- Мерянский язык
- топоформанты (*e*)нзирь / (*e*)нгерь 42
- *\*jelmā* 43
- *\*koka* 43
- *\*kuβa* 43
- *\*maksā* 43
- Мещера 38, 42, 67
- Мокша – см. Мордва-мокша
- Молчановская археологическая культура 62, 181
- Монгольский язык
- *qanda-γai* 130
- *sarlay* 130
- *temegen* 130
- *ula-γ-* 154
- *χusi* 128
- Мордва 35–43, 46, 48–49, 55, 67, 142, 157, 168
- Мордва-каратаи 39, 41
- Мордва-мокша 35–39, 41, 48, 168, 172
- Мордва-терюхане 39–40
- Мордва-шокша (теньгушевская мордва) 41
- Мордва-эрзя 35–39, 41, 48, 168
- Мордовские языки
- *eřza, eřza, eřzā* 37
- *Jov* 38
- *keřet, keřāt* 153
- *kšni* 123
- *mijav* 139
- *mirďā* 37
- *mirďe* 37
- *mokša* 37, 39
- *rož* 107
- *širñā* 123
- *širñe* 123
- *uča* 122
- *uške, uškā* 123
- *varaka, varšej, varčej, varksij, varši, varči* 154
- *veřke*, (род. пад.) *veřeñ* 49
- Мось (фратрия) 63, 73, 77
- Мочары / мочары – см. Древнерусский язык
- Мугадди (энецкий род) 94, 95
- Мурома 38
- На-дене 167
- Накольчатой керамики археологические памятники 192
- Нганасанский язык
- *aβatə təu-čera* 97
- *aša* 97
- *βađei təu-čera* 97
- *basa* 123
- *beřaṅa* 134
- *bi?* 134

- *məu-čera* 97
- *na* 97
- *ɲanaʔsanəʔ* 96
- *ɲano ɲanaʔsanəʔ* 96
- *ɲile-čera* 97
- *səmatu* 93
- Нганасаны 81, 84, 85, 88-90, 93-99, 168, 175, 177
- Нганасаны авамские (западные) 93, 96-98
- Нганасаны вадеевские (восточные) 97-98
- Немецкий язык
  - *Esten* 22
  - *Estland* 22
  - *Finnen* 9
  - *Hungarn* 64
  - *Jurak-Samojeden* 86
  - *Mordwinen* 37
  - *Ostjaken* 74
  - *ost-permische* 58
  - *Ostseefinnen* 6
  - *Samojeden* 81, 85
  - *Selkuppen, Sölkupen* 99
  - *Stammbaum* 111
  - *Steinkistengräberkultur* 189
  - *Tarandgräberkultur* 190
  - *Tawgy-Samojeden* 97
  - *ugrische* 60
  - *Watland* 25
  - *Wogule* 70
- Ненецкий язык
  - *bärne, barnäe* 154
  - *chy-challe* 134
  - *iʔ* 134
  - *idʔurca* 134
  - *jäm* 83, 142
  - *ješe* 123
  - *mändäläβa* 93
  - *moŋga* 94
  - *moŋganzi* 94
- *na* 97
- *nenej nenečʔ* 85
- *noha* 131
- *noxo* 131
- *pa* 85
- *pan χāsawaʔ* 85
- *pak* 85
- *pakʔ* 85
- *pē* 87
- *pē-ter* 87
- *siyirtā* 90
- *tawyi* 97
- *tawisʔ* 97
- *χāsawa* 85
- Ненцы 33-34, 59, 71, 73, 76, 79, 81-82, 84-97, 168, 177-178
- Ненцы колвинские 91
- Ненцы лесные 85, 91-94, 101, 102
- Ненцы тундровые 33, 85-86, 88-93, 95
- Нижеобская археологическая культура 84
- Новоильинская археологическая культура 185, 211
- Ногайцы 39
- Нойды 30
- Норвежский язык
  - *finne* 9
  - *Finnland* 9
  - *kvæn* 11
  - *lapp* 24
- Норвежцы 9, 11, 19
- Ностратическая гипотеза (теория) 144, 147-148, 162
- Обские угры 60-62, 71, 76-77, 83, 88, 101, 139, 148, 172, 175, 177
- “Обско-угорский праязык” 60
  - *\*sērān* 57
- Оногуры 64
- Осетинский язык
  - *äddä* 49
  - *ändä* 49

- Остяки 70, 72-76, 78, 94, 100-101, 103  
 Остяко-самоеды 75, 94, 100, 103  
 Палеоевропейцы 8, 31, 36, 168, 191  
 Парауральцы 81, 90, 113, 164, 198  
 Паросситы 85  
 “Пегая орда” 78, 100  
 Пенути калифорнийские 167  
 Пермский праязык 48, 52  
 – \**ćerzǵ* 138  
 – \**jōgra* 70, 71, 77, 87  
 – \**jūgra* 71  
 – \**kōjan* / \**kūjan* 153  
 – \**pōr* 77  
 – \**por-ga* 77  
 – \**ružǵ* 107  
 – \**šūd* < \**šūnt*- 121  
 – \**sur* 150  
 – \**weś* 155  
 Пермь 15, 56-57  
 “Пермь Великая” 57-59, 72  
 “Пермь Вычегодская” 56  
 Пермяки – см. Коми-пермяки  
 Персидский язык  
 – *arjan* 38  
 – *mārd* 37  
 – *mosālmān* 52  
 Петровская археологическая культура 61  
 Пехлевийский (среднеперсидский) язык  
 – *merāg* 42  
 Печенеги 65  
 Поволжские (волжские) финны 35-37, 48, 125, 158, 186  
 Поздней гребенчатой керамики археологическая культура 31  
 Позднекаргапольская археологическая культура 8  
 Поздняковская археологическая культура 35, 191-192, 195  
 Половцы 68  
 Поломская археологическая культура 51  
 Полтавкинского типа археологические памятники 149-150  
 Польский язык  
 – *węzier* 64  
 Пор (фратрия) 73, 77  
 Потаповско-новокумакско-синташтинско-петровского круга археологические памятники 149  
 Потчевашская археологическая культура 84  
 Пранарод (определение) 109-110  
 Прародина (определение) 110  
 Праязык (определение) 108-109  
 Праязыковой экологический ареал 126-127  
 Предыстория (определение) 105  
 Прибалтийско-финский праязык 6-7  
 – \**livz* 27  
 – \**perā-maa* 15, 56  
 – \**sōme* 9  
 – \**sōne* 146  
 – \**sūrjā* 57  
 – \**vakja* 24  
 Прибалтийско-финско-саамский праязык 6  
 – \**šāme* 10, 28  
 – \**terne* 150  
 Приказанская археологическая культура 184-185  
 Протосаамы 7, 31, 34, 82  
 Протохоары 138, 152, 155, 157, 184  
 Псоглавцы 85  
 Пурга (удмуртский воршуд) 77  
 Пьяноборская археологическая культура 50, 184  
 Пюхеенсилтя типа археологические памятники 181, 191  
 Раннеприбалтийско-финский праязык – см. Прибалтийско-финско-саамский праязык.  
 “Речные саамы” 33

- Рёлкинская археологическая культура 84, 101
- Родановская археологическая культура 55
- Родословного древа схема 110-111
- Русский язык
- арыне, арские люди, арские князья 50, 52
  - бесермяне 52
  - бусурман 53
  - венгр 64
  - вепс 19
  - вогулы 70, 72
  - вотяк < отяк 49, 53
  - Вотятцкая земля 50
  - зырь 57
  - зыряне 57
  - изжора 17
  - кайваны 19
  - "каменные самоеды" 87, 89
  - карелы 10, 14
  - каяны 11, 19
  - лопари 29, 34
  - люд, люди 14, 19
  - мордва 37
  - мочары / мозсары 67-68
  - ненец, неницы 85
  - "низовые самоеды" 87
  - остяки 70, 74-75, 100
  - остяко-самоеды 74, 94, 100, 103
  - самодийцы 81
  - самодин (ед.ч.), самоди 81
  - самоеды 81, 85
  - селькупы 99
  - тавги, тавгийцы 97-98
  - татары 75
  - черемисы 37, 42, 45, 57
  - черемиса, зовомая отяки 50
  - чуваша 52-53
  - чуваша арская 53
  - чудь 19, 25
  - чухари 19, 25
  - чухонцы 25
  - юраки 86, 89, 95
- Русы 37
- Саамский язык
- *æænnam* 86
  - *ātnam* 86
  - \**éācē* 31
  - *čoarran* 138
  - *čudd* 25
  - \**čudē* 25
  - *čutte* 25
  - *eādnama* 86
  - \**ēnem* 31
  - \**kēδkē* 31
  - *kejG* 134
  - *kuor<sup>a</sup>* 134
  - *luossâ* 135
  - *maggjek* 139
  - *mikke-* 145
  - \**mōre* 31
  - *nāitē* 30
  - *noaide* 30
  - *noajdie* 30
  - *nojđ* 30
  - \**pēŋke* 31
  - *säämi* 86
  - *saamie* 28
  - *sabme* 28
  - *sabmee* 86
  - \**sāmē* 10, 28
  - \**sāmē-ēnem* 86
  - \**sāmē-(j)ē<sup>d</sup>ne(m)* 86
  - *sāmm* 28
  - *sapmē* 28, 86
  - *seitē* 30
  - *sieide* 30
  - *siida* 29
  - *siita* 29
  - *sijđ* 29
  - *sijđ* 30

- *šijde* 29
- *šoarran* 138
- *tjähitē* 25
- *tjihita* 25
- *tjuddie* 25
- *væike* 124
- *vækse* 19
- *vepsi* 19
- *viepš<sup>E</sup>* 19
- *\*vōréc, \*vōrécē* 154
- *vuoive* 29
- *vuorrâžâs* 154
- *vūōvjie* 29
- *\*vuowjoš* 24, 29
- *wuāwiāsh* 29
- Саамы 7-12, 14-15, 19-20, 24-25, 28-36, 48, 82, 84, 86, 116, 142, 168, 172, 177-178, 186-188
- Саамы-сколты 34
- Саво, савосцы – см. Финны-саво
- Саво диалект финского языка 10
- Салтово-маяцкая археологическая культура 65
- Самодийский праязык
  - *\*jāā* 121
  - *\*jām* 83, 142
  - *\*jentesj* 83, 142
  - *\*juntā* 141
  - *\*kāāt* 140
  - *\*kāncā* 141
  - *\*kāptā* 141
  - *\*kāsā* 141
  - *\*ki(j)* 141, 166
  - *\*kił < \*keđ* 141
  - *\*man-* 64
  - *\*moŋkā* 94
  - *\*muntā* 141
  - *\*nuānā* 139
  - *\*nulkā* 140
- *\*pajtā* 141
- *\*pat-* 124
- *\*pensāj* 141
- *\*pučā* 140
- *\*sej(k)twā (< ? \*sejptwā)* 154
- *\*sāmā* 94
- *\*sām(āj)itā* 94
- *\*senkā* 141
- *\*sūmpā / \*šumpā* 133
- *\*teā / \*ceā* 130, 141
- *\*titā(-jāŋ)* 140
- *\*tojmā* 136, 140
- *\*wekānā* 133
- *\*wār-* 154
- *\*wesā* 155
- *\*wiŋkānca* 141
- *\*wit* 134
- Самоеды 81, 85, 95, 97
- Самоеды войкарские 92
- Самоеды каменные 87, 89
- Самоеды канинские 88
- Самоеды кунные (казымские) 91, 101
- Самоеды обдорские 89, 92, 94
- Самоеды тазовские 89
- Самоеды пясидские 94, 97
- Самоеды пустозерские 88
- Самоеды хантайские 89, 94
- Самоеды худосейские (карасинские) 89, 94
- Самоядь мангазейская 94
- Самоядь пясидская 94
- Самоядь тазовская 94
- Самоядь туруханская 94
- Самульская археологическая культура 181, 210
- Саргатская (саргатско-гороховская) археологическая культура 62, 68, 84, 183, 210
- Сарса-Томица типа археологические памятники 32, 187-188
- Саянские самодийцы 81, 84, 104



- Свидерская археологическая культура 193
- Северносамодийский праязык  
 – \**jāŋor* 83, 141  
 – \**karpā* 83, 141  
 – \**māŋkā* 154
- Северо-западный диалект марийского языка 47
- Сейминско-турбинский транскультурный феномен 155-157, 187, 196, 219
- Селькупский язык  
 – *патчэса* 124  
 – \**čū* 100  
 – *čūmälqur* 100  
 – *kerā, kwerā* 154  
 – *kezi* 123  
 – *qōr* 134  
 – *qum* 55, 100  
 – \**qum* 100  
 – *qur* 99  
 – *sōl* 99  
 – *šōl* 99  
 – *sōl-gold* 101  
 – *šōlqur, sōlqur* 99  
 – *šōšqum* 100  
 – *šōt* 99  
 – \**šōt* 100  
 – *sūsōqə (j)qum* 100  
 – *sūsəqum* 100  
 – *sūt* 100  
 – *tujqum* 100
- Селькупы 30, 71, 75, 78-79, 81, 84, 94-95, 99-104, 168
- Сеты 23
- Сибирские татары 75-76, 78, 95, 100-103
- Сибирско-татарский язык  
 – *ištāk* 75
- Сийды 29
- Сихиртя 90
- Славянский праязык  
 – \**čeladī* 63  
 – \**seiimī* 160  
 – \**ogūr* 64  
 – \**rūžī* 107
- Сомату 94, 96-97
- Среднеиранский язык  
 – \**zray-ān* 57
- Среднеиртышская археологическая культура 173, 182
- Срубная археологическая культура (культурно-историческая общность) 149, 185, 192, 195
- Сублапоноидный антропологический тип (раса) 30, 36, 48, 168-169, 176
- Сублапоноидный волго-камский антропологический тип 36, 48, 168
- Субуральский антропологический тип (раса) 30, 36, 48, 168, 173
- Сувары 37, 64
- Сузгунская археологическая культура 61
- Суоми диалект финского языка 9
- Тавги (йцы) 94, 97-98
- Тавги анабарские 97
- Тавги хетские 97
- Тайгийцы 104
- Татарский язык  
 – *ar* 50  
 – *arča* 50  
 – *arā* 50  
 – *art-ča* 50  
 – *ar (ā)lar* 50  
 – *čirmāš* 42  
 – *ir* 50  
 – *mišār* 67  
 – *mukšā* 39
- Татары (казанские) 36, 39, 45-46, 50, 52-54, 67, 75
- Татары каринские (чепецкие) 52
- Татары-мишари 67

Татары сибирские – см. Сибирские татары.  
 Терский берег 34  
 Терюхане – см. Мордва-терюхане  
 Тидирисы 97  
 Прибалтийская типичной гребенчатой керамики археологическая культура 31, 169-170, 173, 176, 187-188, 190, 194-195  
 Тохарский язык(и)  
 – *kāršt-* 153  
 – *kertte* 153  
 – *ku* 153  
 – *laks* 139  
 – *lu, luwo* 153  
 – *mānk-* 154  
 – *mānk, meñki* 154  
 – *mit* 138, 154  
 – *ñom, ñem* 146  
 – *oñk, eñkwe* 153  
 – *sāle* 154  
 – *šapt, šukt* 154  
 – *wās* 123, 146, 155  
 – *wrauña < \*wārnauiña < \*warn-* 154  
 – *yasa* 123, 146, 155  
 Тувинцы 104  
 Тунгусо-маньчжурский праязык  
 – *\*bučen* 130  
 – *\*garpa-* 83, 141  
 – *\*jaŋ-ur-* 83, 141  
 – *\*jenē / \*jenē* 83, 142  
 – *\*k'asi-* 128  
 – *\*piŋz(-kz)* 131  
 – *\*suktu* 129  
 – *\*takti* 129  
 Тунгусы, тунгусо-маньчжурские народы 82-83, 89, 94, 97-98, 101, 141-142, 163-164, 166, 175, 177-179  
 Турецкий язык  
 – *musurman* 52

Турки 65, 69  
 Туркменский язык  
 – *musurman* 52  
 Туручедо (озеро) 89, 96  
 Тюркский праязык и общетюркские основы  
 – *\*är* 50  
 – *\*baš* 66  
 – *\*baskurt* 66  
 – *bulgar* 64  
 – *\*busurman / \*būsürmen* 52  
 – *\*čer-* 42  
 – *\*čer(ig)* 42  
 – *\*etil* 65  
 – *\*hädil < \*patz-lz* 124  
 – *\*iš* 75  
 – *\*iš-* 75  
 – *\*ištäk* 75  
 – *\*jor-maty* 67  
 – *\*jula* 67  
 – *\*jund* 141  
 – *jüz* 44  
 – *\*kašy* 128  
 – *\*kert-* 153  
 – *\*kesey* 67  
 – *\*kiŋ / \*kiš* 141  
 – *\*kurt* 66  
 – *suvar* 64  
 – *\*täbä* 130  
 – *\*tyl* 129  
 – *χazar* 64  
 Угорский праязык 60  
 – *\*huw* 153  
 – *\*mañcz / \*mäñcz* 61, 63-64, 70, 76-77, 183  
 – *\*olzn* 124  
 – *\*Säpt* 154  
 – *\*warŋz* 154  
 – *\*waš* 154  
 Угры 60, 64-65, 68, 71, 143, 148, 184

- Угры чёрные 65  
 Удмуртский язык  
 – *bešerman* 52-53  
 – *čorig* 138  
 – *egra* 70  
 – *kam* 51, 55  
 – *karej* 133  
 – *keñjr* 121  
 – *kij* 131  
 – *kiľemez* 51  
 – *kiz* 128  
 – *kort* 123  
 – *Kuzon* 51  
 – *mij* 139  
 – *murt* 37, 49  
 – *mu* 138  
 – *muš* 137  
 – *Musko* 51  
 – *ñil-pu* 129  
 – *ñin* 137  
 – *niž* 131  
 – *ñules* 129  
 – *\*od3-* (< *\*ont3-*) 49  
 – *\*od3-mort* 49  
 – *od(o)* 51  
 – *por* 51, 77  
 – *por-ga* 77  
 – *puzej* 130  
 – *šjid* 121  
 – *šud vordiš* 54  
 – *susj* 129  
 – *ud-* 49  
 – *udmurt, urtmurt, udmort, ukmort* 49  
 – *udmurt ekšej* 52  
 – *uzveš* 123  
 – *Vatka kam* 51  
 – *vife piriš* 54  
 – *vžj* 55  
 – *vžj-kumj* 55  
 – *voršud* 54  
 – *žeg* 107  
 – *zarñi* 123  
 Удмурты 36, 39, 44, 46-56, 70, 77, 129, 169-168, 172, 184  
 Удмурты завятские 52, 54  
 Удмурты закамские 54  
 Урало-алтайский праязык 162  
 Урало-западносибирская ранненеолитическая общность 183, 186, 193, 197  
 Урало-лапоноидные антропологические типы (урало-лапоноидная чешские типы (раса) 8, 48, 84, 168-169, 172-173, 176, 178  
 Уральская раса 30, 48, 71-72, 84-85, 168-169, 171-173, 175, 17  
 Уральский праязык  
 – *\*joke* 38  
 – *\*kärz* 133  
 – *\*keš(e)* 141  
 – *\*key-* ( / *\*kew-*) 134  
 – *\*komz* 55  
 – *\*korz* 134  
 – *\*kōse* 128  
 – *\*kūje* 131  
 – *\*kunta* 130  
 – *\*man-* 64  
 – *\*miye-* 145  
 – *\*mije-* 145  
 – *\*muške-* / *\*moške-* 145  
 – *\*nim* 146  
 – *\*nime* 146  
 – *\*ñukše* 131, 166  
 – *\*ñulkz* 129, 166  
 – *\*ončz* 132  
 – *\*pije* 131  
 – *\*šarta* 130  
 – *\*seksz* 129  
 – *\*sen* 146

- \**tewā* 130
- \**toye-* 146
- \**totke* 133
- \**waške* 123, 146, 154
- \**warz-* 154
- \**wet* 147
- \**wir(e)* 146
- Фатьяновская археологическая культура** 36, 120, 159-161, 191, 195, 208
- Фёдоровская археологическая культура** 61, 183
- Финно-волжская праязыковая общность** 7, 35-36, 109, 116, 119, 125, 155, 157-161, 191-193
- Финно-волжский “празык”** 109, 116, 157
- Финно-волжские этимологии**
  - деспричастие (старый партитив) на \**-ta* 116
  - суффикс желательного / условного наклонения \**-ks-* 116
  - суффикс наречий \**-stz* 116
  - транслатив на \**-ksz* 116
  - \**oŋke* 150
  - \**oraše* 119
  - \**varćz* 154
  - \**waške* 154
- Финно-пермская праязыковая общность** 48, 109, 116, 119, 125, 135, 138, 155, 160-161
- Финно-пермские этимологии**
  - \**jewā* 121
  - \**kertz* 153
  - \**šécem(z)* 160
  - \**sōlz* 154
  - \**šuka* 150
  - \**šuntz* 121
- Финно-угорский праязык**
  - \**ašgrz* 150
  - \**čorz(-kz)* 134, 138
- \**irkā* 64
- \**keđe* 141
- \**kunta* “община” 74
- \**kunta* “северный олень” 130
- \**maj-* 139
- \**maja-* 139
- \**maj(a)ka* 139
- \**mäkz* 137
- \**mekše* 137
- \**met(e)* 138, 154
- \**mura* 131
- \**nakrz* 136
- \**nāŋz* 136
- \**ñine, \*ñine-puwz* 137
- \**oča* 122
- \**pata* 124
- \**pušnz / \*pućnz* 121
- \**rekkz / \*rokka* 121-122
- \**šākā* 135
- \**šala* 136-137, 166
- \**šampe* 133
- \**šampe-ŋl-γ* 133
- \**šāntz* 121
- \**šarta* 130
- \**šata* 119, 150
- \**šije-le* 140
- \**tokta* 139
- \**učē* 122
- \**wir(e)* 146
- \**wolnz* 123
- Финны, прибалтийские финны** 6-34, 43, 48, 116, 142, 157-158, 161, 168, 186, 189
- Финны-саво(сцы)** 10, 12, 15
- Финны-суоми** 7, 9-10
- Финны-хяме** 7, 10, 14, 16, 28
- Финский язык**
  - \**ankerias* 135
  - \**äyrämöiset* 11

- äyräs 11
- häme 10, 28
- huttu 121, 122
- inkeri 17
- Inkerimaa 17
- itämerensuomalaiset 6
- jumala 15
- kainu 11
- kainuu 11, 19
- karjalaiset 14
- kiunki, kiiunki 134
- kunta 74
- kymi 55
- lappi 29
- liiv- 27
- liiva 27
- lohi 135
- majava 139
- perä-maa 15, 56
- Petsamo 34
- savakot 11
- suoda 9
- suomalaiset 9
- Suomi 9
- suomu 9
- suude 25
- uuhi, u(u)tti, u(u)ttu 122
- vaaja 24
- varis 154
- Varsinais Suomi 9-11
- vaski 123
- vepsä 19
- Фосна археологическая культура 33
- Хазары 37, 42, 65, 68
- Хакасы 104
- Ханты 48, 59-81, 84-88, 92-93, 95, 100-103, 152, 168, 178
- Хантыйский язык
- ač 122
- as 122
- as-jaχ 74-75
- jaγ 74
- jārən 87
- jārɣan- 87
- jārkan- 87
- jaχ 74
- jānt 121
- jōrŋ- 86
- kāntəγ jaγ 74
- kegchull, keγ-χul 134
- lānt 121
- lant 121
- lorńə 123
- maγ 139
- māy-woj 137
- māń' -ńe 77
- mańt' 63, 77
- māńt' 63, 70, 77
- māńt'-ko 77
- māχ, maw 137
- mońt' 63, 77
- mońt'-χuj 77
- mɔs' 63, 73, 77
- mɔs'-ne 77
- oš 122
- pār 77
- pār-ni 77
- pōr 77
- pōr-ne 77
- put 124
- sāran 56
- sarəχ, sarək, sorəχ 140
- šērən 57
- soχ, suχ 133
- tānt 121
- urŋj, wārŋaj, wārŋa 154
- vaγ-jaγ 74
- wāγ 124

- *wõyal* 69
- *woj* 137
- *хӓntӓ* 74
- *хӓnti* 74
- Хорезмийцы 68
- Худяковского типа археологические памятники 50, 51
- Хяме – см. финны-хяме
- Хяме диалект финского языка 10
- Церковно-славянский язык
  - *олово* 123
  - *самоядь* 85, 86, 93
- Черемисы 37, 42, 45–46, 50, 67
- Черемисы горные 45
- Черемисы луговые 45
- Черкаскульская (черкаскульско-межовская) археологическая культура 61–62, 183–184
- Чепецкая археологическая культура 51
- Чирковская археологическая культура 36, 192, 196, 217
- Чуваши 36, 43–45, 50–53, 164, 177
- Чуваши-вирьялы 45
- Чувашский язык
  - *aDäl* 65
  - *ar* 50
  - *šar* 42
  - *šarmäs* 42
  - *šar* 44
  - *šjn* 153
- Чудь – см. Древнерусский язык
- Чукотский язык
  - *ninn* 146
- Шведский язык
  - *est* 22
  - *finna* 9
  - *Finnland* 9
  - *Ingermanland* 17
  - *ingrer* 17
  - *lapp* 24, 29
- Шведы 9, 11–14, 16, 18, 23–24
- Шнуровой керамики и боевых топоров археологические культуры 28, 119, 120, 158–161, 168, 172, 174, 188–189, 208, 210, 214
- Шокша – см. Мордва-шокша
- Шорский язык
  - *sartak* 130
- Штрихованной керамики археологическая культура 7, 158, 161, 190, 204
- Эвенки 78, 83, 89, 94–97, 101–102, 163, 175
- Эвенкийский язык
  - *baja (gir)* 94
  - *Ioandesi* 142
  - *jendeyi* 142
  - *kandaga* 130
  - *morono* 131
- Эвенский язык
  - *kanda* 130
- Эвены 78
- Эгра (удмуртский воршуд) 77
- Экзоуральцы 113
- Эндоуральцы 113, 163, 198
- Энецкий язык
  - *baë* 94
  - *bese* 123
  - *madu* 94
  - *moga* 94
  - *mogađi* 94
  - *onej enelʔ* 93, 96
  - *oša* 97
  - *pe-baë* 94
  - *soeta* 94
  - *somatu* 86, 93
  - *tauβuʔ* 97
  - *tidero-oša* 97
- Энцы 81, 84–86, 88–89, 93–97, 101–102, 177
- Энцы лесные 94, 101–102
- Энцы тундровые 86, 93–94, 96–97
- Эрзя – см. Мордва-эрзя

Эскалеутские языки 167

Эстии 22, 29

Эстонский язык

– *Eesti* 22

– *eestlased* 22

– *liiv* 27

– *liivak* 27

– *maarahvas* 22

– *majaja* 139

– *Petserimaa* 23

– *see* 23

– *see-tuu* 23

– *seta* 23

– *setu* 23

– *Setumaa* 23

– *Soom* 9

– *suue* 25

– *Vagja* 24

– *vai* 24

Эстонцы 6-7, 22-27, 29

Этническая краниоскопия 177

Югра – см. *Древнерусский язык*

Юкагиро-уральского родства  
гипотеза 164-166, 177-178

Юкагирский язык

– *ton* 64

– *niw* 146

– *nobu* 129, 166

– *noqšə, noqšon* 131, 166

– *padum* 124

– *pat* 124

– *pieže* 130

– *šäl, sāl* 137, 166

– *talawŋ* 131

– *tolow* 131

Юкагиро-уральский праязык

– \**pat* 124

Юкагиры 64, 78, 137, 164-165, 175,  
177-179

Юраки 86, 89, 94, 95

Юраки береговые 95

Юраки обдорские 96

Юртиковская археологическая куль-  
тура 185, 211

Ягнобский язык

– *morti* 37

Языковой дрейф 115

Язьвинцы – см. Коми-язьвинцы

Якуты 98

Ямочно-гребенчатой керамики ар-  
хеологические культуры 36, 173,  
176, 182-183, 192-197, 216

## Оглавление

<b>ПРЕДИСЛОВИЕ</b>	2
<b>ЧАСТЬ I</b>	
<b>УРАЛЬСКИЕ НАРОДЫ: НАЧАЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ПО ЭТНИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ</b>	6
<b>Прибалтийско-финские народы</b>	6
Финны	9
Карелы	14
Ижора	17
Вепсы	19
Эстонцы	22
Водь	24
Ливы	26
<b>Саамы</b>	28
<b>Поволжские финны</b>	35
Мордва	37
Марийцы	42
<b>Пермские народы</b>	48
Удмурты	49
Коми	55
<b>Угорские народы</b>	60
Венгры	63
Ханты	70
Манси	74
<b>Самодийские народы</b>	81
Ненцы	85
Энцы	93
Нганасаны	96
Селькупы	99
Саянские самодийцы	104



**ЧАСТЬ II**

<b>ПРЕДЫСТОРИЯ УРАЛЬСКИХ НАРОДОВ (ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ УРАЛЬСКОЙ ПРАРОДИНЫ)</b>	<b>105</b>
<b>I. О методологии</b>	<b>105</b>
<b>II. Генетическая классификация уральских языков</b>	<b>114</b>
<b>III. Хронология уральской предьистории</b>	<b>117</b>
<b>IV. Уральский, финно-угорский, самодийский праязыковой экологический ареал</b>	<b>125</b>
<b>V. Внешние связи уральского, самодийского и финно-угорского праязыков</b>	<b>142</b>
<b>VI. Физико-антропологический и археологический аспекты проблемы уральской и финно-угорской прародины</b>	<b>167</b>
<b>PS</b>	<b>199</b>
<b>ЛИТЕРАТУРА</b>	<b>200</b>
<b>СОКРАЩЕНИЯ</b>	<b>232</b>
<b>УКАЗАТЕЛЬ</b>	<b>234</b>
<b>ОГЛАВЛЕНИЕ</b>	<b>254</b>
<b>ИЛЛЮСТРАЦИИ</b>	<b>256</b>

## Иллюстрации

1. Теоретическая модель распада праязыка.

Пояснения см. в тексте, в разделе I второй части книги.

2. “Родословное древо” уральских языков из [Хайду 1985].

3. “Родословное древо” уральских языков из [Хелимский 1982].

4. Дендрограмма уральских языков из [Taagerera 1994:165].

Обращает на себя внимание то, что, если бы эту схему рассматривать как отражающую реальные исторические процессы, то распад финно-пермского, финно-волжского, волжского и угорского единства приходились бы почти на одно время – см. раздел VI о “металлической революции”.

5. “Родословное древо” уральских языков в модификации автора.

6. Принципиально возможные соотношения прародины и праязыкового экологического ареала.

7. Прауральский праязыковой экологический ареал и прародина.

1 – ареал темнохвойной тайги в бореале (VII тыс. до н.э.) [Хотинский 1977]; 2 – ареал темнохвойной тайги в конце суббореала (вторая половина II тыс. до н.э.) [Хотинский 1977]; 3 – прауральский; 4 – прафинно-угорский экологический ареал; 5 – прасамодийский экологический ареал; 6 – гипотетическая территория распространения парауральских групп; 7 – гипотетическая территория распространения эндоуральских групп.

8. Ареалы обитания рыб, названия которых реконструируются для уральского и финно-угорского праязыков.

1 – осётр (*Acipenser baeri / guldenstadti / sturio*); 2 – стерлядь (*Acipenser ruthenus*); 3 – нельма (*Stenodus leucichthys*); 4 – линь (*Tinca tinca*); 5 – южная граница максимальных миграций сиговых (в основном – сиг, *Coregonus lavaretus*); 6 – южная и западная граница максимальных миграций чира (*Copreogonus nasus*) (там, где отличается от № 5); 7 – южная и западная граница максимальных миграций сырка (*Coregonus peled*) (там, где отличается от № 5); 8 – южная и восточная граница максимальных миграций лосося (*Salmo salar*); 9 – прауральский экологический ареал по данным ихтионимии.

9. Уральские народы на карте Северной Евразии (конец XIX – начало XX века).

1 – саамы; 2 – финны; 3 – карелы; 4 – вепсы; 5 – эстонцы; 6 – ливы; 7 – воль; 8 – ижора; 9 – мордва (мокша и эрзя); 10 – марийцы; 11 – удмурты; 12 – коми (зыряне и пермяки); 13 – манси; 14 – ханты; 15 – венгры; 16 – ненцы; 17 – энцы; 18 – нганасаны; 19 – селькупы; 20 – камасинцы.

Рис. 1

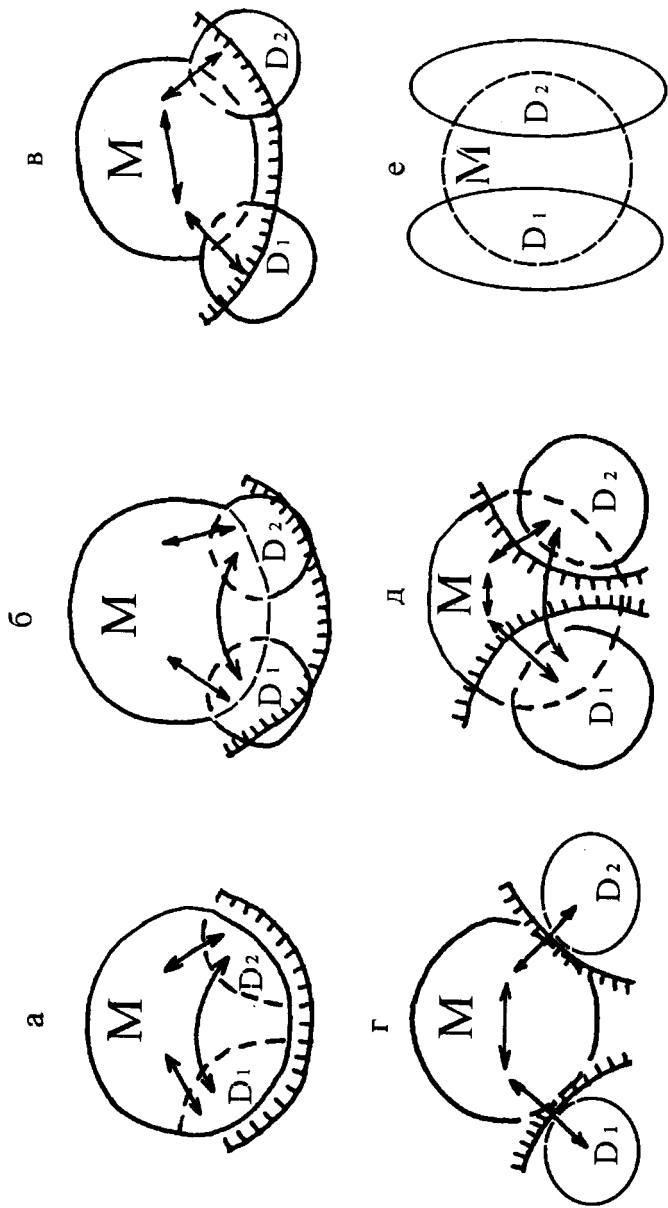


Рис. 2

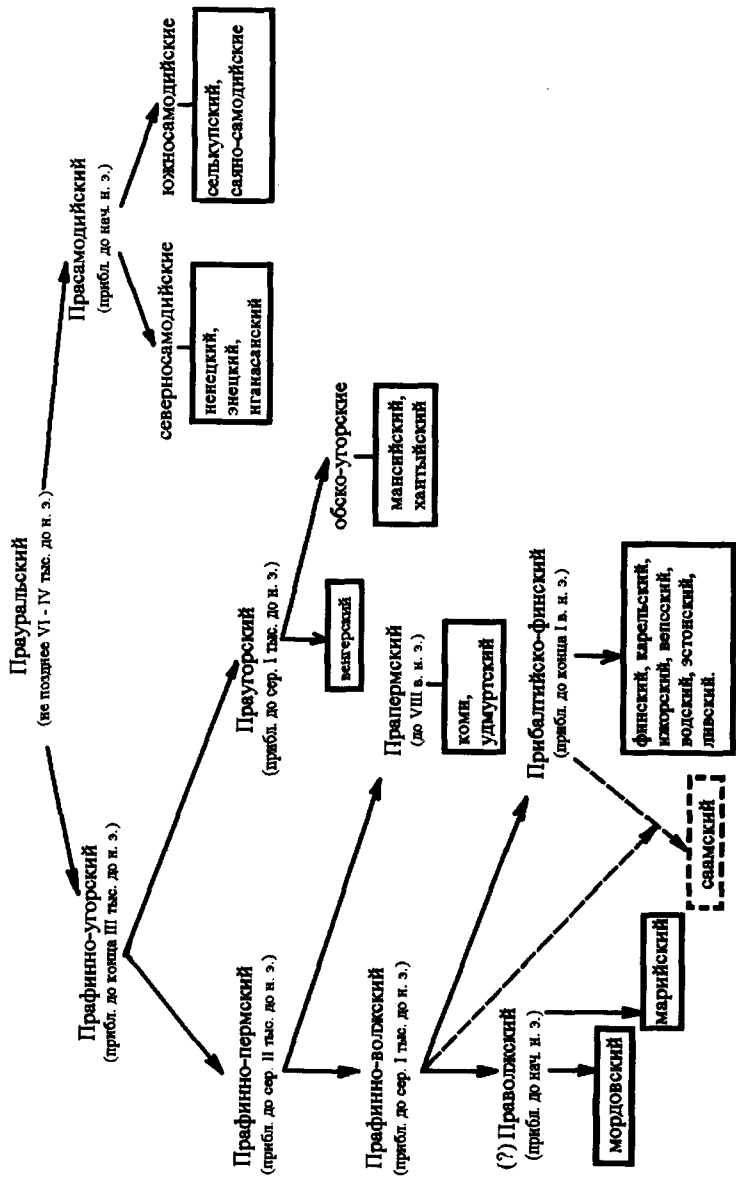


Рис. 3

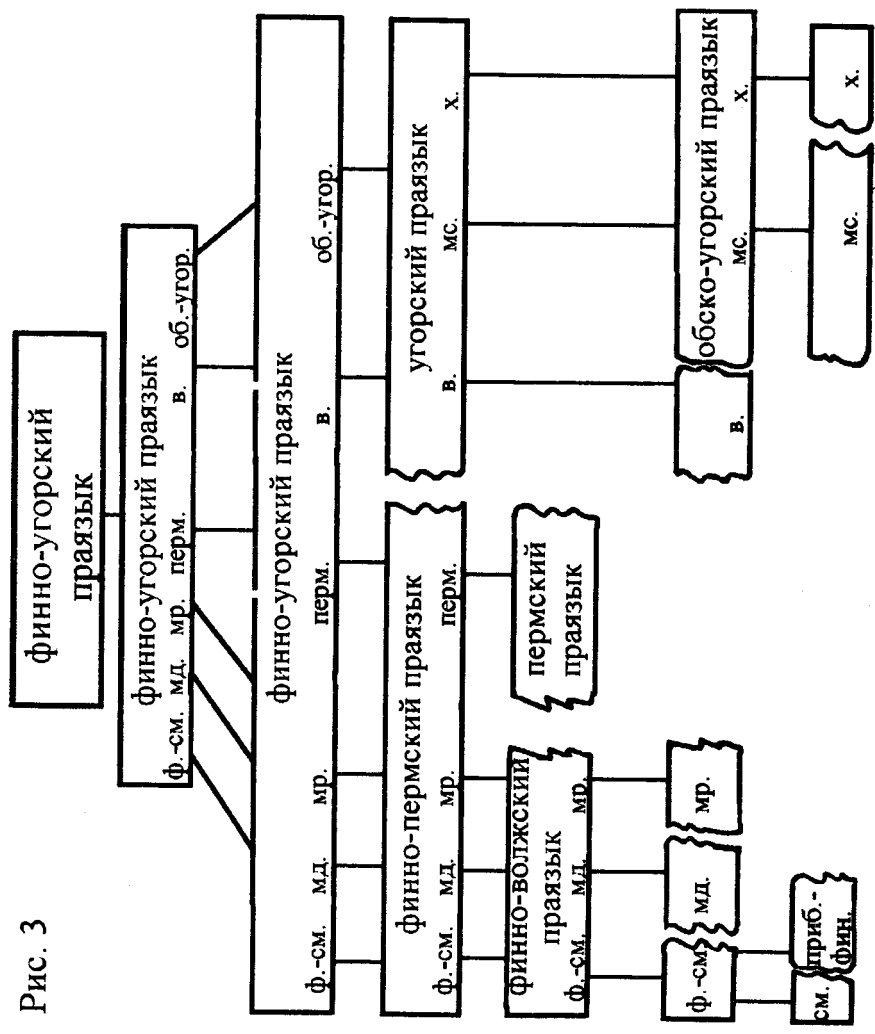
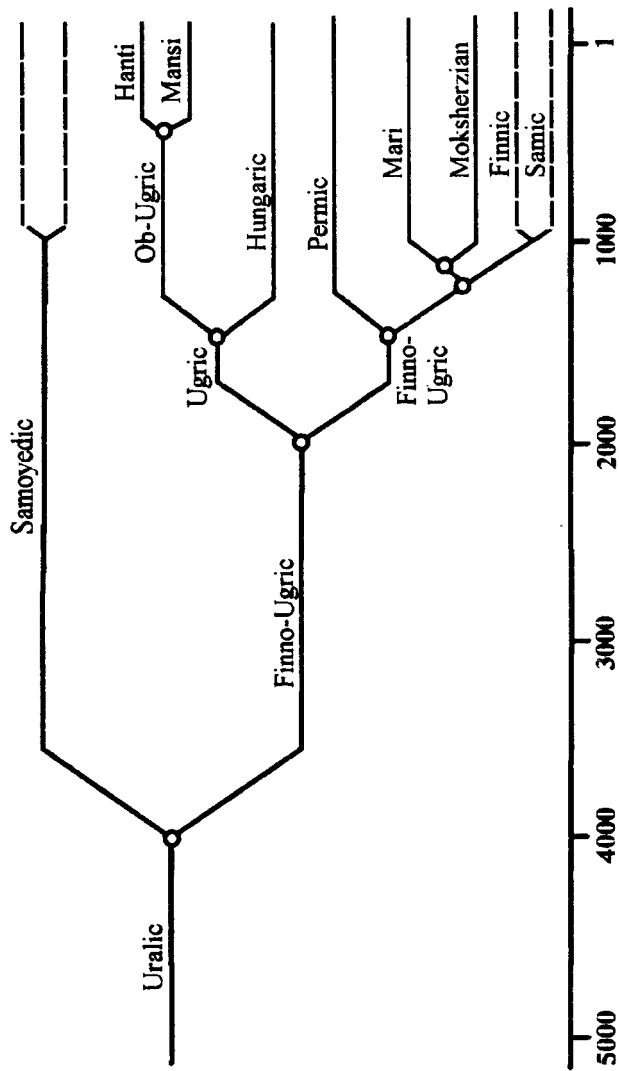


Рис. 4

*The Linguistic Distances between Uralic Languages*



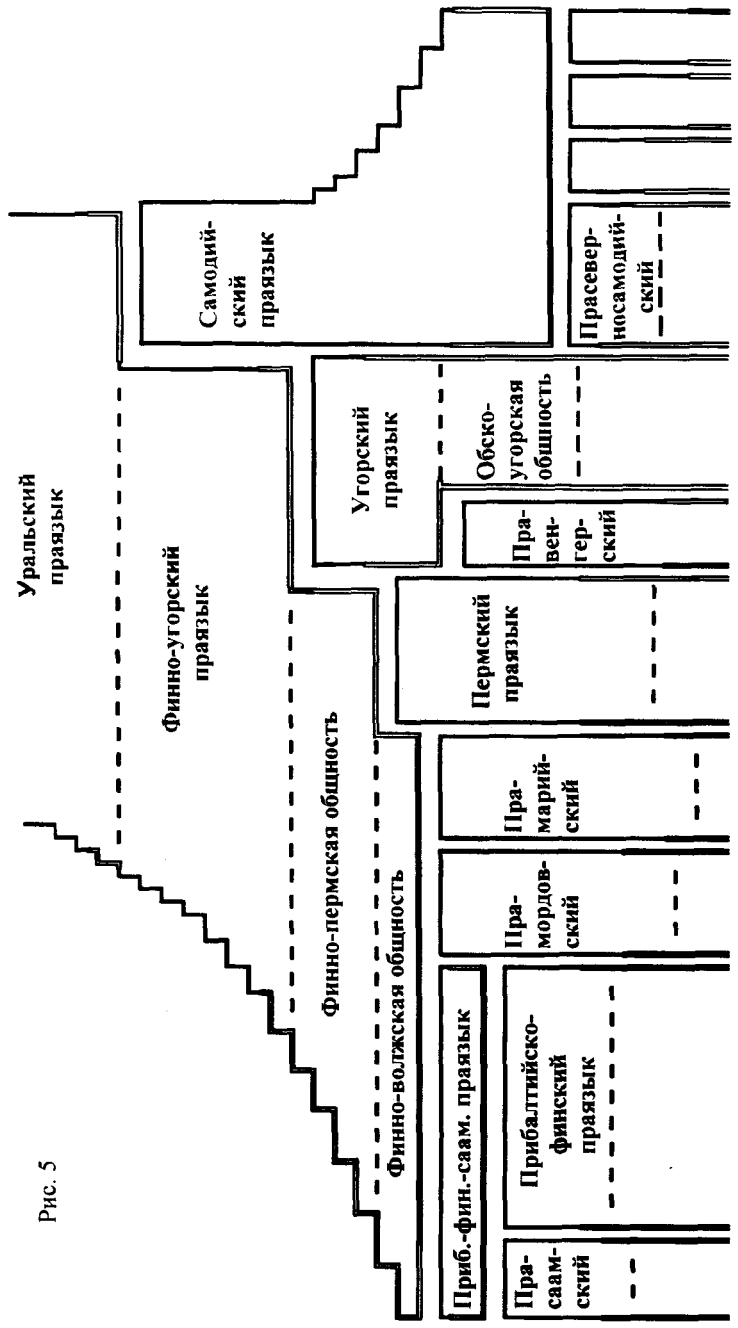


Рис. 5

Саам Ф Кр Вн Иж Вд Эс Ле Эмд ММд ГМр ЛМр Уд КЗ КП Вн Ми Хн Не Эн Нг Сх Ка МТК



Рис. 6

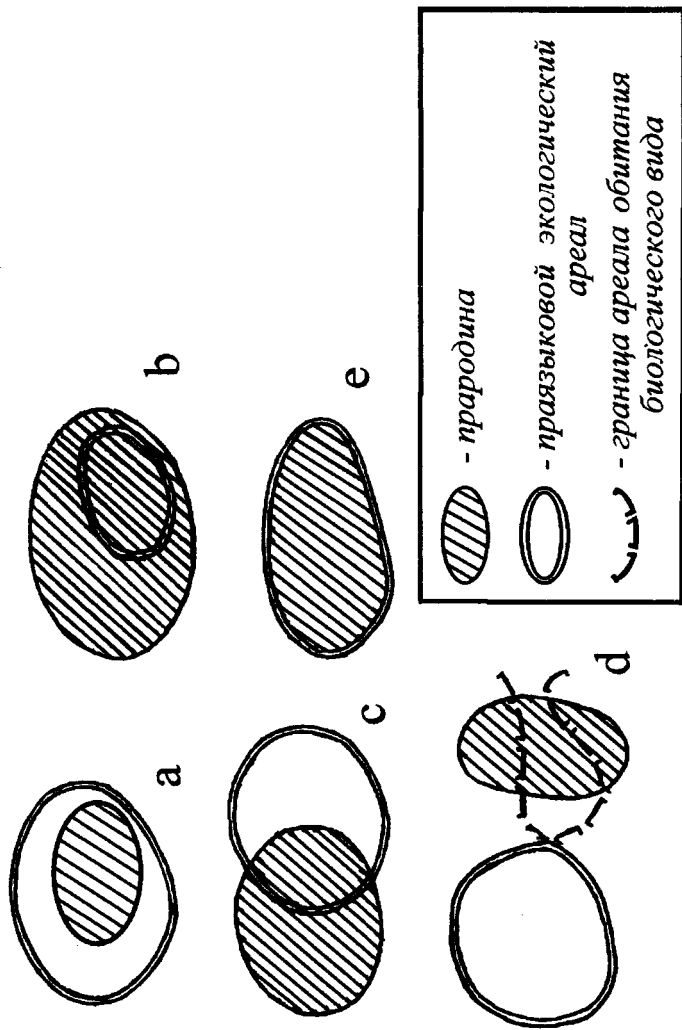


Рис. 7

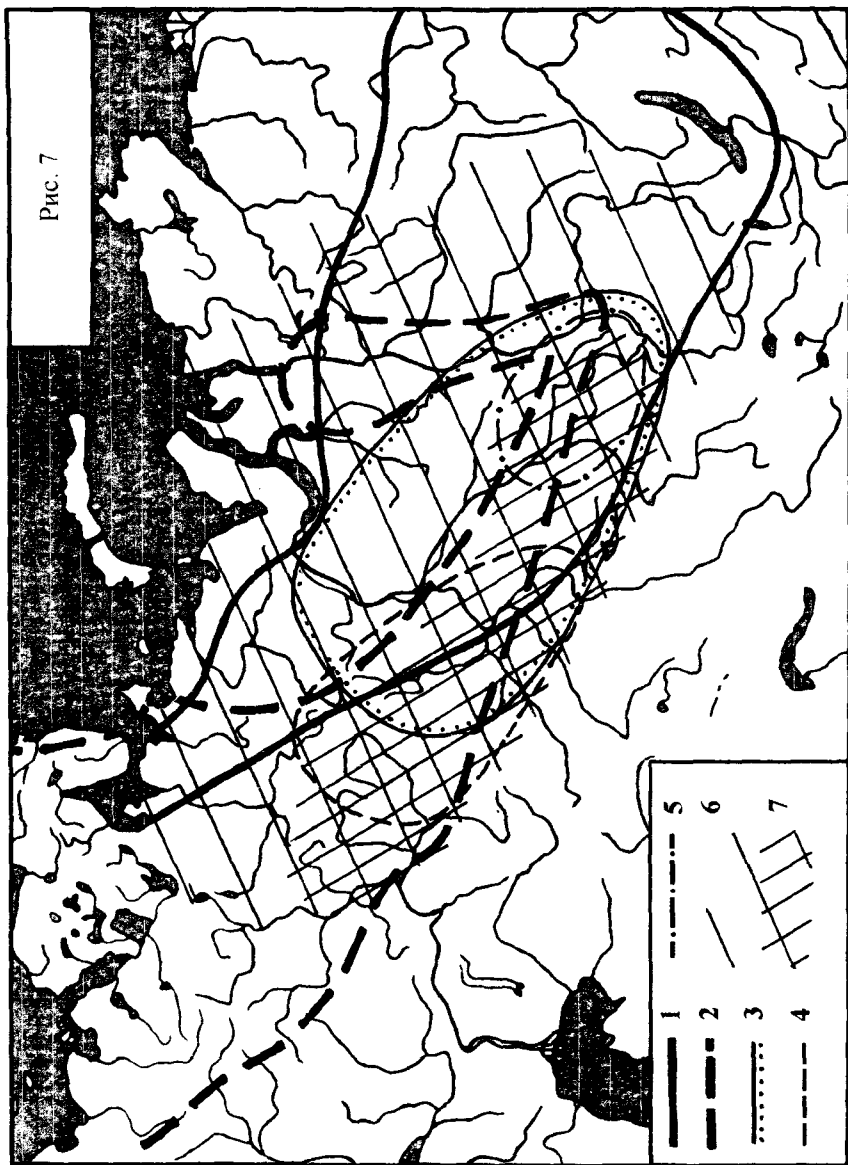


Рис. 8

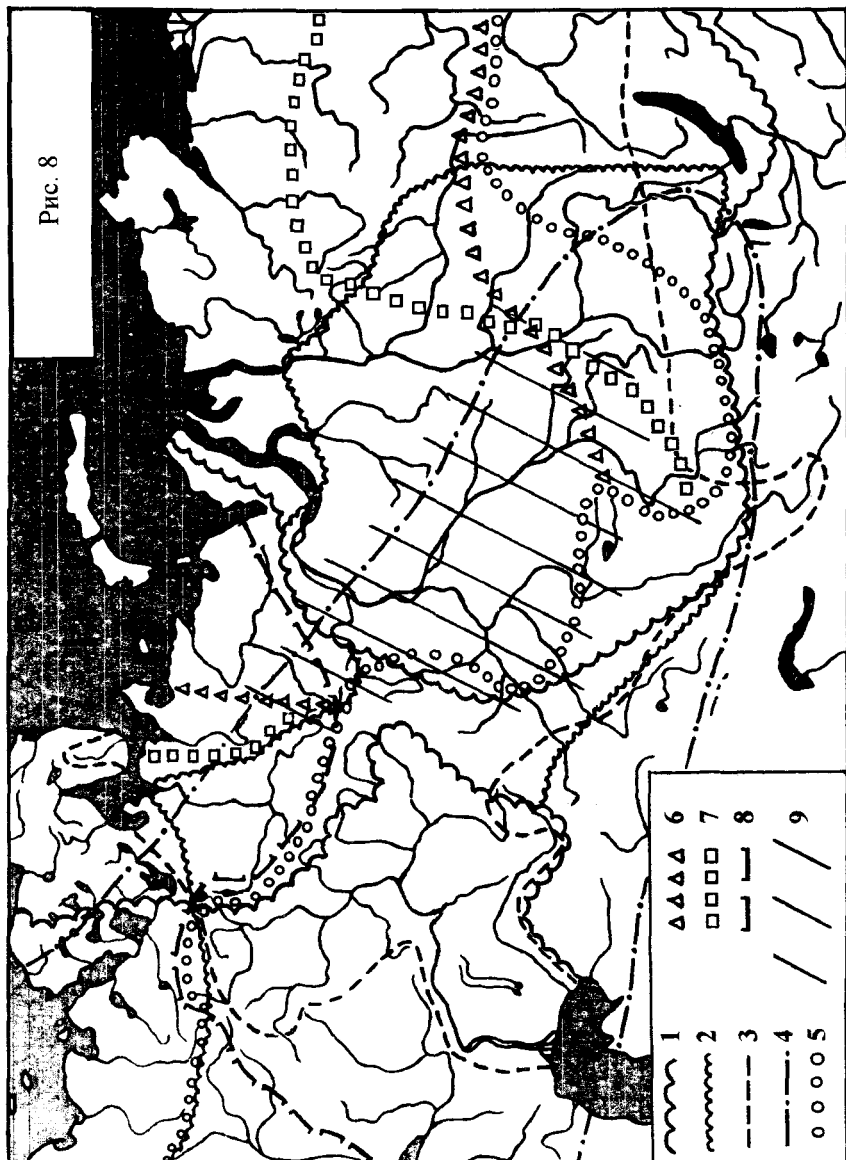
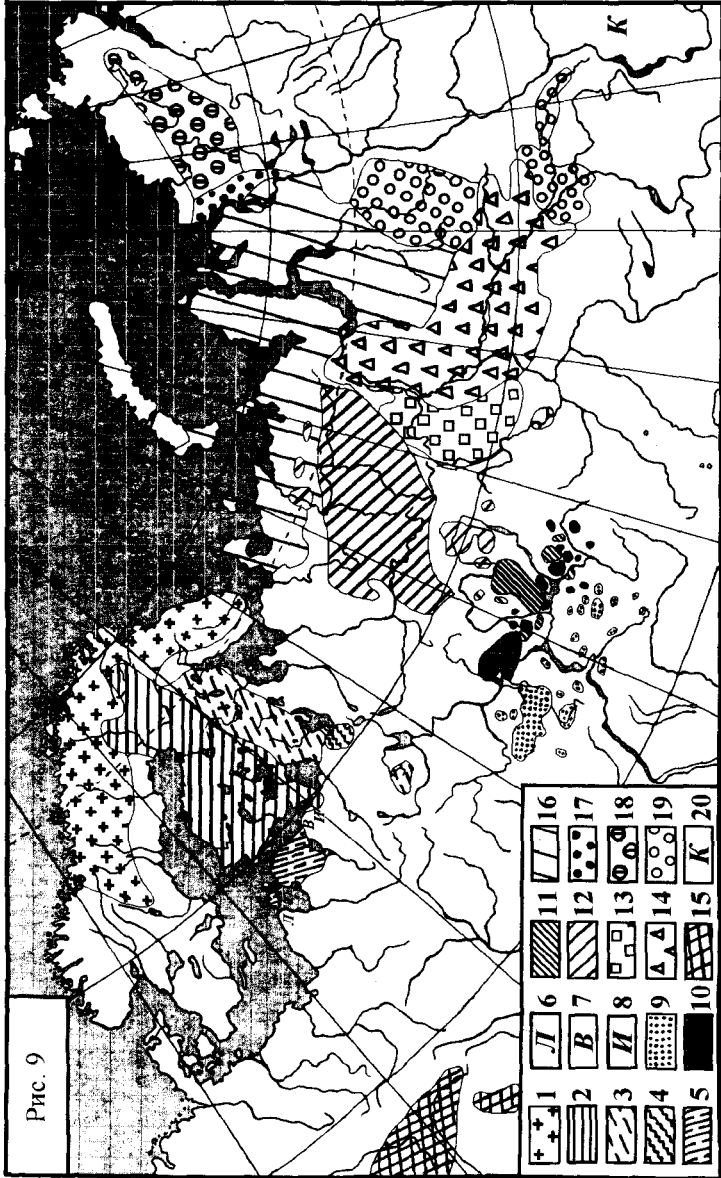


Рис. 9



Напольских Владимир Владимирович

Введение в историческую уралистику

ЛР 020764

Печатается по решению Ученого совета Удмуртского института истории, языка и литературы Уральского отделения Российской академии наук по плану выпуска 1996 г.

НИСО УрО РАН № 129(96). Сдано в набор 26.09.97 г. Подписано в печать 1.10.97 г. Формат 60x84 1/16. Бумага офсетная № 1. Гарнитура Тип Таймс. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,28. Уч.-изд. л. 18,5. Тираж 800 экз. Заказ № Р119.

Удмуртский институт истории, языка и литературы Уральского отделения РАН. 426004. г.Ижевск, ул.Ломоносова,4.

Отпечатано в Ижевской республиканской типографии. 426057, г.Ижевск, ул.Пастухова, 13